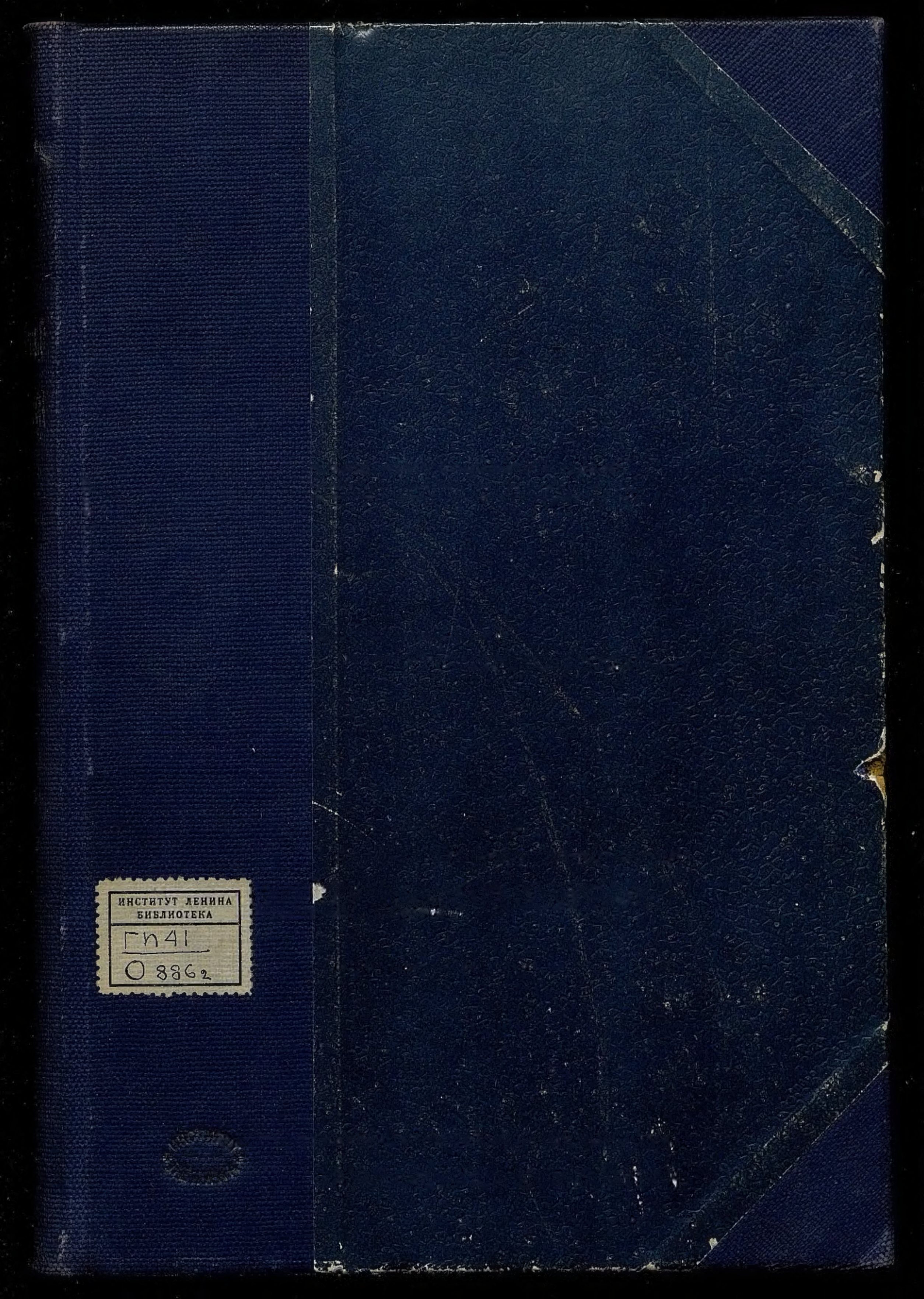




ОТРЕЧЕНИЕ НИКОЛАЯ 



2-ое издание
дополненное

ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „КРАСНАЯ ГАЗЕТА"

ОТРЕЧЕНИЕ НИКОЛАЯ II

ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ,
ДОКУМЕНТЫ

Редакция П. Е. ЩЕГОЛЕВА

Вступительные статьи Л. КИТАЕВА

2-е ИЗДАНИЕ,
ДОПОЛНЕННОЕ

Издательство „КРАСНАЯ ГАЗЕТА“

Ленинград — 1927

ТИПОГРАФИЯ
«КРАСНОЙ ГАЗЕТЫ»
ИМЕНИ ВОЛОДАРСКОГО
ЛЕНИНГРАД
Фонтанка, 57

Ленинградский Гублит № 48010. Заказ № 1379. Тираж 5000 экз.

Свидетели отречения.

Вместо предисловия.

Задача предлагаемого читателю сборника — дать подбор воспоминаний и документов, связанных с одним из наиболее ярких эпизодов начала великой русской революции, — с отречением Николая II.

Сборник дает почти исчерпывающий подбор свидетельских показаний, повествующих о том, как и в какой обстановке произошло отречение последнего русского царя. Впервые становятся доступным советскому читателю воспоминания ближайших к царю лиц — ген. Дубенского и полк. Мордвинова. Впервые также публикуется в Советской России рассказ ген. Рузского, записанный с его слов ген. Вильчковским. В прессе первых дней Февральской революции розысканы запись беседы с Рузским и статья В. В. Шульгина, дающая сухой, но содержательный очерк событий. За пределами сборника остался более поздний рассказ Шульгина, данный им в его книге «Дни». Рассказ этот, сам по себе крайне характерен, и его непременно надо прочесть всем желающим уяснить ту обстановку, в какой произошло отречение Николая II. У нас он перепечатывался, если не ошибаемся, уже два раза. Мы привлекли в наш сборник и другого непосредственного свидетеля отречения — А. И. Гучкова, взяв отрывок из его показаний перед Чрезвычайной Комиссией Временного Правительства. Нами также использован фрагмент появившихся в белой прессе воспоминаний ген. Саввича, а также отрывки из мемуаров ген. Лукомского и известной нью-иоркской брошюры проф. Ю. В. Ломоносова. Кроме того, мы привели любопытнейшие отрывки из дневника Николая II-го, опубликованные впервые покойным проф. Сторожевым в сборнике «Научные Известия». Таков остов сборника. Попытаемся теперь, вкратце охарактеризовать историческую значимость и ценность воспроизведенных документов и мемуаров.

История отречения Николая II-го интересна не только потому, что отречение это формально положило конец громадному периоду русской истории и поставило крест над целой эпохой исторического развития русского народа. Интересна и социологически поучительна та бытовая обстановка, какую мы находим у последнего царя и его приближенных. Этот эпилог Романовской династии в своих житейских мелочах, в своих подробностях, как нельзя лучше подытоживает эволюцию династии, эволюцию многовековой политической надстройки, разгромленной, окончательно и на веки, революционной грозой 1917 — 20 г.г. Поэтому-то и интересно все касающееся отречения вплоть до мелких подробностей самого его ритуала. Но не надо забывать, что отречение, само по себе, есть развязка и исход конфликта, и что сама тема отречения может быть поставлена и понята в более широком масштабе. Ведь как-никак февральские дни 1917 года были днями «последнего и решительного боя» между революцией и старым порядком. И в этом последнем дебюте сил старого порядка едва-ли не самое центральное место должно принадлежать самому Николаю II. И разве не интересно установить, как прозвучало последнее слово русского ancien régime, какое политическое завещание успел он составить перед лицом надвинувшейся на него катастрофы. Поэтому-то и важно проследить историю последних дней царствования Николая II-го, поэтому-то и важно определить, что делал царь в обществе самых близких своих приближенных, каковы были его поступки и его настроения, как осмысливал он происходившие вокруг него события. Таким образом, история царской Ставки и царского поезда в конце февраля месяца 1917 года непосредственно переходит в историю отречения Николая II-го.

Все мемуары, все свидетельские показания, связанные с этим эпизодом русской революции, исходят, конечно, из контр-революционного лагеря. Да иначе оно и не может быть. Свидетелями событий могли быть только приближенные царя, да, кроме них еще, пожалуй, высшие чины царской Ставки. Вряд ли нужно объяснять, что это за публика. Авторы наших мемуаров — это целая галлерея «верноподданных» его величества. Правда, эту «верноподданность»

следует понимать несколько условно. В феврале 17-го года, когда думская буржуазия, вкупе с высшим командованием, рассчитывала отделаться от революции, возведя на престол Михаила Романова, вся эта приближенная публика обнаружила весьма мало готовности пострадать за «обожаемого монарха». Зато потом, в эмиграции, в чаду легитимистских настроений, произошла «переоценка ценностей», не могшая не отразиться на стиле и содержании тех исторических показаний, которые угодно было дать в назидание потомству эмигрировавшим свидетелям отречения.

Так, в первую голову, обстоит дело с ген. Дубенским. Этот бравый генерал выполнял в Ставке паразитарную функцию царского «историографа». Спец по коннозаводству, издатель черносотенных брошюрок и газет, он был прикомандирован, еще в октябре 1914 года, для «высочайшего сопровождения», т.-е. для описания царских поездок по фронту. На этой должности его и застали февральские дни 1917 года. Любопытно сравнить его воспоминания, писанные в эмиграции, с показаниями, данными им в августе 17-го года Чрезвычайной Комиссии Временного Правительства. Эти показания существенно разнятся по тону, по целому ряду любопытных деталей от ретушированных и подправленных мемуаров. В руки комиссии попал дневник Дубенского, и цитаты из дневника, вкрапленные в текст показаний, существенно расходятся с самим стилем мемуаров, поданных читателю в виде таких же поденных записей. Любопытно отметить, что в августе 1917 года Дубенский пытался изобразить себя «патриотом», чуть ли не в духе прогрессивного блока. Так, напр., взаимоотношения царя и царицы он в показаниях характеризует следующим образом: «Государь был в полном подчинении. Достаточно было их видеть четверть часа, чтобы сказать, что самодержцем была она, а не он. Он на нее смотрел, как мальчик на гувернантку, это бросалось в глаза. Когда они выезжали, и она садится в автомобиль, он только и смотрит на Александру Федоровну. По-моему, он просто был влюблен до сих пор, какое-то особенное чувство было у него»[1]). В дневнике своем,

[1]) „Падение царского режима“. Ленгиз, 1925 г., т. VI, стр. 383.

еще в январе месяце, он записал: «Слабое, плохо организованное правительство наше во главе с государем, с Протопоповым, жалким стариком кн. Голицыным, начинает бороться, но ничего не выйдет, ибо очень плохи сторонники правительства; а между тем, должно уступать требованиям взволнованного общества... едва ли можно сохранить самодержавие. Слишком появилась глубокая рознь русских интересов с интересами А. Ф.» [1]). Касательно самой Александры Федоровны, Дубенский, не колеблясь, показал, что она страдала психозом, и сослался при этом на мнение Марии Федоровны, матери Николая II, определенно считавшей, что царица сошла с ума. Такой же точки зрения Дубенский придерживался и в отношении Протопопова. Жизнь Ставки он называл «тихой и бесталанной». Был, естественно, поставлен Дубенскому вопрос о царе, об отношении к надвигавшейся революции. В своем ответе он подчеркнул абсолютно пассивность царя и царского окружения. «Чем вы объясните эту пассивность?» — спросили тогда у Дубенского. Ответ последнего настолько характерен, что мы должны привести его in extenso. «Никак не могу объяснить его отношения. Это такой фаталист, что я не могу себе представить. Он всегда ровно, как будто равнодушно, относился, сегодня, как вчера. Вот маленькая подробность: когда случилось отречение, я был совершенно расстроен, я стоял у окна и просто не мог удержаться от того, чтобы, простите, не заплакать. Все-таки я старый человек. Мимо моего окна идет государь с Лейхтенбергским, посмотрел на меня весело, кивнул и отдал честь. Это было через полчаса после того, как он послал телеграмму с отречением от престола, в ожидании Шульгина». Между прочим, сравнивая текст показаний с соответствующим местом воспоминаний, начинаем легко уяснять принятый Дубенским для своих мемуаров метод ретуширования и подкрашивания событий. Тот же эпизод звучит в мемуарах совершенно иначе. «Проходя мимо моего вагона, государь взглянул на меня и приветливо кивнул головой. Лицо у его величества было бледное, спокойное». Равнодушие, отупляющую пассивность царя Дубенский тол-

[1]) Там же, стр. 384.

кует сейчас чуть ли не как акт какого-то стоицизма. В 1917 г. он был на этот счет несколько иного мнения. «Я говорил, что он отказался от Российского престола просто, как сдал эскадрон. Вот такое у меня было оскорбленное чувство, но когда я его провожал, когда он от матери шел в вагон, тут нельзя было быть спокойным. Все-таки я поражался, какая у него выдержка. У него одеревенело лицо, он всем кланялся, он протянул мне руку, и я эту руку поцеловал»[1]).

Так обстоит дело с Дубенским. Наигранный пафос его мемуаров есть несомненный плод эмигрантского похмелья. Но и в таком виде они интересны, в своей протокольности, как известная сводка событий. — В настоящем сборнике мемуары эти, с некоторыми сокращениями, становятся впервые доступными советскому читателю.

За Дубенским следует флигель-адъютант, полковник Мордвинов.

При поверхностном сравнении они оба кажутся людьми одной и той же касты, одной и той же социальной психологии. На самом деле, это не совсем верно. Дубенский был в сущности очень далек от сферы двора, от интимного круга лиц, окружавших Романовскую семью. Мордвинов, в силу происхождения, своего воспитания, всего порядка прохождения своей служебной карьеры, был непосредственно связан, если не с царем, то с великим князем Михаилом Александровичем и с целым рядом видных придворных. Казалось бы, при всех этих данных Мордвинов мог бы глубже проникнуть в психологию царя, мог бы лучше разгадать, что скрывала за собой одеревенелая маска самодержца. Но и он пассует перед зрелищем давящего фатализма и обреченной пассивности. В силу своего служебного положения Мордвинов видел царя гораздо ближе и чаще, чем Дубенский, но впечатления его от этого не становятся ярче. Царя опутывает атмосфера бесконечной будничности, бесконечной обывательщины. Во все эти бесконечно трагические революционные дни свита проделывает все тот же монотонно-однообразный ритуал своего служебного дня. Вот наступило 1-е марта «новый тяжелый день» — по выражению

[1]) Там же, стр. 393.

Мордвинова. «Короткое время, которое мы обыкновенно проводили с его величеством, ничем не отличалось в разговорах от обыденных нетревожных дней. Не легко, конечно, было и нам и ему говорить о ничтожных вещах», — замечает Мордвинов. Но утверждение его никак нельзя принять всерьез, по крайней мере, в части, касающейся Николая. Свита-то наверное волновалась и мучилась в томительном предчувствии конца. Ну, а царь? 2-го марта, уже приняв решение об отречении, он входит в столовую для дневного чаепития. «Я сейчас же почувствовал, что и этот час нашего обычного общения с государем пройдет точно так же, как и подобные часы минувших «обыкновенных» дней... Шел самый незначительный разговор, прерывавшийся на этот раз только более продолжительными паузами... Государь сидел, спокойный, ровный, поддерживал разговор». А ведь Николай был в кругу самых близких, самых преданных ему людей. И тут он не нашел ни одного слова, ни одного намека, ни одного жеста. С какой радостью поведал бы нам Мордвинов какую-нибудь фразу, обращенную к «потомству». Увы! Ему остается вспоминать особенное «сосредоточенное» выражение глаз и нервное движение, с каким царь доставал папиросу. Согласитесь, что «нервное» обращение с папиросой нельзя не считать крайне скудной реакцией на переживавшиеся тогда события.

Впрочем, 3-го марта Мордвинову удалось таки поговорить с царем. Мы помним, как весело Николай кивнул плакавшему Дубенскому. При отъезде из Ставки царь обратился к адмиралу Нилову со словами: «как жаль, Константин Дмитриевич, что вас не пускают в Царское со мною». С неменьшей находчивостью приветствовал он Мордвинова. «А и вы, Мордвинов, вышли подышать свежим воздухом». Мордвинов пытался начать разговор об отречении, о дальнейших планах царя. Выяснилось, что Николай собирается жить «совершенно частным лицом», уехать в Крым и в Костромскую губернию, не покидать во всяком случае Россию. На этом разговор прервался. Наконец, в последний раз, Мордвинов видел царя в день его отъезда из Ставки. Николай II был один в своем кабинете и неторопливо, спокойно собирал с письменного стола разные вещи для укладки.

Мордвинов пришел к царю за советом: оставаться ли ему в Ставке или ехать в Царское Село. Английский военный атташе рекомендовал ему остаться и когда Николай узнал об этом совете, он, в свою очередь, заявил: «конечно, оставайтесь, Мордвинов». Мордвинов подчеркивает, что это сказано было без колебаний.

Таков облик Николая II-го по воспоминаниям Мордвинова. И у Мордвинова, конечно, очень много лирики, много искусственного, деланного пафоса. И все же он не в силах скрыть убожество, скудость и серую повседневность тех бытовых рамок, в которых протекли последние дни царского режима. У Мордвинова особенно хорошо показано, как гибнущий класс в минуты кризиса теряет всякое чувство реальности, как он погружается в мир иллюзий и тонет в хаосе всевозможных призраков. Чего стоют его юридические размышление по поводу «опекунства», по поводу «правомерности» самого акта отречения. В последний момент утратив опору в армии и опору в стране, монархисты пытаются опереться на текст «основных законов». А вот, например, Мордвинов узнает о намерении отрекшегося царя проститься с войсками. Он радуется в «тайниках своей души». Он надеется на то, что «появление государя среди войск или даже слова его прощального приказа могут произвести такое сильное впечатление на хорошую солдатскую и офицерскую массу, что она сумеет убедить своего вождя и царя отказаться от рокового для всей страны решения». Таким образом, Мордвинов мог самым серьезным образом предполагать, что трагическая сцена разлуки Наполеона со старой гвардией повторится при прощании Николая с той самой армией, которая в течение трех почти лет терпела неслыханные поражения, во имя борьбы за глубоко ей чуждые, глубоко анти-народные интересы. Но люди типа Мордвинова ошибались не только в армии. Почему-то их всех обуяла в эти дни тяга в родовые поместья. Мы видели, что сам Николай хотел улепетнуть

«В деревню, к тетке,
В глушь, в Саратов»...

вернее, в Костромскую губернию. «Лицом к деревне» также собирался повернуться и злосчастный дворцовый комендант

Воейков. Почему-то он рассчитывал на полную безопасность именно в своем Пензенском имении. Точно так же и Мордвинова потянуло в буколическую обстановку дворянской усадьбы. У него было чисто случайное препятствие к осуществлению этого желания — недавний пожар его деревенского дома. Неужели-же у этих последышей российского дворянства не хватало примитивного чутья для того, чтобы предугадать ту обстановку непримиримой классовой борьбы, какая должна была сложиться в деревне на следующий же день после революционного переворота. А казалось, именно в этой среде должен был быть, наконец, богатый исторический опыт, восходивший от недавно пережитого 1905 года к далеким дням Пугачевщины.

Мемуары Мордвинова отличаются необычайной обнаженностью классовой психологии. С каким великолепным, чисто шляхетским презрением, описывает он депутатов Думы, явившихся конвоировать царский поезд. «Фигуры их, не то зажиточных мастеровых, не то захудалых провинциальных чиновников вызывали во мне, обыкновенно никогда не обращавшем никакого внимания на внешность, какое-то гадливое отвращение». Эту запоздалую волну отвращения к разночинцам, к парвеню, Мордвинов переживал, очевидно, с почти физической напряженностью.

Рассказ ген. Рузского воспроизводится у нас в двух версиях, в двух вариантах и читатель имеет возможность воочию убедиться в том перевороте, какой победоносная революция совершила в уме и в психике генерала Рузского. Первый рассказ это репортерская запись, относящаяся еще к тем дням, когда сам Рузский должно быть не вынимал из петлицы красной розетки. Совершенно искренно чувствуя себя «героем революции», Рузский категорически заверил репортера: «Я убедил его отречься от престола». Другой вариант, это запись 1918 года, имеющая целью доказать как раз противное. А именно: что Рузский не оказал никакого давления на царя и вообще, во всех событиях играл подчиненную, второстепенную роль. Отметим один характерный штрих. Первую беседу с царем Рузский имел в ночь с 1-го на 2-е марта. Согласно первому, репортерскому, варианту «царь, пригласив к себе Рузского, прямо заявил ему: «я ре-

шил пойти на уступки и дать им ответственное министерство». «Я знал, — продолжает Рузский, — что этот компромисс запоздал и цели не достигнет, но высказывать свое мнение, не имея решительно никаких директив от Исполнительного Комитета, не решался». Запомним это; у Рузского составилось мнение о невозможности компромисса, мнение, которое он, правда, не решился высказать. По второму варианту царь в ночь с 1-го на 2-е марта отнюдь еще не решился на ответственное министерство. Наоборот, Рузскому приходилось еще его убеждать. Он стал с жаром доказывать государю необходимость образования ответственного перед страной министерства. Конечно, тут нет и намека на то, что Рузский мог в этом ночном разговоре считать ответственный кабинет запоздалым компромиссом. Таким образом, весь одиум возлагается всецело на Родзянко. Рузский, дескать, высказал «твердое желание избежать отречения», но Родзянко поставил его в такое положение, что он не мог сколько-нибудь активно защищать свою точку зрения. Решающий разговор Рузского с царем имел место днем 2-го марта. При этом разговоре присутствовали генералы Данилов и Саввич. «Они должны были, гласит репортерская запись, поддержать меня в моем настойчивом совете царю, ради блага России и победы над врагом, отречься от престола». Таким образом выходит, что Рузский не только сам убеждал царя отречься, но и привел еще с той же целью Данилова и Саввича. Конечно, второй вариант рисует совершенно иную картину. Царю пришло решение помимо всяких советов, всяких убеждений. Наоборот, до самого приезда депутатов, Рузский не терял надежды на то, что отречения можно избежать. Мы имеем, однако, свидетельские показания ген. Саввича, решительно опровергающие версию второго варианта. Нет сомнения в том, что Рузский действовал в полном контакте с думскими верхами и настаивал на необходимости немедленного отречения. По рассказу Саввича, Рузский «обрисовал обстановку, сказав, что для спасения России, династии сейчас выход один: отречение его от престола в пользу наследника». И Саввич, и Данилов поддерживали Рузского и именно этим дружным коллективным выступлением определилось окончательное решение царя.

Оставаясь в рамках первого отдела нашего сборника, отметим рассказы Шульгина, Гучкова, Лукомского. Шульгин в статье, в газете «Речь», и Гучков в показаниях, данных Чрезвычайной Следственной Комиссии, дают сухой, протокольный очерк событий. Такой же сжатый очерк находим у Лукомского. Ген. Лукомский, впоследствии один из организаторов нашей южной контр-революции, отмечает роль сыгранную в подготовке отречения телеграммами командующих фронтами. Нам думается, что он довольно правильно отметил тот психологический эффект, какой произвело на «самодержца всея Руси» эта внезапная фронда высшего военного командования. Наконец, отрывок из воспоминаний проф. Ю. В. Ломоносова рассказывает о судьбе самого документа, т.-е. акта отречения. В то время, как Рузский настаивал на отречении, во имя спасения династии, рабочие железнодорожных мастерских собирались уничтожить акт, потому что им было мало отречения царя. Сам документ был перехвачен на вокзале у Гучкова и доставлен в министерство путей сообщения.

Что касается второго отдела сборника, то главную его часть составляют телеграммы и разговоры по прямому проводу, т.-е. документальный материал, напечатанный в виде приложения к «Воспоминаниям» ген. Лукомского, в III томе заграничного «Архива Русской Революции». Часть этих документов воспроизведена также в III-ей книге черносотенного журнала «Русская Летопись». «Приводимые Лукомским телеграммы и переговоры по проводам заслуживают доверия — пишет во второй книге своего «Семнадцатого года» А. Г. Шляпников — мы попытались проверить их по имеющимся архивным материалам, но среди документов Ставки ни подлинников, ни копий не оказалось. Выяснилось, что многие материалы за время от 20 — 25 февраля и по 5 — 10 марта 1917 года во всех штабах и армейских управлениях из дел умышленно взяты еще во времена господства генералов. Однако, по номерам, которыми помечены телеграммы Ставки, а также по косвенным данным можно определить их достоверность. Приводимые ген. Лукомским телеграммы своими номерами и фактическим содержанием

вполне соответствуют действительности того времени»[1]). Мы полностью воспроизводим документацию Лукомского, отрывки которой были перепечатаны в виде приложения к цитированной выше книге Шляпникова. — Кроме этого мы приводим самый текст манифеста, черновой проект, набросанный рукой Шульгина, и протокол отречения, ведшийся ген. Нарышкиным. Нарышкинский протокол извлечен нами из статьи покойного проф. Сторожева «Февральская революция 1917 года» напечатанный в сборнике «Научные известия» за 1922 год. — О том, что Нарышкин вел протокол отречения, или точнее беседы царя с думскими представителями Шульгиным и Гучковым, свидетельствуют различно почти все наши источники. Так Гучков говорит: «Ген. Нарышкин вынул записную книжку и стал записывать так, что, повидимому, там имеется точный протокол». Мордвинов прямо указывает на то, что Нарышкину, как начальнику военно-походной канцелярии было поручено «присутствовать при приеме и записывать все происходящее».

Во всей эпопее отречения, несмотря на обилие свидетельских показаний, рисующих чисто прагматическую последовательность событий, остается неосвещенным, не разъясненным до конца один пункт. Это психология главного действующего лица — отрекающегося императора. Разбирая воспоминания Дубенского и Мордвинова, мы постарались выделить из них элементы личной характеристики Николая II-го. И Дубенский и Мордвинов остановились в недоумении перед тем пассивным фатализмом, перед тем безразличием, с каким Николай относился к людям и событиям этих последних дней своего царствования. Нужно признать, что такое отношение установилось у него не сразу. Посылая ген. Иванова, царь, конечно, думал об активном, вооруженном подавлении начавшегося в Петрограде восстания. Старик Иванов бесстыдно лгал допрашивавшим его членам Чрезвычайной Следственной комиссии, когда утверждал, что его назначение в Петроград должно было, исключительно, содействовать осуществлению ответственного министерства. «27 февраля, — показывал Иванов, — я пришел к обеду у го-

[1]) А. Г. Шляпников. „Семнадцатый год". Гиз, 1925 г., т. I, стр. 4.

сударя около 8 часов. Генерал Алексеев вышел с доклада от государя и передал мне, что я назначаюсь в Петроград. Я несколько удивился, потому что я желал остаться в армии[1]). На самом деле, для удивления не было никакого места, потому что еще в 6 часов вечера Иванов имел беседу с Дубенским и Федоровым. Иванов, по свидетельству Дубенского, не поколебался ни одной минуты, взять на себя задачу «умиротворения столицы». Так была подготовлена кандидатура Иванова в диктаторы. За столом, во время обеда царь сел рядом с Ивановым и они весь обед тихо разговаривали между собой. Мысль о даровании ответственного министерства тесно переплеталась вечером 27 февраля с проектом отправки карательной экспедиции. В результате царь распорядился дать председателю Совета Министров телеграмму о беспрекословном подчинении всех министров распоряжениям Иванова. Решено было также, что Иванов озаботится снабжением Петрограда продовольствием и углем. Кроме того, в распоряжение Иванова предоставлялись четыре пехотных и четыре кавалерийских полка, Георгиевский батальон и пулеметная команда Кольта. Эти пулеметы были едва ли не самым ярким символом диктаторских полномочий Иванова. Даже «либеральный» Алексеев вечером 27 февраля, считал, что остается лишь одно: «собрать порядочный отряд где-нибудь, примерно около Царского и наступать на бушующий Петроград». Таковы же были настроения царя. Разговоры об ответственном министерстве днем 27 февраля среди чинов царской свиты были преждевременны. Царь просто не хотел связывать себя определенным решением, определенными обязательствами. С утра 27 февраля на него оказывалось определенное давление из Петрограда и из Ставки, тем не менее, когда Алексеев попробовал уговорить Николая согласиться на просьбу премьера Голицына об увольнении состава Совета Министров, Николай просто не захотел с ним говорить. Князю Голицыну была послана телеграмма, в которой царь указывал, что при создавшейся обстановке он не допускает возможности производить какие-либо перемены в составе Совета Министров и требовал

[1]) „Падение царского режима", т. V, стр. 313.

принятия самых решительных мер для подавления революционного движения и бунта среди некоторых войсковых частей Петроградского гарнизона. 1) Отправляя Иванова с пулеметной командой, царь отнюдь не связывал себя обещаниями реформ. Иванов вечером 27-го говорил Дубенскому, что в Петроград посылается телеграмма об ответственном министерстве, но на самом деле никакой телеграммы послано не было. Во время ночного своего собеседования, царь как-будто склонился к тому, чтобы «даровать» ответственное министерство, но никаких конкретных шагов к этому не предпринимал. На прощание Иванов сказал: «Ваше величество, позвольте напомнить относительно реформ». Царь ответил ему: «Да, да мне об этом только что напоминал ген. Алексеев». 2) Вот и все.

В течении всего дня 27 февраля царь проводит довольно последовательно политику репрессий, политику подавления революции. 28 февраля и большую часть дня 1 марта уходят на путешествие. В течение всего этого времени положение непрерывно осложняется. Механизм власти расстроен, армия выходит из повиновения. 28-го в поезде, царь соглашается назначить главой кабинета Родзянко, сохранив при этом за собой замещение постов министров, военно-морского, иностранных дел и двора и не делая кабинет формально ответственным перед палатами. Только во Пскове, вечером 1 марта, царь соглашается на ответственное министрество и после беседы с Рузским с 5 ч. 15 мин. утра 2 марта разрешает Алексееву обнародовать соответственный манифест. Таким образом, понадобилось три дня, чтобы освоить Николая с мыслью об ответственном кабинете. Нам кажется, что та видимая легкость, с какой Николай пошел на отречение, можно отчасти объяснить тем, что для него «ответственное министерство» означало фактически конец его правления, конец самодержавия. Власть, ограниченная парламентской ответственностью министров, не имела в его глазах никакой ценности. С этой точки зрения была известная последовательность, в том, чтобы три дня противиться введению парламентаризма, и затем в несколько часов отказаться от власти, превращенной в простой символ, простой декорум. Для Николая, этого

эпигона русского абсолютизма, было органически невозможно перелицеваться в конституционного монарха на западноевропейский образец. Но дело не только в этом.

Отрывки царского дневника, которыми открывается наш сборник, рисуют нам «психологическую» историю отречения. Человек, упрямо цеплявшийся за абсолютистскую неприкосновенность своей власти, просто не понимал того, что вокруг него происходило. Строго очерчен был круг обычных представлений, в которых вращалась мысль царя, и когда в них вторгся чудовищно-огромный призрак революции, царь сдал сразу и безвозвратно. Он пережил своеобразную реакцию на все, вокруг него происходившее. Как ограничен ни был Николай, все же нужно предположить наличие какого-то острого шока, сразу парализовавшего его умственную деятельность. Отупение, апатия, пассивность овладели им в самые критические дни 1—2 марта. Глава российского абсолютизма пережил свое падение безразличием обывателя. Он «спал долго и крепко» на следующую же ночь после отречения. В Ставке занимался укладкой вещей, он сразу же восстановил обычный ритуал своей интимной жизни с ее несложными, бесхитростными развлечениями, и уже 7 марта «царь и самодержец всея Руси», потерявший шесть дней тому назад абсолютную власть над шестой частью земной суши, записал в своем дневнике: «Обедал с мама и поиграл с ней в безик».

Л. Китаев.

Ко второму изданию.

В настоящем издании добавлены: отрывок из книги В. В. Шульгина «Дни», беседа герцога Н. Н. Лейхтенбергского с сотрудником «Биржевых Ведомостей» о последних днях пребывания Николая II в ставке, а также впервые публикуемый в СССР отрывок из книги б. начальника Собщений театра военных действий ген. Н. М. Тихменева. Кроме того, приведенные в первом издании в отрывках записи дневников Николая II за период отречения, ныне публикуются в полном виде.

Л. К.

КТО СПАСАЛ ЦАРЯ.

О конце Романовской династии у нас в широких массах господствуют не совсем верные представления.

Дело рисуется так, что Николай совершенно безропотно подчинился первому мановению революции.

Что вышла чуть ли не ошибка, недоразумение, опечатка, фокус, умело подстроенный Родзянко вкупе с Алексеевым, в результате чего мертвецки пьяный царь подмахнул акт об отречении, как сонный кутила — назойливый ресторанный счет.

Что отрекшийся царь после своего исторического шага чуть ли не ковырял в носу и тупо бормотал: поеду в Ливадию сажать цветочки.

Николай, тряпка, сосулька, покорно ушел, как только его «честью попросили».

Такие картины, имевшие особо широкое хождение в первые годы революции, нуждаются в существенных исправлениях.

Для рассказов об анекдотическом ничтожестве покойника-самодержца, правда, есть большие основания.

Нельзя, например, пройти мимо изумительных записей Николая в его личном дневнике:

«2 марта. Утром пришел Рузский и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем командующим. К 2½ часам пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России

и удержания армии на фронте и спокойствия нужно сделать этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман».

— Нужно мое отречение. Я согласился...

В самом деле, овечье смирение и безразличие.

Вы думаете, Николай, уступив трехсотлетнюю власть Романовых, пытался принять яд, раздирал на себе одежды, проводил мучительные, бессонные ночи?

Вот вам запись на другой день после отречения:

«3 марта. Спал долго и крепко, проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и морозный. Говорил со своими о вчерашнем дне. Читал много о Юлии Цезаре. В 8.20 прибыл в Могилев. Все чины штаба были на платформе. Принял Алексеева в вагоне. В 9½ перебрался в дом. Алексеев пришел с последними известиями от Родзянко. Оказывается, Миша отрекся. Его манифест кончается четыреххвосткой для выбора через 6 месяцев Учредительного Собрания. Бог знает, кто надоумил его написать такую гадость. В Петрограде беспорядки прекратились, — лишь бы так продолжалось дальше».

«7 марта. После чая начал укладывать вещи. Обедал с мама и поиграл с ней в безик».

— Спал долго и крепко! Оказывается, Миша отрекся. Оказывается, читал о Цезаре. И, тем не менее, даже читая Цезаря, через пять дней после отречения играл с мамашей в карты. В самом деле, невозмутимость исключительная! Недаром кто-то из приближенных определяет отречение Николая:

«Отрекся, как командование эскадроном сдал».

Конечно, полуторастамиллионная страна всегда была для Николая только огромным, молчаливым, послушным эскадроном, где всегда повиновались всадники, и безысходно молчали лошади. Но расставание с властью было для царя не таким простым, каким оно кажется внешне.

В Николае Романове надо понимать его замкнутость и апатичность характера, не всегда прикрывавшие апатичность ума и воли. Очень часто под бесцветными изъявлениями у Романова весьма энергично шевелились чувства, диктовавшие немаловажные поступки, направленные к сохранению себя и власти своего класса.

Дворянство и придворные совершенно зря рисуют своего вождя в последние минуты его царствования, как унылого кретина, непротивленца, безропотно сдавшего свой режим по первому требованию революции.

Нельзя сказать, чтобы ближайшие друзья, неразлучные с Николаем, смягчали события или придавали им какой-нибудь преходящий, незначительный смысл. Любимец и собутыльник царя, адмирал Нилов говорил и повторял свою обычную фразу:

— Все будем висеть на фонарях! У нас такая будет революция, какой еще нигде не было!

Николай в февральские дни особенно часто слышал от своего приближенного эти совершенно недвусмысленные и, как мы знаем, пророческие слова.

Другие придворные, штабные генералы, наконец, важнейший и авторитетнейший советник императора — сама царица, — все в один голос подчеркивали грозное значение надвигавшихся событий и неумолимость народа к династии в случае ее падения.

В условиях военных неудач, при определенных признаках разложения армии на фронте, наконец, после смерти Распутина, в лице которого царская семья убежденно видела свою существенную опору, — при всем этом упавший дух царя должен был бы подсказать ему большие политические уступки.

На самом деле этого не было.

Царь Николай хорошо и твердо запомнил наставления отца и уроки воспитателя своего, Победоносцева, умного и выдержанного идеолога самодержавия.

Он понимал и логикой и нутром, что режим может держаться только прежним, единственным, испытанным средством: террором, полицейским зажимом, системой неограни-

ченной дворянской диктатуры, не разбавленной никакими парламентскими лимонадами.

Первые же телеграммы в ставку из столицы, говорящие о волнениях в военных частях и массах, заставляют верховное командование и совет министров поднять вопрос об уступках, о компромиссах.

Последний царский премьер князь Голицын посылает паническую депешу о необходимости его, Голицына, отставки, и образования «ответственного», парламентского министерства во главе с Родзянко или Львовым.

Командующий петроградским гарнизоном генерал Хабалов, военный министр Беляев, брат царя Михаил Александрович, — все бомбардируют ставку страшными известиями, испуганными советами поскорей успокоить уступками разбушевавшееся море.

Генерал Алексеев берет на себя представительство всех этих людей и, кроме того, Родзянко и, кроме того, неведомых ему самому стихий, бушующих в Петрограде. Он просит царя согласиться на конституционные поблажки.

Царь тверд и непреклонен.

Нет.

Он не хочет. Он не согласен.

Наседают облеченные властью и доверенные люди. Волны революции уже заливают первые ступени трона. Самый близкий человек, жена, ужасается:

«Ты один, не имея за собой армии, пойманный как мышь в западню, — что ты можешь сделать?!»

И все-таки, под таким натиском, Николай не идет на уступки. Долго, категорически он уклоняется от согласия даже на создание «ответственного министерства».

После нового залпа телеграмм генерал Алексеев еще раз идет к Николаю для решительного разговора.

Выходит оттуда ни с чем, вернее — с повышенной температурой. Старик сваливается в постель, — он ничего не может сделать с упорным своим монархом.

Где же тряпка? Где сосулька? Где слабовольное ничтожество? В перепуганной толпе защитников трона мы видим только одного верного себе человека — самого Николая. Он стоек, и меньше всех струсил.

Что же выдвигает царь взамен голицынско-алексеевских компромиссов?

Одну простую, ясную, давно уже испытанную и оправдавшую себя вещь.

Николай снаряжает сильную карательную экспедицию на взбунтовавшуюся столицу.

Такие штуки не раз помогали короне. Так однажды Петроград расправился с революционной Москвой. Может быть, сейчас, тем же способом ставка склонит к своим ногам взбунтовавшуюся в столице чернь. Может быть!

Шаг не оригинальный. Но исторически понятный и решительный.

Николай Иудович Иванов, старый вояка, выслужившийся из низов, крепкий, надежный бородач, с хорошим круглым русским говорком и солидными жестами — вот кто должен стать усмирителем петроградского восстания и военным диктатором в усмиренной столице. Староват, но коренаст. Неладно скроен, да крепко сшит. В толпе жидких штабных генералов Николай не плохо выбрал диктатора.

Иванов получает в свое распоряжение по два кавалерийских, по два пехотных полка и по пулеметной команде Кольта с каждого фронта. Целый корпус отборных войск, вооруженных до зубов, должен вторгнуться в Петроград и стереть с лица земли мятежников.

По инструкции, в Петрограде ему должны подчиняться все министры!

Соответственно этому составлен и ответ князю Голицыну на его просьбы о конституционных уступках:

«О главном начальнике для Петрограда мною дано повеление начальнику моего штаба с указанием немедленно прибыть в столицу. То же и относительно войск... Относительно перемен в личном составе при данных обстоятельствах считаю их недопустимыми. Николай».

Вся ставка на смерть перепугана таким оборотом дела. Опять убеждают царя смягчиться. Он непреклонен. И в своем положении — прав! Если уж гадать задним числом о том, что могло бы спасти положение для монархии, то, конечно, это мог быть только шаг, сделанный самим царем: разгром революционного Петрограда.

Отдав свои распоряжения, Николай трогается в путь. Он хочет пробраться в Царское Село, к жене и больным детям. На станции Малая Вишера, уже почти у столицы, ехать дальше оказывается невозможным. Тосно и Любань уже заняты революционными войсками. Царский поезд возвращается, чтобы достигнуть цели кружным путем через Бологое, и застревает в Пскове. Царь ждет известий, он надеется на корпус Иванова.

Но за время почти суточного блуждания поезда события разворачиваются ужасающим темпом. В Пскове, в штабе Северного фронта, у генерала Рузского, Николай застает уже готовую петлю для себя.

Рузский, частью спасовав перед неумолимостью революционной стихии, частью уже имея кое-какие виды при новом строе объявляет, перед разговором с царем, его придворным:

— Надо сдаться на милость победителя!

Генерал Воейков, изнеженный полковник Мордвинов, граф Граббе и другие дворцовые салонные собачки в эполетах поражены и удручены.

Как так сдаться! Разве — уже?!

«Начались возражения, негодование, споры, требования, наконец, просто просьбы помочь царю в эти минуты и не губить отечества. Говорили все. Генерал Воейков предложил переговорить лично по прямому проводу с Родзянко, на что Рузский ответил: «Он не подойдет к аппарату, когда узнает, что вы хотите с ним беседовать». Дворцовый комендант сконфузился, замолчал и отошел в сторону». (Воспоминания генерала Дубенского).

Рузский имеет решительный, решающий разговор по проводу с Родзянко. Оба собеседника обнаруживают в этом разговоре всю сумму лукавства. Каждый старается лично задобрить и умаслить другого в предвидении возможной своей неудачи. Однако же Родзянко дает понять Рузскому действительное положение вещей.

Рузский начинает твердо соображать, откуда ветер дует. Недаром он позволил себе через две недели так самодовольно рекламировать себя в газетном интервью:

« — Ваше высокопревосходительство, — обратился наш корреспондент к генералу Рузскому, — мы имеем сведения,

что свободная Россия обязана вам предотвращением ужасного кровопролития, которое готовил народу низвергнутый царь. Говорят, что Николай II приехал к вам с целью видеть вас, чтобы вы послали на восставшую столицу несколько корпусов.

«Генерал Рузский улыбнулся и заметил:

« — Если уж говорить об услуге, оказанной мною революции, то она даже больше той, о которой вы принесли мне сенсационную весть. По той же простой причине, что я убедил его отречься от престола в тот момент, когда для него самого ясна стала неисправимость положения».

Впоследствии, когда ветер подул совсем не в сторону Рузского, он стал иначе толковать свою роль в «трагедии отречения». Когда в Ессентуках, где он жил, водворилась советская власть, когда генерал стал ожидать ареста и готовиться к бегству, он передал доверенному человеку, некоему белогвардейцу Вилчковскому, свои объяснения, в которых горячо опровергал версию о том, что он «неприлично вел себя по отношению к государю»...

Так или иначе, Николай, видя предательство кругом себя и не находя ни в ком из окружающих опоры, наконец, получив известия о неудаче экспедиции Иванова, склоняется к отречению.

Он еще колеблется. Но его решение подстегнуто телеграммами от главнокомандующих фронтами.

Все телеграммы составлены в форме выражения горячих верноподданнических чувств, но все они без обиняков толкают царя на отречение. В этом отношении содержание депеш Николая Николаевича (кавказский фронт) мало отличается от брусиловской (южный) и эвертовской (западный фронт). Запоздала телеграмма Сахарова с румынского фронта. Видимо, долго трудился над ней почтенный генерал. Зато получилась она в своем роде шедевром по красоте стиля:

Начало такое:

«Генерал-адъютант Алексеев передал мне преступный и возмутительный ответ председателя государственной думы вам на высокомилостивое решение государя... Горячая любовь моя к его величеству не допускает в душе моей

мириться с возможностью осуществления гнусного предложения (об отречении), переданного вам председателем думы. Я уверен, что не русский народ, никогда не касавшийся царя своего, задумал это злодейство, а разбойная кучка людей, именуемая государственная дума, предательски воспользовалась удобной минутой для своих преступных целей... Я уверен, что армии фронта непоколебимо стали бы за своего державного вождя»...

Стали бы! Но не стали. И потому конец телеграммы загибается ловким крючком. Полюбуйтесь на этот блестящий спуск на деепричастиях!

«Переходя к логике разума и учтя создавшуюся безвыходность положения, я, непоколебимо верный подданный его величества, рыдая вынужден сказать, что, пожалуй, наиболее безболезненным выходом для страны и для сохранения возможности биться с внешним врагом является решение пойти навстречу уже высказанным условиям».

Рыдая!.. Пожалуй! Да, умри, Денис, пожалуй, лучше не напишешь.

Что было делать Николаю с перетрусившим генералитетом?

Ни одной дивизии не нашлось, чтобы защитить обожаемого монарха.

Даже «собственный его величества» конвой, прослышав в Царское Село о петроградских событиях, вышел с красными бантами и «Марсельезой» на улицу. Куда дальше!

Николай в западне. Делать нечего — он смиряется.

Составляет две телеграммы — Родзянко и Алексееву, о готовности своей отречься от престола.

Флигель-адъютант царя Мордвинов рассказывает:

«Не помню, сколько времени мы провели в вялых разговорах, когда возвращавшийся из вагона государя граф Фредерикс остановился в коридоре у дверей нашего купэ и почти обыкновенным голосом по-французски сказал:

— «Savez vous, l'Empereur a acdiqué». (Вы знаете, император отрекся).

«Слова эти заставили нас всех вскочить. «Как, когда, что такое, да почему», — послышались возбужденные вопросы. Со всех сторон сыпались возбужденные возражения, смешан-

ные и у меня с надеждой на путаницу и возможность еще отсрочить только что принятое решение».

Кучка придворных чувствует, что почва уходит из-под ног. Они не верят, не могут примириться с таким шагом Николая, губящего себя, а главное — их.

Они бегут к Фредериксу, тормошат 78-летнего старика, убеждают эту песочницу отговорить царя от посылки телеграммы.

Фредерикс идет. И что же?

Николай берет назад свое согласие. Он приказывает остановить телеграммы Родзянко и Алексееву! Он не гордый. Он готов передумать. Ему не надоела власть. Ему не опротивела корона, даже после двадцати лет тяжелого, кровавого царствования, после трех дней катастрофического шатания трона. Он готов сидеть на троне дальше, — даже если ножка подломана. Что ножка! Можно подвязать. Было бы только обо что ее опереть.

Николаю почудилась какая-то поддержка, какой-то проблеск героизма, — нет, даже не героизма, а просто решительности, нежелания «пойти на милость победителя». И он уже готов опять упорствовать, опять сопротивляться, карать. Где же сосулька, где тупое безразличие к «командованию эскадроном»?

Поддержки нет. Она только почудилась. Никакой опоры. Нельзя же считать опорой 80-летнюю развалину с орденами, лейб-хирурга, пьяницу коменданта, начальника походной канцелярии. Жизнь показала, как уже через три дня тот же полковник Мордвинов трусливо сбежал с царского поезда, оставив Николая одного ехать в Царское Село.

Поддержки нет. Она только померещилась. Рузский наседает. Едут депутаты из Москвы. Уже появились на Псковском вокзале красные банты. Дальше нет пути.

Николай уступил, он отрекся после решительной и стойкой борьбы в полном одиночестве...

В этом сборнике дан богатый материал, связанный с отречением. Целый ряд генералов, сановников, придворных, — почти все в своих зарубежных воспоминаниях рисуют яркие картины своего героизма, верноподданического упорства в отстаивании династии. Все это, по их словам, разбилось

о мягкую «христианскую» уступчивость царя, его непротивление и мирный характер.

Конечно, это историческая ложь, нуждающаяся в разоблачении. Достаточно даже беглого знакомства с генеральскими мемуарами, чтобы разглядеть толстые белые нитки, которыми они шиты. Нет сомнения, единственным человеком, пытавшимся упорствовать в сохранении монархического режима, был сам монарх. Спасал, отстаивал царя один царь.

Не он погубил, его погубили.

Николая Романова увлек за собой, свалил и похоронил под своими обломками его же правящий дворянский класс.

Михаил Кольцов.

I

ВОСПОМИНАНИЯ

В дни отречения.

(Из дневника Николая II).

15-го февраля, 1917 г. Среда.

У меня сразу сделался сильный насморк. В 10 час. принял ген.-ад. Безобразова. В 11½ час. — к обедне. Завтракал и обедал Сашка Воронцов (деж.). Принимал и осматривал собрание рисунков и фотографий военной трофейной комиссии до 3½. Погулял. Погода была мягкая. Сегодня прибыл из Измаила батальон Гвардейского Экипажа и расположился в Александровке. В 6 ч. принял А. С. Боткина. Вечером занимался.

16-го февраля. Четверг.

С 10 час. принял: Ильина, Кочубея и Мосолова. В 11½ поехали к часам. Завтракал и обедал Н. П. Саблин (деж.). Посидел у Ольги, Марии и Алексея. Погулял с Татьяной и Анастасией. Было 5° мороза и тихо. В 9½ принял Протопопова.

17-го февраля. Пятница.

Утром принял Барка и затем М. Граббе. Ездили к обеим службам. День был солнечный и морозный. Погулял с Татьяной и Анастасией. В 4½ принял Озерова. Завтракал и обедал Кутайсов (деж.). Вечером исповедывались.

18-го февраля. Суббота.

Солнечный и морозный день. В 9 час. поехали с Татьяной и Анастасией к обедне и причастились св. тайн. Затем о. Александр Васильев приехал к нам и приобщил Ольгу, Марию и Алексея. В 12 час. принял Беляева. Погулял один. В 4 ч. у меня был Рейн. Ездили ко всенощной. Обедал Свечин (деж.).

19-го февраля. Воскресение.

В 10½ поехали к обедне с Татьяной, Анастасия тоже простужена. Завтракал и обедал Вилькицкий (деж.). Гулял один. До чая принял Балашева — члена Гос. Думы. В 6 ч. был кинематограф — видел конец «Таинственной руки».

Вечером у Аликс собрались: Лили Ден, Н. П., Мясоедов-Иванов, Родионов и Кублицкий.

20-го февраля. Понедельник.

Встал поздно. Утром был Воейков. После десятиминутной прогулки принял Григоровича и полк. Данильченко, командира запасного батальона Измайловского полка. Побыл наверху у болящих. Завтракал и обедал Сандро (деж.). В 2½ принял депутацию от 8-го гренадерского Московского полка. Погулял. В 4 ч. у меня был Шаховской. В 6 ч. кн. Голицын и затем дядя Павел. Успел прочесть нужные бумаги до обеда.

21-го февраля. Вторник.

Погулял полчаса. Погода была холодная и ветреная, шел снег. Принял Беляева, Покровского, Щегловитова, полк. Доброжанского и Крейтона, нового командира л.-гв. 1-го Стрелкового полка. Завтракала Елена Петровна. Посидел наверху у Ольги и Алексея, которому лучше. Погулял с Татьяной. В 4 ч. принял Танеева, в 7 час. Стаховича и в 9.45 Протопопова. Обедали Аня и Петровский (деж.).

22-го февраля. Среда.

Читал, укладывался и принял: Мамонтова, Кульчицкого и Добровольского. Миша завтракал. Простился со всем милым своим семейством и поехал с Аликс к Знамению, а затем на станцию. В 2 часа уехал на ставку. День стоял солнечный, морозный. Читал, скучал и отдыхал; не выходил из-за кашля.

23-го февраля. Четверг.

Проснулся в Смоленске в 9½ час. Было холодно, ясно и ветрено. Читал все свободное время французскую книгу о завоевании Галлии Юлием Цезарем. Приехал в Могилев в 3 ч. Был встречен ген. Алексеевым и штабом. Провел час времени с ним. Пусто показалось в доме без Алексея. Обе-

дал со всеми иностранцами и нашими. Вечером писал и пил общий чай.

24-го февраля. Пятница.

В 10½ пошел к докладу, который окончился в 12 час. Перед завтраком [?] принес мне от имени бельгийского короля военный крест. Погода была неприятная — мятель. Погулял недолго в садике. Читал и писал. Вчера Ольга и Алексей заболели корью, а сегодня Татьяна последовала их примеру.

25-го февраля. Суббота.

Встал поздно. Доклад продолжался полтора часа. В 2½ заехал в монастырь и приложился к иконе божией матери. Сделал прогулку по шоссе на Оршу. В 6 ч. пошел ко всенощной. Весь вечер занимался.

26-го февраля. Воскресенье.

В 10 час. пошел к обедне. Доклад кончился во-время. Завтракало много народа и все наличные иностранцы. Написал Аликс и поехал по Бобруйскому шоссе к часовне, где погулял. Погода была ясная и морозная. После чая читал и принял сен. Трегубова до обеда. Вечером поиграл в домино.

27-го февраля. Понедельник.

В Петрограде начались беспорядки несколько дней тому назад; к прискорбию, в них стали принимать участие и войска. Отвратительное чувство быть так далеко и получать отрывочные нехорошие известия! Был недолго у доклада. Днем сделал прогулку по шоссе на Оршу. Погода стояла солнечная. После обеда решил ехать в Царское Село, поскорее и в час ночи перебрался в поезд.

28-го февраля. Вторник.

Лег спать в 3¼, так как долго говорили с Н. И. Ивановым, которого посылаю в Петроград с войсками водворить порядок. Спал до 10 час. Ушли из Могилева в 5 час. утра. Погода была морозная, солнечная. Днем проехали Вязьму, Ржев, а Лихославль в 9 час.

1-го марта. Среда.

Ночью повернули с М. Вишеры назад, так как Любань и Тосно, оказались занятыми восставшими. Поехали на Валдай, Дно и Псков, где остановились на ночь. Видел Рузского. Он, Данилов и Саввич обедали. Гатчина и Луга тоже оказались занятыми. Стыд и позор! Доехать до Царского не удалось. А мысли и чувства все время там! Как бедной Аликс должно быть тягостно одной переживать все эти события! Помоги нам господь!

2-го марта. Четверг.

Утром пришел Рузский и прочел свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно мое отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 2½ ч. пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии, нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжелым чувством пережитого.

Кругом измена и трусость и обман!

3-го марта. Пятница.

Спал долго и крепко. Проснулся далеко за Двинском. День стоял солнечный и морозный. Говорил со своими о вчерашнем дне. Читал много о Юлии Цезаре. В 8.20 прибыл в Могилев. Все чины штаба были на платформе. Принял Алексеева в вагоне. В 9½ перебрался в дом. Алексеев пришел с последними известиями от Родзянко. Оказывается, Миша отрекся. Его манифест кончается четыреххвосткой для выборов через 6 месяцев Учредительного Собрания. Бог знает, кто надоумил его подписать такую гадость! В Петрограде беспорядки прекратились — лишь бы так продолжалось дальше.

4-го марта. Суббота.

Спал хорошо. В 10 ч. пришел добрый Алек. Затем пошел к докладу. К 12 час. поехал на платформу встретить дорогую мама, прибывшую из Киева. Повез ее к себе и завтракал с нею и нашими. Долго сидели и разговаривали. Сегодня, наконец, получил две телеграммы от дорогой Аликс. Погулял. Погода была отвратительная — холод и мятель. После чая принял Алексеева и Фредерикса. К 8 ч. поехал к обеду к мама и просидел с нею до 11 ч.

5-го марта. Воскресенье.

Ночью сильно дуло. День был ясный, морозный. В 10 ч. поехал к обедне, мама приехала позже. Она завтракала и оставалась у меня до 3¼. Погулял в садике. После чая принял Н. И. Иванова, вернувшегося из командировки. Он побывал в Царском Селе и видел Аликс. Простился с бедным гр. Фредерикс и Воейковым, присутствие которых почему-то раздражает всех здесь; они уехали в его имение в Пензенской губернии. В 8 час. поехал к мама к обеду.

6-го марта. Понедельник.

Утром был очень обрадован, получив два письма от дорогой Аликс и два письма от Марии. Их привезла жена кап. Головкина л.-гв. Финляндского полка. Погулял в садике. Мама приехала к завтраку. Посидели вместе до 3 ч. Гулял; опять началось мятель. После чая принял Williams. К 8 ч. поехал к мама в поезд.

7-го марта. Вторник.

Получил еще два письма от дорогой Аликс, привезенные двумя офицерами конвоя. В 11 час. принял Williams, Janin, Ryckel; все так тепло и участливо относятся. Завтракала мама, просидел с нею до 2½. Принял Coanda, Romei, Marcengo и Лонткевича. Погулял около часа. Погода была мягкая, но целый день шел снег. После чая начал укладывать вещи. Обедал с мама и поиграл с нею в безик.

8-го марта. Среда.

Последний день в Могилеве. В 10¼ подписал прощальный приказ по армиям. В 10½ пошел в дом дежурства, где простился со (sic!) всеми чинами штаба и управлений. Дома

прощался с офицерами и казаками конвоя и Сводного полка — сердце у меня чуть не разорвалось! В 12 час. приехал к мама в вагон, позавтракал с ней и ее свитой и остался сидеть с ней до 4½ час. Простился с ней, Сандро, Сергеем, Борисом и Алеком. Бедного Нилова не пустили со мною. В 4.45 уехал из Могилева, трогательная толпа людей провожала. 4 члена Думы сопутствуют в моем поезде!

Поехал на Оршу и Витебск.

Погода морозная и ветренная.

Тяжело, больно и тоскливо.

9-го марта. Четверг.

Скоро и благополучно прибыл в Царское Село — в 11½. Но, боже, какая разница, на улице и кругом дворца внутри парка часовые, а внутри подъезда какие-то прапорщики. Пошел наверх и там увидел душку Аликс и дорогих детей. Она выглядела бодрой и здоровой, а они все лежали в темной комнате. Но самочувствие у всех хорошее, кроме Марии, у которой корь недавно началась. Завтракали в садике, так как дальше выходить нельзя! После чая расдорфа. Погулял с Валей Долгоруковым и поработал с ним в садике, так как дальше выходить нельзя! После чая раскладывали вещи. Вечером обошли всех жильцов на той стороне и застали всех вместе.

Ген. Д. Н. ДУБЕНСКИЙ.

Как произошел переворот в России.

Настоящие записки под заглавием «Как произошел переворот в России» составлены мною по уцелевшим моим записным книжкам, заметкам и по памяти. Весь подлинный официальный материал находится в сохранности, но в настоящее время я не имею возможности им воспользоваться.

23-го февраля.

Приезд из Царского Села в Ставку.

Государь император отбыл из Царского 23-го днем. В этой последней поздке его величество сопровождали лица, обычно в годы войны при нем находившиеся:

1. Министр императорского двора, генерал-адъютант, граф Владимир Борисович Фредерикс.

2. Флаг-капитан, генерал-адъютант Константин Дмитриевич Нилов.

3. Дворцовый комендант, с. е. в. генерал-майор Владимир Николаевич Воейков.

4. В должности гофмаршала, с. е. в. генерал-майор князь Василий Александрович Долгорукий.

5. Начальник военно-походной канцелярии, с. е. в. генерал-майор Кирил Анатольевич Нарышкин.

6. Командир конвоя его величества, с. е. в. генерал-майор граф Александр Николаевич Граббе граф Никитин.

7. Генерал-майор Дмитрий Николаевич Дубенский.

8. Командир собственного его величества железнодорожного полка, генерал-майор Сергей Александрович Цабель.

9. Лейб-хирург его величества, профессор Сергей Петрович Федоров.

10. Церемониймейстер барон Рудольф Александрович Штакельберг.

11. Флигель-адъютант полковник герцог Николай Николаевич Лейхтенбергский.

12. Флигель-адъютант полковник Мордвинов.

Офицеры конвоя его величества, собственного железнодорожного полка, сводного его величества полка и, кроме того, обычный, небольшой состав чиновников министерства двора, нижних чинов и прислуги.

От Царского сначала отошел свитский поезд, а затем через час собственный его величества поезд.

Нам предстояло ехать по Николаевской жел.-дороге до Лихославля, затем на Вязьму, Смоленск, Оршу и Могилев.

Мы ехали, как я сказал, в постоянном нашем составе, и я давно привык к моим сослуживцам, находясь с ними в добрых отношениях; жизнь в Ставке любил, а тем не менее с большой тревогой оставлял на этот раз родной город.

Я уезжал неспокойно, да и все были в таком же состоянии.

Предполагали, однако, что поездка в ставку на этот раз продолжится несколько дней и к 1-му марта его величество вернется в Царское.

Весь путь наш прошел совершенно обычным порядком; всюду было спокойно: в городах царские поезда встречались местным начальством.

Станции были пустынны, так как поезд был неожиданный и никто почти не знал о следовании государя. Только в Ржеве, Вязьме и Смоленске, — народу было больше, и он приветливо встречал царя, снимал шапки, кланялся, кричал «ура».

В Могилев мы прибыли на другой день вечером. Государь был встречен генерал-адъютантом Алексеевым и высшими командными лицами.

Его величество приехал к себе во «дворец», т.-е. бывший губернаторский дом. Мы все разместились по своим помещениям.

Обычная жизнь царской Ставки началась. В тот же вечер я посетил разных лиц, видел много штабных генералов, офицеров, спрашивал, как идут дела на фронте, какие события в самом Могилеве.

— «У нас все попрежнему, на фронте затишье, спокойно, новостей особых нет», — отвечали мне.

— «Но что делается в Петрограде, по газетам, агентским телеграммам (без цензуры), там ожидают тревожных дней. Предстоят будто бы волнения из-за недостатка хлеба. А Дума и часть Государственного Совета так же неспокойны... Здесь опасаются, как все это пройдет и что будет дальше...» — спрашивали меня в свою очередь.

Государь находился в обычном своем настроении: ровен, спокоен, приветлив, и к вечеру принял с коротким докладом генерал-адъютанта Алексеева.

Весь вечер мы долго беседовали с К. Д. Ниловым и С. П. Федоровым на тему, о тех сюрпризах и неожиданностях, которые нам принесет будущее: словом, рисовалась нам невеселая перспектива.

Когда я вышел из дворца, в первом часу ночи, тихий мягкий снег спускался с неба, — начиналась оттепель.

У подъезда стояли в своих дубленных полушубках часовые Георгиевского батальона, а в садике, между дворцом и управлением дежурного генерала, дежурила дворцовая полиция; на крыше дома генерал-квартирмейстера ясно виднелись пулеметы в чехлах, установленные на случай налета неприятельских аэропланов, и около них фигуры часовых в папахах и постовых шинелях.

Могилев. Пятница, 24-го февраля.

После утреннего чая государь отправился на доклад генерал-адъютанта Алексеева, который обычно происходил в генерал-квартирмейстерской части, помещавшейся рядом, в здании «Губернских присутственных мест».

На докладе всегда присутствовали только помощник начальника штаба генерал Клембовский и генерал-квартирмейстер генерал-лейтенант Лукомский. Доклад тянулся до завтрака, т. е. до 12½ часов.

К завтраку было много приглашенных: свита государя, великие князья Сергей и Александр Михайловичи, генерал-адъютант Н. И. Иванов, все иностранцы военных миссий. Его величество в защитной рубашке, в погонах одного из пехотных полков, — обошел всех, здороваясь и разговаривая с некоторыми из приглашенных. Государь был в обычном спокойном, приветливом настроении.

Тихо спрашивали друг-друга: «Какие вести из Петрограда»; передавали, что только-что полученные телеграммы сообщили о волнениях в рабочих кварталах; но в общем высочайший завтрак прошел так же, как и всегда.

После 2-х часов государь с Воейковым, дежурным флигель-адъютантом герцогом Лейхтенбергским, князем Долгоруким, графом Граббе и лейб-хирургом Федоровым поехали в автомобиле за город по шоссе для прогулки. Часа через полтора его величество вернулся и прошел к себе в кабинет.

Затем был дневной краткий чай, после которого государь снова ушел в кабинет на обычные занятия и оставался там до обеда. Все шло по внешности давно установленным порядком, — и это внушало какую-то уверенность, что сюда, до Ставки, никакие волнения не докатятся и работа высшего командования будет итти независимо от всяких осложнений в столице.

Генерал-адъютант Алексеев был так близок к царю и его величество так верил Михаилу Васильевичу, они так сроднились в совместной напряженной работе за полтора года,

что, казалось, при этих условиях какие могут быть осложнения в царской Ставке. Генерал Алексеев был деятелен, по целым часам сидел у себя в кабинете, всем распоряжался самостоятельно, встречая всегда полную поддержку со стороны верховного главнокомандующего.

В это время состав Ставки и высшее командование на фронтах были следующие:

Начальник штаба, генерал-адъютант Михаил Васильевич Алексеев.

Его помощник, генерал-от-инфантерии Вячеслав Наполеонович Клембовский.

Генерал-квартирмейстер, генерал-лейтенант Александр Сергеевич Лукомский.

Дежурный генерал, генерал-лейтенант Петр Константинович Кондзеровский.

Начальник военных сообщений, генерал-майор Тихменев.

Начальник морского отдела, адмирал Русин.

Полевой генерал-инспектор артиллерии, великий князь Сергей Михайлович.

Генерал-инспектор военно-воздушного флота, великий князь Александр Михайлович.

Походный атаман, великий князь Борис Владимирович.

Его начальник штаба, с. е. в. генерал-майор Африкан Петрович Богаевский.

Полевой интендант, генерал-лейтенант Егорьев.

Протопресвитер военного и морского духовенства, Георгий Шавельский.

При особе его величества:

Великий князь Георгий Михайлович.

Генерал-адъютант, Николай Иудович Иванов.

Военные агенты:

Великобритании, генерал Вильямс.

Франции, генерал Манжен.

Бельгии, генерал барон де-Риккель.

Сербии, полковник Леонткевич.

Италии, помощник военного агента, полковник Марсенго, и другие, фамилии которых не припоминаю.

Главнокомандующие фронтами:

Наместник е. и. в. на Кавказе и главнокомандующий Кавказской армией, великий князь Николай Николаевич.

Его помощник и командующий Кавказской армией, генерал Николай Николаевич Юденич.

Главнокомандующие:

Северным фронтом — генерал-адъютант Николай Владимирович Рузский.

Западным—генерал-адъютант Алексей Ермолаевич Эверт.

Юго-Западным — генерал-адъютант Алексей Алексеевич Брусилов.

Румынским — генерал Владимир Викторович Сахаров.

Начальник главной санитарной и эвакуационной части, его императорское высочество принц Александр Петрович Ольденбургский.

Туркестанский генерал-губернатор, генерал-адъютант Алексей Николаевич Куропаткин.

Генералы: Клембовский, Лукомский, Кондзеровский — ближайшие помощники генерала Алексеева, — все это умные толковые люди, известные генералы генерального штаба, работали свое дело усердно и вообще Ставка была поставлена твердо.

Гарнизон ставки состоял из следующих частей:

1. Георгиевский батальон, сформированный для охраны Ставки во время войны и составленный исключительно из раненых георгиевских кавалеров; это были избранные по своим заслугам люди. Командовал ими генерал-майор Пожарский, тоже георгиевский кавалер, видный, прекрасный боевой командир. Все офицеры, подобно солдатам — раненые и георгиевские кавалеры. По своему виду, по своей безукоризненной службе, Георгиевский батальон являлся превосходной частью. Люди одеты были в их красивую форму с георгиевскими цветами. Нельзя было не любоваться часовыми, стоявшими у подъезда государя, командами, караулами этого батальона, встречавшимися по городу.

2. Одна очередная сотня конвоя его величества. Казаки-конвойцы несли свою обычную службу внутренних постов во дворце государя. В Ставке постоянно находился командир конвоя с. е. в. генерал-майор, граф Александр Николаевич Граббе, граф Никитин и очередные офицеры дежурной сотни. Внешний вид конвойцев и их выправка обращали на себя внимание в особенности иностранцев, всегда поражавшихся и нарядностью формы и красотою кавказских казаков.

3. Одна (кажется) дежурная рота Сводного его величества полка. Люди этой части отличались превосходной выправкой и очень внимательной дворцовой службой. Командир полка с. е. в. генерал-майор Ресин находился постоянно в Царском Селе, а в Ставку поочередно командировался один из старших полковых штаб-офицеров и офицеры дежурной роты.

4. Несколько команд Собственного его величества жел.-дорожного полка, обслуживавших технически императорские поезда во время их движения и в Ставке.

Командир полка генерал-майор Сергей Александрович Цабель держал свою часть в отличном виде.

Затем была противо-аэропланная батарея, и, насколько помнится, строевых частей больше не было, если не считать автомобильной роты, обслуживавшей во время войны огромный гараж Ставки. Командир роты, капитан Вреден, умело вел свое трудное дело.

Гарнизон был невелик, но находился в полном и блестящем порядке.

Писарские и нестроевые команды особенно разрослись, и потребность в писарях значительно возросла и расширилась.

Все части и команды были размещены в казармах и других помещениях, содержались прекрасно и положительно гордились, что они служат в царской Ставке при государе императоре.

А все-таки, при всех этих кажущихся благоприятных условиях жизни и работы Ставки, уже с первых часов приезда туда государя чувствовалась некоторая неуверенность в ближайших событиях, но не в смысле военного порядка в самой Ставке, а в общей государственной жизни России.

Определенно об этом говорили редко, но в полусловах, в замечаниях сказывалось беспокойство.

Вечером, после обеда, который ничем не отличался от предыдущих высочайших обедов, я отправился на телефонную станцию для переговора через Царское с Петроградом. Телефонист мне передал, что только-что окончился разговор государя (из его кабинета) с императрицей в Царском, длившийся около получаса.

По телефону узнал, что сегодня, 24-го февраля, в Петрограде были волнения на Выборгской стороне. Толпы рабочих требовали хлеба и было несколько столкновений с полицией, но все это сравнительно скоро успокоилось. В Петрограде многие не верят в искренность этих требований, выражающую общее недовольство правительством. Передали также, что на завтра ожидаются гораздо большие волнения и беспорядки. Войска получили приказ оставаться в казармах и быть готовыми к немедленному выступлению по требованию властей. Я обещал переговорить на следующий день вечером, чтобы узнать, что произошло в Петрограде за день. В этот вечер я узнал, что поступившие телеграммы также ничего радостного не сообщили.

Могилев. Суббота, 25-го февраля.

Уже с утра в Ставке стало известно, что волнения в Петрограде приняли широкие размеры. Толпы появились уже на Невском у Николаевского вокзала, а в рабочих районах, как и вчера, народ требовал хлеба и стремился производить

насилия над полицией. Были вызваны войска, занявшие площади, некоторые улицы. Революционное настроение масс росло. Государственная Дума, с Родзянко во главе, предъявляла правительству новые настойчивые требования о реорганизации власти. Все эти тревожные сведения достигли Могилева отрывочно, и определенных сообщений о мероприятиях, принятых властями для подавления беспорядков в столице — не было.

Меня интересовал вопрос, как относятся в Ставке к петроградским событиям Здесь были лица, которые, в силу своего высокого служебного положения, должны были ясно определить картину начавшихся революционных выступлений. Таких людей в Ставке было двое — и оба они близко стояли к государю и обязаны были отозваться на петроградские события и понять весь их ужас. Это генерал-адъютант М. В. Алексеев и дворцовый комендант генерал Воейков. Генерал Алексеев пользовался в это время самой широкой популярностью в кругах Государственной Думы, с которой находился в полной связи. Он был надеждой России в наших предстоящих военных операциях на фронте. Ему глубоко верил государь. Высшее командование относилось к нему с большим вниманием. На таком высоком посту редко можно было увидать человека, как генерал Алексеев, к которому люди самых разнообразных партий и направлений относились бы с таким доверием. Уже одно то, что его называли по преимуществу Михаил Васильевич, когда о нем упоминали, говорит о всеобщем доброжелательном отношении к нему. При таком положении генерал Алексеев мог и должен был принять ряд необходимых мер, чтобы предотвратить революцию, начавшуюся в разгар войны, — да еще в серьезнейший момент, перед весенним наступлением нашим. У него была вся власть. Государь поддержал бы его распоряжения. Он бы действовал именем его величества. Фронт находился в его руках, а Государственная Дума и ее прогрессивный блок, — не решились бы ослушаться директив Ставки. К величайшему удивлению, генерал Алексеев не только не рискнул начать борьбу с начавшимся движением, но с первых же часов революции выявилась его преступная бездеятельность и беспомощность. Как это случилось, — понять трудно.

Дворцовый комендант, генерал В. Н. Воейков, благодаря своему положению, должен был хорошо знать, что происходит в столице. От министерства внутренних дел и от своих агентов он имел сведения о политическом движении. Ему открыты были все пути, и он обязан был неуклонно и настойчиво добиваться мероприятий для прекращения начавшихся волнений. А между тем Воейков, прибыв с госу-

дарем в Ставку накануне революции, не обращал внимания на надвигавшиеся события и занимался личными, пустыми делами, в роде устройства квартиры для своей жены, которую ожидал на-днях в Могилев и для которой был нанят дом. Я не могу понять — неужели он не верил, что положение так грозно, и надо безотлагательно принимать меры, тушить занимавшийся пожар. Должен, однако, сказать, что в этот день (25—II) Воейков, видимо, все-таки тревожился, ходил весь красный, с широко раскрытыми глазами, меньше буфонил, но никто не слыхал ни о каких серьезных с его стороны распоряжениях.

Генерал Алексеев и генерал Воейков получали известия из Петрограда, совещались, докладывали обо всем государю, но они единственные, которые могли сокрушить мятеж, — никаких мер не принимали.

Государь, вероятно, и не все знал, так как он был совершенно спокоен и никаких указаний не давал.

Генерал Воейков вообще не пользовался большим авторитетом в глазах государя в делах широкого государственного значения, но при начавшейся революционной смуте, угрожавшей царскому дому, он мог и был обязан настоять на решительных мероприятиях в том виде, в каком это требовалось обстоятельствами. Надо было спасать положение, и может быть, сделать необходимые уступки, весьма срочные и толковые, дабы сохранить порядок.

Весь мой вечер прошел в продолжительных беседах с С. П. Федоровым, К. Д. Ниловым и бароном Штакельбергом. Грустное сознание, что ничего не делается для восстановления порядка, что все как-то опустили руки и словно боятся проявить необходимую твердость власти, — это чувство слабости и беспомощности, — охватывало и нас.

Любопытно отметить, что безусловно, вся свита и состоящие при государе признавали в это время неотложным согласие государя на ответственное министерство и переход к парламентарному строю.

Генерал-адъютант Нилов, князь Долгорукий, граф Фредерикс и другие находили, что эта мера упрочила бы положение царской фамилии в России и могла бы внести успокоение в страну.

Внешняя жизнь Могилева — прежняя. Спокойно и тихо на улицах. Государь выезжал на прогулку, были высочайшие завтраки и обеды; а все остальное время его величество занимался в своем кабинете, принимал графа Фредерикса, генерала Воейкова, генерал-адъютанта Алексеева; утром того же дня происходил обычный доклад по генерал-квартирмейстерской части.

Государь внимательно следил за сведениями, полученными с фронта за истекшие сутки, и удивлял всех своей памятливостью и вниманием к делам.

В субботу легли все поздно и заснули неспокойно. Его величество еще долго не ложился, занимался в своем кабинете.

Могилев. Воскресенье, 26-го февраля.

Государь был у обедни. Церковь переполнена молящимися — генералами, офицерами, командами солдат и простыми прихожанами. Свита его величества, генерал-адъютант Алексеев, генерал Кондзеровский—находились в храме. Служил протопресвитер Георгий Шавельский.

После обедни государь прошел на доклад в генерал-квартирмейстерскую часть, который продолжался недолго. Никаких важных событий за субботу не произошло, и вести от союзных армий были также спокойного характера.

На завтраке, по случаю воскресенья, много приглашенных: все наличные иностранцы, т.-е. не только военные агенты, но и их помощники. Государь обходил всех, здоровался и довольно долго беседовал с английским генералом Вильямс, которого ценил, как высокопорядочного человека, толкового и дельного военного агента.

Среди присутствовавших на завтраке шли разнообразные разговоры о печальных событиях в Петрограде, но, по внешности, это был обычный царский воскресный завтрак.

Около двух часов государь с Воейковым, графом Граббе, герцогом Лейхтенбергским и профессором Федоровым поехал по Бобруйскому шоссе на прогулку и вышел около часовни в память 1812-го года и гулял там не более часа. Мне передавали, что его величество не поднимал никаких вопросов о происходящих событиях и вообще почти не разговаривал ни с кем и задумчиво гулял по лесной дорожке.

Однако, уже с утра, государя глубоко заботили события в столице. Он не раз беседовал о них с графом Фредериксом, с Воейковым, Алексеевым, Ниловым и другими, более близкими ему людьми. Государь говорил, что его тревожат отрывочные известия, получаемые из Царского, что он волнуется за Петроград, за императрицу и всю семью, тем более, что наследник хворает корью.

Ближайшим попечителем и так сказать, охранителем государыни и детей в Царском в это время был обер-гофмаршал генерал-адъютант граф Павел Константинович Бенкендорф. Это разумный, спокойный, выдержанный и в высшей степени благородный человек, глубоко преданный их величествам и всей семье. На него и надеялся государь, ибо

никого других лиц опытных не находилось в Царском Селе в эти дни. Вновь назначенный помощником дворцового коменданта генерал Гротен мало знаком был еще с дворцовой службой.

В Царском, конечно, имелся огромный штат дворцовых служащих, конвой его величества, сводный его величества полк, но всеми этими людьми надо было руководить в наступившие критические часы.

В самом Петрограде, где уже шли беспорядки, не было заметной авторитетной власти, не было имени, которое знали бы народные массы. Командующий Петроградскими войсками, генерал Хабалов, ничем не заметный генерал, а имя министра внутренних дел Протопопова стало ненавистно Петрограду и всей России. Государь все это вероятно понимал, но сам никаких указаний не давал и словно мирился со всем тем, что происходило. Чувствовалось, что от него указаний и директив не будет, и в эти тяжелые минуты надо было помогать его величеству, а не ждать инициативы от измученного царя. Хотелось верить, что эту законную помощь, верное служение присяге своему императору, даст прежде всего его начальник штаба, его генерал-адъютант Алексеев, все знавший, со всеми сносившийся и пользовавшийся, как я уже говорил, полным доверием верховного главнокомандующего.

Но этого не случилось. Не попытался также притти на помощь государю и его дворцовый комендант, не проявив никакой деятельности в это тяжелое время. Воейков не сумел задержать измену государю и прекратить начавшуюся революцию в то время, когда можно было многое еще сделать.

После обеда его величество принял у себя в кабинете сенатора Трегубова, помощника генерал-адъютанта Алексеева по гражданской части, с докладом, касающимся событий данной минуты. Государь долго беседовал с этим неглупым пожилым судебным деятелем, не возражал Трегубову, но твердых личных указаний не дал.

Государь, окруженный своей свитой, своим штабом, находившимся здесь в царской Ставке, великими князьями: Борисом Владимировичем, Сергием и Александром Михайловичами, был страшно все-таки одинок. У него не было людей, которые понимали бы сложную чистую его душу. Не было людей, которые имели бы особый вес в глазах государя. Ко всем «своим» его величество относился ласково, внимательно, ценил их преданность, но при большом уме государя он ясно понимал окружавших его ближайших лиц и сознавал, что они не советчики ему, государь привязан к графу

Фредериксу за его благородный характер, честность, за долгую преданность своему дому, но он понимал, что министр двора, старец 78 лет, с которым трудно поделиться мыслью по государственным делам и задачам России. Государь хорошо относился к Нилову, верил ему, но его величество не мог устранить в себе некоторого шутливого отношения к характеру своего флаг-капитана за его горячность. Государь ценил Нилова просто, как прямого, честного служаку. К Воейкову государь относился доверчиво, как к распорядительному дворцовому коменданту, бодрому, веселому человеку, хорошему хозяину, но, конечно, его величество чувствовал, что Воейков не советчик в государственных делах и особого значения ему не придавал. Та ирония, с которой относились к Воейкову все окружающие, это прозвище «кувака», за его торговлю водой, понималась государем. Что касается всех остальных: князя Долгорукого, Нарышкина и других, то это были просто для царя хорошие, приличные люди и больше ничего.

Для государя было величайшее горе, что с ним в эти страшные дни не было его истинного и единственного друга — императрицы Александры Феодоровны. Продолжительная тяжелая политическая обстановка, волнение за семью, произвели в государе в эти дни положительный переворот в его душевных силах. Он стал как бы придавлен событиями и словно не отдавал себе отчета в обстановке и как-то безразлично стал относиться к происходившему.

«Неужели уже ничего нельзя сделать», говорил я С. П. Федорову, «неужели нельзя найти человека, которого мог бы послать государь в Петроград для водворения порядка и обеспечения от случайностей царской семьи. Мне кажется, такой человек есть в Ставке, это генерал-адъютант Иванов, герой настоящей войны. Его имя известно всей России, и если Николай Иудович немедля отправится в Петроград и Царское, то, может быть, еще спасет положение». С. П. согласился, и мы на завтра, 27-е февраля, решили отправиться к Иванову сообщить наши мысли, и, если он их одобрит, то просить его доложить государю о его желании отправиться в Петроград и принять командование над войсками столицы для водворения порядка.

Ни вчера, ни сегодня не было уже возможности переговорить с Петроградом, так как телефон все время был соединен с кабинетом его величества в Ставке для переговоров с Царскосельским дворцом.

Я ждал с нетерпением завтрашнего дня, дабы скорей переговорить с генерал-адъютантом Ивановым.

Могилев. Понедельник, 27-го февраля.

Ночью в Ставке были получены определенные известия, что в Петрограде начался солдатский бунт и правительство бессильно водворить порядок. Я видел М. В. Алексеева; он был очень встревожен и сказал: «новые явления — войска переходят на сторону восставшего народа».

Как на причину быстрого перехода войск на сторону бунтовавших рабочих и черни, указывали в Ставке на крайне неудачную мысль и распоряжение бывшего военного министра Поливанова держать запасные гвардейские батальоны в самом Петрограде в тысячных составах. Были такие батальоны, которые имели по 12—15 тысяч. Все это помещалось в скученном виде в казармах, где люди располагались для спанья в два-три и четыре яруса. Наблюдать за такими частями становилось трудно, не хватало офицеров, и возможность пропаганды существовала полная. В сущности эти запасные батальоны вовсе не были преображенцы, семеновцы, егеря и т. д. Никто из молодых солдат не был еще в полках, а только обучался, чтобы потом попасть в ряды того или другого гвардейского полка и получить дух, физиономию части и впитать ее традиции. Многие из солдат запасных батальонов не были даже приведены к присяге. Вот почему этот молодой контингент так называемых гвардейских солдат не мог быть стоек и, выйдя 24, 25 и 26 февраля на усмирение беспорядков, зашатался и затем начался бессмысленный и беспощадный солдатский бунт.

Вместе с тем, однако, получились известия, что некоторые роты, как например, Павловского, Волынского, Кексгольмского запасных батальонов, держались в первые два дня стойко.

Удивлялись, что генерал Хабалов не воспользовался такими твердыми частями, как Петроградские юнкерские училища, в которых в это время сосредоточивалось несколько тысяч юнкеров.

Мне передавал генерал Клембовский, что Родзянко прислал телеграмму государю, где он настойчиво просит образовать новое правительство из лиц, пользующихся доверием общества. Клембовский не знал, и потому не мог мне сообщить, какой ответ послан на эту телеграмму. Обо всем этом я узнал до завтрака, к которому государь прибыл после обычного, но на этот раз короткого, доклада генерал-адъютанта Алексеева в генерал-квартирмейстерской части.

Государь сегодня заметно более сумрачен и очень мало разговорчив. Граф Фредерикс, Нилов и другие не скрывают своих опасений и боятся революционных переворотов.

К. Д. Нилов все повторял свою обычную фразу: «Все будем висеть на фонарях, у нас будет такая революция, какой еще нигде не было».

Генерал Воейков держится бодро, но видимо все-таки волнуется, хотя все же очень занят устройством своей новой квартиры.

После двух часов государь с дворцовым комендантом и другими лицами свиты ездил на прогулку по Оршанскому шоссе.

К вечеру мы узнали, что получена еще вторая телеграмма от Родзянко, в которой он вновь настойчиво просит государя удовлетворить ходатайство об ответственном министерстве, при этом председатель Государственной Думы указывает, что ответственное министерство необходимо во имя спасения родины и династии.

Я лично этой телеграммы не видал, но слышал о ней от многих лиц. На эту телеграмму будто бы послан ответ через генерал-адъютанта Алексеева по прямому проводу в Петроград после совещания у государя, на котором присутствовали граф Фредерикс, генерал Алексеев и генерал Воейков. Ответ выражал согласие государя на образование ответственного министерства, при чем его величество, оставляя в своем непосредственном распоряжении министерства военное, морское, иностранных дел и императорского двора, поручал сформирование кабинета князю Львову.

Безусловно все, и свита и чины штаба, выражали радость по поводу ответа и надеялись, что это согласие царя на образование ответственного министерства внесет успокоение. Однако, все эти сведения появлялись отрывочно, и никто не знал, насколько были верны эти слухи [1]).

Около 6 часов вечера я вместе с проф. С. П. Федоровым отправился на станцию в вагон генерал-адъютанта Н. И. Иванова, который нас ожидал. В этом вагоне генерал Иванов жил все время войны, начиная с 1914 года, когда он из Киева выступил на войну главнокомандующим Южного фронта. Все победоносные операции в Галиции, блестящего периода начала великой войны, обсуждались в этом вагоне, небольшом, но уютном. В салоне стояло несколько столов, висели картины.

Я лично давно знал Н. И. Иванова, с тех еще пор, когда он был полковником и служил в главном артиллерийском управлении, затем встречал его на Японской войне, бывал

---

[1]) Дубенский впадает в этом случае в ошибку. В то время как порядком перетрухнувшие советчики царя склонялись к мысли об ответственном министерстве, Николай II с удивительным упрямством настаивал на политике репрессий и «подавления». *Ред.*

у него в Киеве, а с 1914 года постоянно видел его, сначала на Южном фронте, а со времени назначения генерал-адъютанта Иванова состоять при особе его величества, мы находились вместе в Ставке.

Николай Иудович был чисто русский человек незнатного происхождения, пробивший себе дорогу упорным трудом. Неглупый, осторожный, настойчивый, глубоко религиозный и честный генерал Иванов и по внешнему своему виду являлся типичным великороссом, с большой, теперь уже поседевшей, бородой и характерной русской речью.

Мы сели. Николай Иудович стал угощать нас чаем.

«Что-то будет от такой разрухи! Чем все это кончится?», сказал он.

«Вам необходимо придти на помощь государю. Он совершенно один и измучен. Вам надо отправиться в Петроград, принять командование всеми войсками и водворить порядок», ответили мы Иванову.

«Поздно теперь, части зашатались и верных мало осталось. Мне, конечно, самому ничего не надо. Жизнь к концу. Я рад и счастлив помочь его величеству, но как это сделать. Необходимо иметь хоть небольшую, но твердую часть, чтобы до Царского к императрице доехать и охранить семью, а там уже действовать как бог укажет», рассуждал Иванов.

«Вы сегодня за обедом переговорите с государем, скажите ему свои соображения и доложите, что готовы принять на себя поручение его величества проехать в Петроград для водворения порядка. Государь так волнуется событиями и за императрицу и детей. Он наверное будет благодарен, что вы возьмете на себя умиротворение столицы и станете во главе этого тяжелого и серьезного дела. Бог поможет вам. Вас знает вся Россия».

Мы оставались у Иванова больше часа, обсуждая то трудное и опасное дело, которое он соглашался взять на себя. Должен отметить, что старый генерал-адъютант не поколебался ни одной минуты пойти на помощь царю и России в эти роковые дни. Он обсуждал только вопрос, как лучше сделать это, и ни разу даже не намекнул, что он не может и не хочет этого делать. Больше всего смущало старика то, что «поздно хватились, надо бы раньше направиться туда в Питер», и часто повторял «боюсь, поздно».

«Мы вам устроим сегодня за обедом место рядом с государем», сказал С. П. Федоров, «я скажу гофмаршалу князю Долгорукову об этом».

Мы распрощались и поехали во дворец. По пути на Днепровском проспекте у ярко освещенного изнутри дома мы заметили автомобиль дворцового коменданта, и Сергей

Петрович сказал мне: «Смотрите, это Воейков все хлопочет и устраивает квартиру для своей жены. Он ждет ее надняхх».

Я крайне удивился, услышав эти слова, и не мог себе представить, что в такие минуты, когда все страшились за судьбу всего нашего строя и царской семьи, такой близкий ко двору человек мог быть так спокоен. Верно он не сомневался, что все обойдется благополучно, иначе не стал бы он заниматься такими пустяками. Ведь ему более чем комулибо известно положение дел.

Этот последний обед, 27 февраля, у его величества в Ставке до отречения государя я ясно помню. Он врезался в память. Приглашены были генерал Кондзеровский и какойто полковой командир, прибывший с фронта. Затем за столом находились только те, кто постоянно обедали с государем, т.-е. вся свита и иностранные военные представители.

Тяжелое настроение господствовало у всех. Молча ожидали мы выхода государя из кабинета. Его величество в защитной рубахе появился за несколько минут до 8 часов. Он был бледен. Государь обошел всех молча и только приглашенному командиру полка сказал несколько слов.

За столом рядом с государем сел генерал-адъютант Иванов, и они весь обед тихо разговаривали между собою.

Когда вышли из-за стола и направились в зал, государь подошел к дежурному генералу Кондзеровскому и сказал: «Я вас прошу сделать, непременно сделать распоряжение относительно того лица, о котором я говорил вам. Это поручение моей матушки, и я хочу непременно его срочно исполнить».

Генерал Кондзеровский сказал: «Слушаю, ваше величество, я немедленно отдам приказание».

Государь сделал общий поклон и ушел в кабинет.

Все стали расходиться. Ко мне подошел генерал-адъютант Иванов и сообщил, что наше общее желание удовлетворено: государь повелел ему отправиться с Георгиевским батальоном сегодня в ночь в Царское и затем в Петроград для водворения порядка. Николай Иудович добавил: «Его величество приказал побывать у него еще раз для дополнительных директив». «Ведь вы уезжаете сегодня ночью в Царское, где будете 1-го марта», говорил мне государь. Дается ответственное министерство, послана об этом телеграмма в Петроград. Государь надеется, что это внесет успокоение и восстание можно будет потушить. А я все таки опасаюсь — не поздно ли. Да и сам государь, как вы видели, сумрачен и очень тревожится. Я с Георгиевцами поеду прямо через Дно на Царское и Петроград, а императорские поезда пойдут через Смоленск — Лихославль — Тосно на Царское».

Мы простились с Николаем Иудовичем, я пожелал ему успехов и сказал: «Бог даст, скоро встретимся в Петрограде».

«Дай бог», — ответил генерал Иванов и, наклонив голову, торопливо пошел в кабинет государя.

Часов в 11 вечера, когда я сидел у себя в комнате, ко мне вошел барон Штакельберг и взволнованным голосом сказал:

«Скорей собирайтесь. Мы сейчас уезжаем. Государь едет в Царское. Происходят такие события, что нельзя сказать, чем все это кончится. Правда, ответственное министерство, на которое согласился его величество, может поправить дело. На него только надежда, но все-таки очень тяжело».

Через полчаса мы уже переезжали в автомобилях в свой свитский поезд.

Вместе со мною в этом поезде ехали: командир собственного его величества железнодорожного полка, генерал-майор Цабель, церемониймейстер барон Штакельберг, комендант поезда подполковник Таль, начальник дворцовой охраны полковник Невдахов, затем офицеры конвоя, сводного полка, собственного жел.-дорожн. полка, чины канцелярии министерства двора. Наш поезд должен был уйти раньше «собственного его величества» на час.

Весь этот вечер и почти всю ночь мы все не расходились и беседовали о нашем срочном отъезде и хотя выражали надежду, что предуказанный парламентский строй внесет успокоение в общество, но отошли мы из Могилева, после 2 часов ночи 28 февраля, с большой тревогой.

Вторник, 28-го февраля.

Переезд Могилев — Орша — Смоленск — Лихославль — Бологое — Малая Вишера.

Вчера 27 февраля, в понедельник, после обеда государь ушел к себе в кабинет и там беседовал сначала с генерал-адъютантом Ивановым и указал ему еще раз притти к нему в вагон по переезде его в поезд, затем с генерал-адъютантом Алексеевым, потом с графом Фредериксом и генералом Воейковым. С генералом Алексеевым его величество говорил о том, что теперь, когда будет создаваться ответственное министерство, ему придется задержаться в Царском, так как новые условия организации правительства потребуют его пребывания в столице. Государь расстался с своим начальником штаба в полной уверенности, что генерал-адъютант Алексеев поведет дело так, как оно определено его величеством.

«Теперь есть телефон между Ставкой и Царским и вы, Михаил Васильевич, будете меня держать в курсе всех дел, и событий», сказал государь, расставаясь с генералом Алексеевым. «Дай бог только наладить спокойствие в Петрограде Николаю Иудовичу», добавил его величество.

После 12 часов ночи с понедельника на вторник государь переехал в поезд и к его величеству тотчас прибыл генерал-адъютант Иванов и остался на аудиенции почти 2 часа. Государь, как мне передал потом Николай Иудович, по душе, сердечно и глубоко искренне говорил с ним. Измученный, боящийся за участь России и свою семью, взволнованный озлобленными требованиями бунтующей Государственной Думы, царь сказал генералу Иванову свои грустные и тяжелые соображения.

«Я берег не самодержавную власть, а Россию. Я не убежден, что перемена формы правления даст спокойствие и счастье народу». Так выразился государь о своей сокровенной мысли, почему он упорно отказывался дать парламентский строй. Затем государь указал, что теперь он считает необходимым согласиться на это требование Думы, так как волнения дошли до бунта и противодействовать он не в силах. Государь говорил о той упорной агитации, которая давно ведется против императрицы и его самого, и скорбел о том, что их лучшим стремлениям никогда не верили, и злобные слухи доходили до того, что высказывались подозрения о возможности сношений между ними и врагом России императором Вильгельмом.

Слова царя трогали генерала Иванова, по его рассказу, настолько, что ему трудно было иногда отвечать от спазм в горле. Государь, расставаясь с Николаем Иудовичем, поцеловался с ним, перекрестил его и в свою очередь Иванов перекрестил царя.

Его величество лег в эту ночь поздно, после трех часов, и встал на следующий день позже обычного времени, около 10 часов утра. Днем, во вторник, мы проехали Смоленск, Вязьму. Всюду было полное спокойствие. Стоял яркий солнечный, немного морозный день. Царские поезда шли обычным порядком. Нас сопровождали, каждый по своему участку, путевые инженеры. Вот от одного из таких инженеров в нашем свитском поезде, который шел, как я сказал, впереди императорского поезда, мы узнали, через нашего инженера Эртеля, после 4 часов дня, что образовано какое-то новое «временное правительство», а старая власть свергнута. Об этом оповещал телеграммой по железной дороге член Думы Бубликов, назначенный комиссаром путей сообщения. Он просил всех служащих на железной дороге «во имя добытой свободы» оставаться на своих местах и испол-

нять неуклонно свою работу. Кроме того получена на одной из станций телеграмма от какого-то коменданта ст. Петроград сотника Грекова о направлении литерных поездов А и Б (т.-е. свитского и царского) непосредственно в Петроград, а не в Царское Село через Тосно.

Эти неожиданные сведения нас всех крайне взволновали. Стало понятно, что в Петрограде уже совершился революционный переворот и образованное «временное правительство» свободно распоряжается императорскими поездами, решаясь направить их по своему усмотрению. После получения этого тревожного известия мы, следовавшие в свитском поезде: генерал Цабель, барон Штакельберг, полковник Невдахов, подполковник Таль, чиновник канцелярии министра двора А. В. Суслов и я стали обсуждать вопрос, как же реагировать на него. Постановили, чтобы я написал обо всем, что нами узнано, письмо профессору С. П. Федорову, едущему в поезде государя, с которым я был близок, с просьбой сообщить дворцовому коменданту для доклада его величеству. Письмо мною было сейчас же написано, помню карандашем, при чем помимо фактов, было высказано соображение, что в этих обстоятельствах ехать далее не следует и лучше через Бологое направиться в Псков, где находится штаб Северного фронта, там генерал-адъютант Рузский, есть близко войска и сам по себе Псков старый, тихий, небольшой губернский город, где его величество спокойно может пробыть и определить создавшиеся обстоятельства и выяснить обстановку. Письмо было передано одному из офицеров, который сошел с нашего поезда на ближайшей станции и дождался поезда собственного его величества и передал письмо лейб-хирургу С. П. Федорову. Часам к 12 ночи наш свитский поезд подошел к Бологому, где мы получили от генерала Воейкова ответную на мое письмо телеграмму такого примерно содержания: «Во что бы то ни стало пробраться в Царское Село». Всех удивил этот ответ, некоторые из нас даже настаивали, чтобы задержаться в Бологом до подхода собственного поезда, и еще раз переговорить с дворцовым комендантом, но, в конце концов, решили ехать дальше. Тронулись в путь и около часа ночи на 1-е марта прибыли на ст. Малая Вишера. Весь наш поезд не спал, мы все время обсуждали наше трудное положение и сознавали, что следовать далее не только крайне рисковано, но просто невозможно, не подвергая жизнь его величества опасности.

На самой станции Малая Вишера в наш поезд вошел офицер (не помню его фамилии) собственного его величества железнодорожного полка и доложил командиру генералу Цабель, что станция Любань, а равно и Тосно заняты

уже революционными войсками, там находятся, кажется, роты л.-гв. Литовского полка с пулеметами, что люди этой роты в Любани уже сняли с постов людей железнодорожного полка и что он едва мог уехать на дрезине сюда, чтобы доложить о том, что случилось.

Вслед за такими, уже определенно грозными, сообщениями было сделано немедленно распоряжение по ст. М. Вишера занять телефоны, телеграф и дежурную комнату; выставлены наши посты, указано железнодорожным жандармам охранять станцию от всяких случайностей, и она стала изолированной от сношений с кем бы то ни было без нашего ведома. Решено было даже не двигаться и ожидать здесь подхода «собственного» поезда для доклада полученных известий его величеству.

На станции почти нет народу. Она ярко освещена. Начальник станции, небольшой старичек, очень исполнительный и расположенный сделать все, что необходимо, перевел наш поезд на запасной путь и мы стали ждать подхода «собственного» поезда.

Ночь ясная, тихая, морозная. Всюду царствовала полная тишина. На платформе, на путях, виднелись наши посты солдат железнодорожного полка. Генерал Цабель, барон Штакельберг и я находились на платформе, поджидая прибытия царского поезда. Около 2 часов ночи он тихо подошел. Из вагонов вышел только один генерал Нарышкин. Мы спросили Кирилла Анатольевича, где же дворцовый комендант и остальная свита.

«Все спят в поезде», ответил он. Признаться, мы крайне поразились этому известию.

«Как спят? Вы знаете, что Любань и Тосно заняты революционными войсками. Ведь мы сообщили, что наши поезда приказано отправить не в Царское, а прямо в Петроград, где уже есть какое-то «временное правительство»...

К. А. Нарышкин, неразговорчивый всегда, и на этот раз молчал. Мы вошли в вагон, где было купэ дворцового коменданта, и постучались к нему. Владимир Николаевич крепко спал. Наконец, он пробудился, оделся, к нему вошел генерал Цабель и доложил, как непосредственно подчиненный, о всех событиях и занятии Любани и Тосно.

Через несколько минут генерал Воейков вышел в коридор с всклокоченными волосами и начал с нами обсуждать, что делать. Некоторые из нас советовали ехать назад в Ставку, другие указывали на путь на Псков, о чем уже я писал днем. Генерал Воейков, помнится, сам не высказывался определенно ни за то, ни за другое предложение. Затем он прошел в вагон его величества и доложил государю все, что ему донесли. Дворцовый комендант очень скоро

вернулся от государя, который недолго обсуждал создавшееся положение и повелел поездам следовать назад на Бологое, а оттуда на Псков, где находится генерал-адъютант Рузский.

Государь вообще отнесся к задержкам в пути и к этим грозным явлениям необычайно спокойно. Он, мне кажется, предполагал, что это случайный эпизод, который не будет иметь последствий и не помешает ему доехать, с некоторым только опозданием, до Царского Села.

Я прошел в купэ к С. П. Федорову, который не спал, да и все уже проснулись в царском поезде. Меня интересовало, почему такое спокойствие царило в их вагонах после того, как мы им передали безусловно тревожные сведения.

«Да, Владимир Николаевич не придал им особого значения и думал, что поезда все-таки могут дойти до Царского, несмотря на приказание направить их на Петроград. Письмо он ваше прочитал, но, вероятно, не доложил его государю», ответил мне Сергей Петрович.

«Так что вы думаете, что его величество не вполне знает, что случилось», спросил я.

«Да, я полагаю. Он не вполне в курсе событий. Государь сегодня был довольно спокоен и надеялся, что раз он дает ответственное министерство и послал генерала Иванова в Петроград, то опасность устраняется и можно ждать успокоения. Впрочем, он мало сегодня с нами говорил», сказал Сергей Петрович.

Пока переводили наши поезда на обратный путь, причем дабы охранить царский поезд от каких-либо, может быть, преследований, наш поезд поставили позади, — мы успели прочитать сообщения какого-то листка о намеченном составе «временного правительства».

Весь состав этого первого министерства «временного правительства» почти исключительно кадетский, только Керенский стоит левее остальных, принадлежа к партии, кажется, социал-демократов; министр военный и морской Гучков считался в октябристах, но по своей общественной деятельности и активной борьбе с правительством, и не только с ним, но даже с государем, он являлся самым ярым проводником новых начал и перемены власти. Назначенный в начале августа 1915 года председателем промышленного комитета, Гучков много вложил злой энергии в расшатывание основ власти и совместно с бывшим тогда военным министром генералом А. А. Поливановым, его другом, сеял недоверие к деятельности Ставки и опять-таки к самому государю. Наша пресса, настроенная уже давно враждебно к прежнему правительству, встретила состав «временного правительства», судя по первым попавшим газетам и листкам,

сочувственно и высказывала уверенность, что Россия приобретает огромные преимущества, заменив «негодную царскую самодержавную власть». Сулились победы, подъем деятельности в стране, после «перемены шоффера», как уже выражались тогда поклонники переворота, и устранения от власти «Николая». Так все это мы и прочитали уже 1-го марта в М. Вишере.

Помню, мы начали обсуждать состав министерства и некоторые из нас находили его соответствующим настоящему моменту. На мое замечание, что вряд ли социалист Керенский может быть полезен в составе министерства, мне ответили: «Кто знает, он может успокоить рабочих, левое крыло Думы и несколько утихомирить революционные проявления, если, конечно, пожелает начать работать, а не продолжать революцию»...

Уже поздно ночью, должно быть в четвертом часу, наш свитский поезд отошел вслед за «собственным».

Мы ехали в Псков к генерал-адъютанту Рузскому, надеясь, что главнокомандующий северным фронтом поможет царю в эти тревожные часы, когда зашаталась власть, устранить революционные крайности и даст возможность его величеству провести в жизнь народа спешные преобразования правления России, по возможности, более тихо, по намеченной уже программе, о чем сообщено было днем 27 февраля из Ставки в Петроград. В пути на Псков мы готовили манифест, в котором государь призывал народ к спокойствию, указывая на необходимость единодушно с ним — царем — продолжать войну с немцами. Казалось, старый, считавшийся умным, спокойным Рузский сумеет поддержать государя в это страшное время. Верил в это и сам государь, почему и выбрал путь на Псков, а не в другое место.

Среда, 1-го марта.

Переезд Малая-Вишера — Бологое — Валдай — Старая Русса — Дно — Порхов — Псков.

Днем мы подходили к Старой Руссе. Огромная толпа заполняла всю станцию. Около часовни, которая имеется на платформе, сгруппировались монахини местного монастыря. Все смотрели с большим вниманием на наш поезд, снимали шапки, кланялись. Настроение глубоко сочувственное к царю, поезд которого только что прошел Руссу, и я сам слышал, как монахини говорили: «Слава богу, удалось хотя в окошко увидать батюшку-царя, а то ведь некоторые никогда не видали его».

Всюду господствовал полный порядок и оживление. Местной полиции, кроме двух-трех урядников, станционных жандармов, исправника, никого и не было на станции. Я не знаю, было ли уже известно всему народу о создании «временного правительства», но железнодорожная администрация из телеграммы Бубликова должна была знать о переменах и распоряжениях Государственной Думы, тем не менее все было по прежнему, и внимание к поезду особого назначения полное.

Невольно думалось об этой разнице в отношении к царю среди простого народа в глубине провинции, здесь в Ст. Руссе, и теми революционными массами Петрограда с солдатскими бунтами, благодаря которым государь принужден вернуться с своего пути на Царское Село.

День стоял ясный, уже чуть-чуть чувствовалась весна. Наши поезда шли спокойно, без малейших затруднений. Единственное изменение в нашем движении было то, что мы шли тише, так как не был известен путь и надо было уменьшить скорость. Кроме того на паровозе находились офицер железнодорожного полка с двумя солдатами.

Как я сказал выше, свитский поезд шел сзади «собственного», но на ст. Дно, которую прошли совершенно спокойно, мы обогнали царский поезд, дабы к Пскову подойти раньше.

Когда мы проходили на ст. Дно мимо «собственного» поезда и некоторые из нас стояли на площадке вагона, то дворцовый комендант вышел из своего вагона, стал на подножку, приветливо помахал нам рукой и улыбаясь громко крикнул в мою сторону: «Надеясь, вы довольны, мы едем в Псков». Вид у Владимира Николаевича был очень бодрый, веселый.

«Мне кажется, что «Дворком» уверен в благополучном исходе всех наших приключений и событий, иначе у него не было бы такого довольного вида», сказал кто-то из нас, когда мы миновали царские вагоны.

Первое марта, проклятый и позорный день для России, уже кончался, когда мы после 7 часов вечера стали подходить к древнему Пскову. Станция темноватая, народу немного, на платформе находился псковский губернатор, несколько чинов местной администрации, пограничной стражи генерал-лейтенант Ушаков и еще небольшая группа лиц служебного персонала. Никаких официальных встреч, вероятно, не будет и почетного караула не видно. Поджидая подход императорского поезда, многие из нас говорили с теми людьми, которые прибыли на вокзал для встречи государя, но ничего нового мы не узнали здесь о событиях в Петрограде, да и все были очень сдержанны в своих ре-

чах. Губернатор сообщил только, что Псков пока равнодушно отнесся к событиям и в городе тихо. «Впрочем, мы на театре военных действий и у нас трудно было ожидать волнений», добавил начальник губернии.

На вокзале народа мало, так как из Петрограда после революционных дней конца февраля поезда не приходили и пассажирское движение еще не установилось.

Около 8 часов вечера прибыл «собственный» поезд. Я и барон Штакельберг прошли в вагон лиц свиты. Мы застали всех в коридоре: тут был граф Фредерикс, К. Д. Нилов, князь Долгорукий, граф Граббе, С. П. Федоров, герцог Лейхтенбергский. Уже знали, что почетного караула не будет и его величество на платформу не выйдет. Спросили нас, что слышно о городе, спокойно ли там.

Государь на очень короткое время принял губернатора. Все ждали прибытия главнокомандующего северным фронтом генерала-адъютанта Николая Владимировича Рузского. Через несколько минут он показался на платформе в сопровождении начальника штаба фронта генерала Юрия Никифоровича Данилова (бывший генерал-квартирмейстер при великом князе Николае Николаевиче) и своего адъютанта графа Шереметьева. Рузский шел согбенный, седой, старый, в резиновых галошах; он был в форме генерального штаба. Лицо у него бледное, болезненное и глаза из-под очков смотрели неприветливо. Небольшой с сильной проседью брюнет генерал Данилов, известный в армии и штабах под именем «черный», следовал за главнокомандующим. Они вошли в вагон свиты, где все собрались, и Рузский прошел в одно из отделений, кажется, князя Долгорукого, поздоровался со всеми нами и сел в угол дивана около двери. Мы все обступили его. Волнение среди нас царило большое. Все хотели говорить. Рузский, отвалившись в угол дивана, смотрел как-то саркастически на всех. Граф Фредерикс, когда немного успокоились и восклицания в роде того, что «ваше высокопревосходительство должны помочь, к вам направился его величество, когда узнал о событиях в Петрограде», прекратились, обратился к Рузскому, примерно, со следующими словами: «Николай Владимирович, вы знаете, что его величество дает ответственное министерство. Государь едет в Царское. Там находится императрица и вся семья, наследник болен корью, а в столице восстание. Когда стало известно, что уже проехать прямо в Царское нельзя, его величество в М. Вишере приказал следовать в Псков к вам и вы должны помочь государю наладить дела».

«Теперь уже поздно», сказал Рузский. «Я много раз говорил, что необходимо итти в согласии с Государственной

Думой и давать те реформы, которые требует страна. Меня не слушали. Голос хлыста Распутина имел большее значение. Им управлялась Россия. Потом появился Протопопов и сфомировано ничтожное министерство князя Голицына. Все говорят о сепаратном мире»... и т. д. и т. д. с яростью и злобой говорил генерал-адъютант Рузский.

Ему начали возражать, указывали, что он сгущает краски и многое в его словах неверно. Граф Фредерикс вновь заговорил:

«Я никогда не был сторонником Распутина, я его не знал и кроме того вы ошибаетесь, он вовсе не имел такого влияния на все дела»...

«О вас, граф, никто не говорит. Вы в стороне стоите», ответил Рузский и в этих словах чувствовалось указание, что ты, дескать, стар и не в счет.

«Но, однако, что же делать. Вы видите, что мы стоим над пропастью. На вас только и надежда», спросили разом несколько человек Рузского.

В век не забуду ответа генерал-адъютанта Рузского на этот крик души всех нас, не меньше его любивших Россию и беззаветно преданных государю императору.

«Теперь надо сдаться на милость победителя», сказал он.

Опять начались возражения, негодования, споры, требования, наконец, просто просьбы помочь царю в эти минуты и не губить отечества. Говорили все. Генерал Воейков предложил переговорить лично по прямому проводу с Родзянко, на что Рузский ответил:

«Он не подойдет к аппарату, когда узнает, что вы хотите с ним беседовать». Дворцовый комендант сконфузился, замолчал и отошел в сторону.

«Я сам буду говорить с Михаилом Владимировичем (Родзянко)», сказал Рузский.

Я стал убеждать своего бывшего сослуживца по мобилизационному отделу генерального штаба генерала Данилова повлиять на Рузского.

«Я ничего не могу сделать, меня не послушают. Дело зашло слишком далеко», ответил Юрий Никифорович.

В это время флигель-адъютант полковник Мордвинов пришел и доложил генерал-адъютанту Рузскому, что его величество его может принять. Главнокомандующий и его начальник штаба поднялись и направились к выходу.

«Вы после аудиенции у его величества вернитесь к нам сюда и сообщите о своей беседе с государем», говорили ему все.

«Хорошо, я зайду», нехотя ответил Рузский.

После разговора с Рузским мы стояли потрясенные и как в воду опущенные. Последняя наша надежда, что ближайший главнокомандующий Северным фронтом поддержит своего императора, повидимому, не осуществится. С цинизмом и грубою определенностью сказанная Рузским фраза: «надо сдаваться на милость победителя», все уясняла и с несомненностью указывала, что не только Дума, Петроград, но и лица высшего командования на фронте действуют в полном согласии и решили произвести переворот. Мы только недоумевали, когда же это произошло. Прошло менее двух суток, т.-е. 28 февраля и день 1 марта, как государь выехал из Ставки и там остался его генерал-адъютант начальник штаба Алексеев и он знал, зачем едет царь в столицу, и оказывается, что все уже сейчас предрешено и другой генерал-адъютант Рузский признает «победителей» и советует сдаваться на их милость.

Чувство глубочайшего негодования, оскорбления испытывали все. Более быстрой, более сознательной предательской измены своему государю представить себе трудно. Думать, что его величество сможет поколебать убеждение Рузского и найти в нем опору для своего противодействия начавшемуся уже перевороту — едва ли можно было. Ведь государь очутился отрезанным от всех. Вблизи находились только войска Северного фронта, под командой того же генерала Рузского, признающего «победителей».

Генерал-адъютант К. Д. Нилов был особенно возбужден и когда я вошел к нему в купэ, он задыхаясь говорил, что этого предателя Рузского надо арестовать и убить, что погибнет государь и вся Россия. К. Д. Нилов не надеялся на какой-либо благоприятный переворот в начавшемся ходе событий.

«Только самые решительные меры по отношению к Рузскому, может быть, улучшили бы нашу участь, но на решительные действия государь не пойдет», сказал Нилов. К. Д. весь вечер не выходил из купэ и сидел мрачный, не желая никого видеть.

Я пошел к нему. Нилов прерывающимся голосом стал говорить мне:

«Царь не может согласиться на оставление трона. Это погубит всю Россию, всех нас, весь народ. Государь обязан противодействовать этой подлой измене Ставки и всех предателей генерал-адъютантов. Кучка людей не может этого делать. Есть верные люди, войска и не все предатели в России».

К. Д. стал убеждать меня пойти к государю и еще раз доложить, что оставление трона невозможно.

Мы долго ждали возвращения главнокомандующего Северным фронтом от государя, желая узнать, чем кончилась беседа их между собою. Однако, свита не дождалась Рузского. Он в 12-м часу прямо прошел от его величества к себе для переговоров по прямому проводу с Петроградом и Ставкой.

При этом первом продолжительном свидании Рузского с государем сразу же определилось создавшееся положение. Рузский в настойчивой, даже резкой форме доказывал, что для спокойствия России, для удачного продолжения войны, государь должен передать престол наследнику при регентстве брата своего великого князя Михаила Александровича. Ответственное министерство, которое обещал царь, теперь уже не удовлетворяет Государственную Думу и образовавшееся «временное правительство», и уже требуют оставления трона его величеством. Главнокомандующий Северного фронта сообщил о согласии всех остальных главнокомандующих с этим мнением Думы и «временного правительства». По этому вопросу через генерала Алексеева достигнуто уже соглашение по прямому проводу между Ставкой Верховного и ставками главнокомандующих [1]). Верховное командование всеми российскими силами необходимо передать прежнему верховному, великому князю Николаю Николаевичу. Рузский опять повторил то, что сказал ранее всем нам — «о сдаче на милость победителя» и недопустимости борьбы, которая, по его словам, была бесполезна, так как и высшее командование, стоящее во главе всех войск, против императора. Государь редко перебивал Рузского. Он слушал внимательно, видимо сдерживая себя. Его величество указал, между прочим, что он обо всем переговорил перед своим отъездом из Ставки с генералом Алексеевым, послал Иванова в Петроград. «Когда же мог произойти весь этот переворот», сказал государь. Рузский ответил, что это готовилось давно, но осуществилось после 27 февраля т.-е. после отъезда государя из Ставки.

Перед царем встала картина полного разрушения его власти и престижа, полная его обособленность, и у него пропала всякая уверенность, в поддержке со стороны армии, если главы ее в несколько дней перешли на сторону врагов императора.

Зная государя и все особенности его сложного характера, его искреннюю непритворную любовь к родине,

---

[1]) Телеграмма генерала Алексеева главнокомандующим по вопросу об отречении послана была 2 Марта в 10 час. 15 м. утра, а ответы главнокомандующих сообщены царю генералом Алексеевым того же числа в 14 час 30 мин. В ночь на 2 марта Рузский вел беседу с царем, добиваясь исключительно ответственного министерства. Ред.

к семье своей, его полное понимание этого неблагоприятного к нему отношения, которое в данный момент охватило «прогрессивную» Россию, а главное боясь, что все это бедственно отразится на продолжении войны, многие из нас предполагали, что его величество может согласиться на требование отречения от престола, о котором говорил Рузский. Государь не начнет борьбу, думали мы, боясь не за себя, а за судьбу своего отечества.

«Если я помеха счастью России и меня все стоящие ныне во главе ее общественных сил просят оставить трон и передать его сыну и брату своему, то я готов это сделать, готов даже не только царство, но и жизнь отдать за родину. Я думаю, в этом никто не сомневается из тех, кто меня знает», говорил государь.

Государь в эту ночь, с 1 на 2 марта, долго не спал. Он ждал опять прихода генерала Рузского к себе, после его разговоров с Петроградом и Ставкой, но Рузский не пришел. Его величество говорил с графом Фредериксом, Воейковым и Федоровым о Царском и его очень заботила мысль о Петрограде, семье, так как уже с 27 февраля, т.-е. два дня его величество ничего не знал и никаких сношений с Царским Селом не было.

Поздно ночью я вышел из вагона и прошел на вокзал. Там было пустынно, дежурили только железнодорожные служащие. Около царских поездов стояла наша охрана, солдаты железнодорожного полка спокойно и чинно отдавали честь. Полная тишина всюду и окончательное безлюдье.

Я взял извозчика и проехал в город. Ночь была звездная, морозная и безветренная. Улицы старого города безлюдны, дома мало освещены, только около штабов было несколько люднее и ярко светились окна и фонари. На какой-то колокольне пробило 2 часа, и я вернулся в поезд.

Неужели же я нахожусь в древнем Пскове вместе с государем императором и присутствую при обсуждении вопроса об оставлении царем российского престола в дни величайшей войны с немцами после того, как этот царь, ставший предводителем русской армии, накануне перехода в наступление и вся страна и весь народ уверены, что мы разобьем врага.

И все это оказалось ни к чему. Его заставляют передать престол отроку сыну и слабому маловольному регенту — брату Михаилу. А у власти, явной власти, становятся случайные люди и среди них личный враг царя Гучков, Родзянко и все эти лидеры «прогрессивного блока», мечтающие о министерских портфелях.

У нас в вагоне еще не спали и вели беседы о тех горьких минутах наших дней.

Псков. Четверг, 2-го марта.

В этот день государь встал ранее обычного и уже в 8 часов утра его величество сидел за письменным столом у себя в отделении. «С 6 часов слышно было, как их величество поднялись и все перебирали записки и бумаги», говорил мне камердинер государя.

Уже несколько дней все мы, и даже его величество, не знали, что собственно происходит в Царском Селе и самом Петрограде, и насколько безопасна там жизнь наших семей и близких людей. Из слов Рузского о разгроме дома графа Фредерикса на Почтамтской улице видно было, что революционная толпа неистовствует в городе. С целью узнать что-либо о происходящем, я послал моего деньщика в Петроград, переодев его в форму хлебопеков псковской команды. С ближайшим поездом он отправился в Царское Село и Петроград. Ему удалось доехать быстро по назначению и даже привезти нам всем ответы, но уже в Могилев, что значительно успокоило всех нас.

Привожу этот случай для показания, в какой обособленности были царские поезда в эти дни, и даже государь не мог пользоваться телеграфом и телефоном.

В 9 часов должен был прибыть генерал Рузский и доложить его величеству о своих переговорах за ночь с Родзянкой и Алексеевым. Всю ночь прямой провод переносил известия из Пскова в столицу и Ставку и обратно.

В начале десятого часа утра генерал Рузский с адъютантом графом Шереметьевым прибыл на станцию и тихо прошел платформу, направляясь в вагон его величества.

На вокзале начал собираться народ, но особенного скопления публики не было. Мы встретили нескольких гвардейских офицеров-егерей, измайловцев, которые нам передавали о столкновениях в дни революции у гостиницы Астория, а главное о том, что если бы было больше руководства войсками, то был бы другой исход событий, так как солдаты в первые дни настроены были против бунта. Говорили, что никаких пулеметов на крышах не было. Все эти офицеры выбрались из Петрограда и направлялись в свои части на фронт. Они спрашивали о государе, о его намерениях, о здоровье, и искренно желали, чтобы его величество проехал к войскам гвардии. «Там совсем другое», поясняли они. Чувство глубочайшей преданности к императору сквозило в каждом их слове.

Рузский пробыл у его величества около часа. Мы узнали, что в Псков должен приехать председатель Государственной Думы М. В. Родзянко для свидания с государем.

Все с нетерпением стали ожидать этой встречи. Хотелось верить, что «авось» при личном свидании устранится вопрос об оставлении трона государем императором, хотя мало верилось этой чуточной мечте. Дело в том, что за ночь Рузский, Родзянко, Алексеев сговорились и теперь решался не основной вопрос оставления трона, но детали этого предательского решения. Составлялся в Ставке манифест, который должен был быть опубликован.

Манифест этот вырабатывался в Ставке и автором его являлся церемониймейстер высочайшего двора директор политической канцелярии при верховном главнокомандующем Базили, а редактировал этот акт генерал-адъютант Алексеев. Когда мы вернулись через день в Могилев, то мне передавали, что Базили, придя в штабную столовую утром 2-го марта, рассказывал, что он всю ночь не спал и работал, составляя по поручению генерала Алексеева манифест об отречении от престола императора Николая II. А когда ему заметили [1]), что это слишком серьезный исторический акт, чтобы его можно было составлять так наспех, то Базили ответил, что медлить было нельзя и советоваться было не с кем и что ему ночью приходилось несколько раз ходить из своей канцелярии к генералу Алексееву, который и установил окончательно текст манифеста и передал его в Псков генерал-адъютанту Рузскому для представления государю императору.

Весь день 2-го марта прошел в тяжелых ожиданиях окончательного решения величайших событий.

Вся свита государя и все сопровождающие его величество переживали эти часы напряженно и в глубокой грусти и волнении. Мы обсуждали вопрос, как предотвратить назревающее событие.

Прежде всего мы мало верили, что великий князь Михаил Александрович примет престол. Некоторые говорили об этом сдержанно, только намеками, но генерал-адъютант Нилов определенно высказал: «Как можно этому верить. Ведь знал же этот предатель Алексеев, зачем едет государь в Царское Село. Знали же все деятели и пособники происходящего переворота, что это будет 1 марта, и все-таки, спустя только одни сутки, т. е. за одно 28 февраля, уже спелись и сделали так, что его величеству приходится отрекаться от престола. Михаил Александрович — человек слабый и безвольный и вряд ли он останется на престоле. Эта измена давно подготовлялась и в Ставке и в Петрограде. Думать теперь, что разными уступками можно помочь делу и спасти родину, по моему, безумие. Давно идет ясная

[1]) Полковник Немченко передал мне это в Риме 7 мая (н. ст.) 1920 года.

борьба за свержение государя, огромная масонская партия захватила власть и с ней можно только открыто бороться, а не входить в компромиссы».

Нилов говорил все это с убеждением, и я совершенно уверен, что К. Д. смело пошел бы лично на все решительные меры и конечно не постеснялся арестовать Рузского, если бы получил приказание его величества.

Кое-кто возражал Константину Дмитриевичу и выражал надежду, что Михаил Александрович останется, что, может быть, уладится дело. Но никто не выражал сомнения в необходимости конституционного строя, на который согласился ныне государь.

Князь В. А. Долгорукий, как всегда, понуро ходил по вагону, наклонив голову, и постоянно повторял, слегка грасируя, «главное, всякий из нас должен исполнить свой долг перед государем. Не нужно преследовать своих личных интересов, а беречь его интересы».

Граф Фредерикс узнал от генерала Рузского, что его дом сожгли, его жену, старую больную графиню, еле оттуда вытащили. Бедный старик был потрясен, но должен сказать, что свое глубокое горе он отодвинул на второй план. Все его мысли, все его чувства были около царя и тех событий, которые происходили теперь. Долгие часы граф ходил по коридору вагона, не имея сил от волнения сидеть. Он был тщательно одет, в старших орденах, с жалованными портретами трех императоров: Александра II, Александра III и Николая II. Он несколько раз говорил со мною.

«Государь страшно страдает, но ведь это такой человек, который никогда не покажет на людях свое горе. Государю глубоко грустно, что его считают помехой счастья России, что его нашли нужным просить оставить трон. Ведь вы знаете, как он трудился за это время войны. Вы знаете, так как по службе обязаны были ежедневно записывать труды его величества, как плохо было на фронте осенью 1915 года и как твердо стоит наша армия сейчас накануне весеннего наступления. Вы знаете, что государь сказал, что «для России я не только трон, но жизнь, все готов отдать». И это он делает теперь. А его волнует мысль о семье, которая осталась в Царском одна, дети больны. Мне несколько раз говорил государь: «я так боюсь за семью и императрицу. У меня надежда только на графа Бенкендорфа». Вы, ведь, знаете, как дружно живет наша царская семья. Государь беспокоится и о матери императрице Марии Федоровне, которая в Киеве».

Граф был весь поглощен событиями. Часто бывал у государя и принимал самое близкое участие во всех проявлениях этих страшных дней.

Надо сказать, что несмотря на очень преклонный возраст графа Фредерикса, ему было 78 лет, он в дни серьезных событий вполне владел собой, и я искренне удивлялся его здравому суждению и особенно его всегда удивительному такту.

В. Н. Воейков в эти дни стремился быть бодрым, но видимо и его, как и других, волновали события. Никакой особой деятельности в пути Могилев — Вишера — Псков дворцовый комендант проявить не мог. В самом Пскове В. Н. Воейков тоже должен был остаться в стороне, так как его мало слушали, а Рузский относился к нему явно враждебно. У государя он едва ли имел в эти тревожные часы значение, прежде всего потому, что его величество, по моему личному мнению, никогда не считал Воейкова за человека широкого государственного ума и не интересовался его указаниями и советами.

К. А. Нарышкин был задумчив, обычно молчал и как-то стоял в стороне, мало участвуя в наших переговорах.

Очень волновались и тревожились предстоящим будущим для себя граф Граббе и герцог Лейхтенбергский, особенно первый.

Флигель-адъютант полковник Мордвинов, этот искренно-религиозный человек, бывший адъютант великого князя Михаила Александровича, от которого он ушел и сделан был флигель-адъютантом после брака великого князя с Брасовой, очень серьезно и вдумчиво относился к переживаемым явлениям. О Михаиле Александровиче, которому он был предан и любил его, он старался не говорить и не высказывал никаких предположений о готовящейся для него роли регента наследника цесаревича.

В эти исторические дни много души и сердца проявил лейб-хирург профессор Сергей Петрович Федоров. Этот умный, талантливый и живой человек, он близок царскому дому, так как много лет лечит наследника, спас его от смерти, и государь и императрица ценили Сергея Петровича и как превосходного врача и отличного человека. В эти дни переворота Сергей Петрович принимал близко к сердцу события.

2-го марта Сергей Петрович днем пошел к государю в вагон и говорил с ним, указывая на опасность оставления трона для России, говорил о наследнике и сказал, что Алексей Николаевич, хотя и может прожить долго, но все же по науке он неизлечим. Разговор этот очень знаменателен, так как после того, как государь узнал, что наследник не излечим, его величество решил отказаться от престола не только за себя, но и за сына.

По этому вопросу государь сказал следующее:

«Мне и императрица тоже говорила, что у них в семье та болезнь, которою страдает Алексей, считается неизлечимой. В Гессенском доме болезнь эта идет по мужской линии. Я не могу при таких обстоятельствах оставить одного больного сына и расстаться с ним».

«Да, ваше величество, Алексей Николаевич может прожить долго, но его болезнь неизлечима», ответил Сергей Петрович.

Затем разговор перешел на вопросы общего положения России после того, как государь оставит царство.

«Я буду благодарить бога, если Россия без меня будет счастлива», сказал государь. «Я останусь около своего сына и вместе с императрицей займусь его воспитанием, устраняясь от всякой политической жизни, но мне очень тяжело оставлять родину, Россию», продолжал его величество.

«Да», ответил Федоров, «но вашему величеству никогда не разрешат жить в России, как бывшему императору».

«Я это сознаю, но неужели могут думать, что я буду принимать когда-либо участие в какой-либо политической деятельности после того, как оставлю трон. Надеюсь, вы, Сергей Петрович, этому верите».

После этого разговора Сергей Петрович вышел от государя.

Вот в таких беседах, разговорах, проходил у нас день 2-го марта в Пскове.

Утром после одиннадцати часов, чтобы немного рассеяться, мы с С. П. Федоровым поехали в город и осмотрели древний собор. В Пскове по внешности шла обычная провинциальная жизнь. Лавки открыты, на базаре идет торговля, движение по улицам самое обычное. Солдат и офицеров встречается немного. Собор был заперт и мы просили его открыть. Громадный, высокий, недавно реставрированный храм, освещенный яркими лучами солнца, величественнен, красив и оставляет большое впечатление. Только холодно внутри, так как собор не отапливается, и зимой там служба не происходила. Потом проехали к белым Поганкиным палатам, типичным своей стариной. Чудные древние церкви попадались нам на пути.

К 12 часам мы вернулись в поезд и узнали, что Родзянко не может приехать на свидание к государю императору, а к вечеру в Псков прибудут член исполнительного комитета Думы В. В. Шульгин и военный и морской министр временного правительства А. И. Гучков.

Государь все время оставался у себя в вагоне после продолжительного разговора с Рузским. Чувствовалось, что решение оставить престол назревало. Граф Фредерикс бывал часто у его величества и после завтрака, т.-е. часов около

3-х, вошел в вагон, где мы все находились, и упавшим голосом сказал по-французски: «Все кончено, государь отказался от престола и за себя и за наследника Алексея Николаевича в пользу брата своего Михаила Александровича и послал через Рузского об этом телеграмму». Когда мы услышали все это, то невольный ужас охватил нас и мы громко в один голос воскликнули, обращаясь к Воейкову: «Владимир Николаевич, ступайте сейчас, сию минуту к его величеству и просите его остановить, вернуть эту телеграмму».

Дворцовый комендант побежал в вагон государя. Через очень короткое время генерал Воейков вернулся и сказал генералу Нарышкину, чтобы он немедленно шел к генерал-адъютанту Рузскому и по повелению его величества потребовал телеграмму назад для возвращения государю.

Нарышкин тотчас же вышел из вагона и направился к генералу Рузскому (его вагон стоял на соседнем пути) исполнять возложенное на него высочайшее повеление. Прошло около ½ часа и К. Д. Нарышкин вернулся от Рузского, сказав, что Рузский телеграмму не возвратил и сообщил, что лично даст по этому поводу объяснение государю.

Это был новый удар, новый решительный шаг со стороны Рузского для приведения в исполнение намеченных деяний по свержению императора Николая II с трона.

Мы все печально разошлись по своим купэ около 5 часов дня. Я стоял у окна в совершенно подавленном настроении. Трудно было поймать даже мысль в голове, так тяжело было на душе. Было то же самое, когда на ваших глазах скончается близкий, дорогой вам человек, на которого были все упования и надежды. Вдруг мимо нашего вагона по узкой деревянной платформе между путей я заметил идущего государя с дежурным флигель-адъютантом герцогом Лейхтенбергским. Его величество в форме кубанских пластунов в одной черкесске и башлыке не спеша шел, разговаривая с герцогом. Проходя мимо моего вагона, государь взглянул на меня и приветливо кивнул головою. Лицо у его величества было бледное, но спокойное. Я подумал, сколько надо силы воли, чтобы показываться на народе после величайшего события акта отречения от престола...

Уже в 1918 году в июне я был в Петрограде у графа Бенкендорфа и вспоминал о тех часах, которые пришлось пережить с государем в Пскове, и передал Павлу Константиновичу свое впечатление о редкой сдержанности государя после отречения. Граф задумался, потом сказал: «Весною в начале апреля 1917 года я как-то гулял с его величеством

по Царскосельскому парку и государь мне сказал, что только теперь, спустя 2—3 недели, он начинает приходить немного в себя, во время же событий в Могилеве, в пути, а главное в Пскове он находился как бы в забытии, тумане... Да, его величество очень страдал, но ведь он никогда не показывает своих волнений», добавил граф.

Около 8 часов вечера прибыл первый поезд из Петрограда после революционных дней. Он был переполнен. Толпа из вагонов бросилась в вокзал к буфету. Впереди всех бежал какой-то полковник. Я обратился к нему, спросил его о Петрограде, волнениях, настроении города. Он ответил мне, что там теперь все хорошо, город успокаивается и народ доволен, так как фунт хлеба стоит 5 коп., масло 50 коп. Меня удивил этот ответ, определяющий суть революции, народных бунтов, только такой материальной стороной и чисто будничным интересом.

«Что же говорят о государе, о всей перемене», спросил я опять полковника.

«Да о государе ничего не говорят, надеются, вероятно, что «временное правительство» с новым царем Михаилом (ведь его хотят на царство) лучше справится».

Мы разошлись и невольно приходится задумываться, — неужели общество так уже подготовлено к перевороту, к замене государя, что это уясняется всеми так просто и без сомнений. Поезд ушел, на станции стало тихо и мы продолжали ожидать экстренного прибытия из столицы депутатов Гучкова и Шульгина.

Часов около 10 вечера флигель-адъютант полковник Мордвинов, полковник герцог Лейхтенбергский и я вышли на платформу, к которой должен был прибыть депутатский поезд. Через несколько минут он подошел. Из ярко освещенного вагона салона выскочили два солдата с красными бантами и винтовками и стали по бокам входной лестницы вагона. Повидимому, это были не солдаты, а вероятно рабочие в солдатской форме, так неумело они держали ружья, отдавая честь «депутатам», так не похожи были также на молодых солдат. Затем из вагона стали спускаться сначала Гучков, за ним Шульгин, оба в зимних пальто. Гучков обратился к нам с вопросом, как пройти к генералу Рузскому, но ему, кажется, полковник Мордвинов сказал, что им надлежит следовать прямо в вагон его величества.

Мы все двинулись к царскому поезду, который находился тут же, шагах в 15 — 20. Впереди шел, наклонив голову и косолапо ступая, Гучков, за ним, подняв голову вверх, в котиковой шапочке Шульгин. Они поднялись в вагон государя, разделись и прошли в салон. При этом свидании его величества с депутатами присутствовали министр

императорского двора генерал-адъютант граф Фредерикс, генерал-адъютант Рузский, его начальник штаба генерал Данилов, кажется начальник снабжения северного фронта генерал Саввич, дворцовый комендант генерал Воейков и начальник военно-походной канцелярии генерал Нарышкин.

Приезд депутатом А. И. Гучкова никого не удивил. Деятельность его давно была направлена против государя и он определенно являлся всегда упорным и злобным врагом императора. Будучи еще председателем Думы, затем с 1915 года председателем военно-промышленного комитета и находясь в постоянной связи со своим другом генералом Алексей Андреевичем Поливановым, бывшим военным министром, Гучков много лет всюду, где мог, интриговал и сеял недоверие к царю.

Другое дело В. В. Шульгин, много лет крайний правый член Государственной Думы, друг В. М. Пуришкевича, издатель «Киевлянина», наследник Пихно. Как он мог решиться вместе с Гучковым приехать просить царя оставить престол? Шульгин бойкий, неглупый человек. Вероятно, честолюбивые мечты заставили его сделаться националистом, затем войти в прогрессивный блок, играя всюду видную роль. Он постепенно забывал свои «правые» убеждения, исповедывавшие, что православный царь на Руси от бога. Государю очень тяжело было узнать, что Шульгин едет депутатом сюда в Псков. Лично я знал Шульгина по его деятельности среди правых партий, мне нравились его речи в Думе и потому трудно было мне поверить в приезд сюда Шульгина и в его деятельное участие в перевороте.

По виду Шульгин, да и Гучков казались смущенными и конфузливо держались в ожидании выхода государя.

Через несколько минут появился его величество, поздоровался со всеми, пригласил сесть всех за стол у углового дивана. Государь спросил депутатов, как они доехали. Гучков ответил, что отбытие их из Петрограда, ввиду волнений среди рабочих, было затруднительно. Затем само заседание продолжалось недолго.

Его величество, как было упомянуто, еще днем решил оставить престол, и теперь государь желал лично подтвердить акт отречения депутатам и передать им манифест для обнародования. Никаких речей поэтому не приходилось произносить депутатам.

Его величество спокойно и твердо сказал, что он исполнил то, что ему подсказывает его совесть, и отказывается от престола за себя и за сына, с которым, в виду болезненного состояния, расстаться не может.

Гучков доложил, что обратное возвращение депутатов сопряжено с риском, а посему он просил подписать манифест на всякий случай не в одном экземпляре. Государь на это согласился.

В это же время верховным главнокомандующим всеми российскими силами был назначен государем великий князь Николай Николаевич — наместник Кавказа и главнокомандующий Кавказской армией, о чем была послана телеграмма в Тифлис его величеством.

Затем государь ушел к себе в отделение, а все оставшиеся стали ждать изготовления копии манифеста.

Вот собственно с формальной стороны и все, что произошло на свидании депутатов Думы Гучкова и Шульгина с его величеством 2-го марта в Пскове[1]).

Что сказать о настроении всех тех, которые были свидетелями этого глубоко-трагичного события.

Среди близких государю, среди его свиты, в огромном большинстве все почти не владели собою. Я видел как плакал граф Фредерикс, вернувшись от государя, видел слезы у князя Долгорукого, Федорова, Штакельберга, Мордвинова, да и все были мрачны.

Государь после 12 часов ночи ушел к себе в купе и оставался один. Генерал Рузский, Гучков, Шульгин и все остальные скоро покинули царский поезд и мы не видали их больше.

После часа ночи депутатский поезд, т.-е. собственно один вагон с паровозом, отбыл в Петроград. Небольшая кучка народа смотрела на этот отъезд. Дело было сделано — императора Николая II уже не было. Он передал престол Михаилу Александровичу.

Пятница, 3-го марта.

Псков — Витебск — Орша — Могилев.

Поздно ночью, в пятницу 3-го марта, государь отбыл из Пскова в Могилев. Путь его величества лежал через Остров, Двинск, Витебск, Оршу в Могилев, в Ставку.

От ярко освещенной, но пустынной платформы пассажирского вокзала Пскова отошли собственный его величества и свитский поезда. Только небольшая группа железнодорожных служащих, да несколько лиц в военной форме смотрели на отходящие поезда.

---

[1]) Описание свидания Гучкова и Шульгина с государем 2-го марта, сделанное Шульгиным, вскоре после возвращения депутатов в Петроград, составлено довольно верно.

Переезд от Пскова до Могилева совершился спокойно, без малейших осложнений. На станциях почти не было публики, только в Витебске, который миновали днем, скопление пассажиров значительно, но никаких волнений, симпатии или антипатии к царскому поезду мы не заметили. Точно это был один из очередных поездов, точно никто не знал, кто находится в этих больших, чудных синих вагонах с орлами.

А между тем по всем линиям, как я уже отметил ранее, разослана была телеграмма члена Думы Бубликова об образовании «временного правительства».

Днем 3-го марта с пути его величество послал телеграмму Михаилу Александровичу уже как новому царю, в которой просил его простить, что принужден передать ему тяжелую ношу правления Россией, и желал брату своему успеха в этом трудном деле. Телеграмма простая, сердечная и она так отражала государя и всю его духовную жизнь. Нет ни малейшей рисовки, ни малейшей позы, а высказан только душевный порыв человека.

Эта телеграмма, может быть, объясняет в значительной степени то сравнительно спокойное отношение к событиям, которое замечалось у государя последние два дня. Его величество надеялся, что брат его, который принимает царство, при том сочувствии со стороны деятелей переворота, успокоит страну, а назначенный государем верховным главнокомандующим великий князь Николай Николаевич сбережет армию от революционного развала и война будет закончена победоносно. Государь, однако, понимал, что Михаил Александрович не опытен в государственных делах, но его величество знал, что брат предан России и любит родину и отдаст себя на служение ей.

В настроении его величества заметна перемена. Он попрежнему хотя ровен, спокоен, но задумчив и сосредоточен. Видимо, он уходит в себя, молчит. Иногда с особой грустью смотрели его глаза и в них, в этих особенных чистых, правдивых и красивых глазах, особенно грустный вопрос: как все это совершилось и сможет ли брат справиться с государством и имел ли он, законный царь, право передать ему Россию.

Все эти дни с 1-го марта государь был в кубанской пластунской форме, выходил на воздух, несмотря на свежую ветряную погоду, без пальто в одной черкесске и башлыке. Он такой моложавый, бодрый и так легко и скоро ходит.

Когда я смотрел на него сегодня, мне припомнились те слова флигель-адъютанта А. А. Дрентельна: «Государь никогда не торопится и никогда не опаздывает». Так ли это теперь, когда все рушится.

К вечеру, когда уже стало темнеть, проехали Оршу — это преддверие Ставки. Шумная толпа, как всегда, наполняла грязную станцию, в этом узловом пункте. Но на платформе около поезда было тихо, спокойно.

Около 9 часов государь прибыл в Могилев. Поезд тихо подошел к «военной» длинной, пустынной, открытой платформе, к которой всегда прибывали царские поезда. Высокие электрические фонари ярко освещали небольшую группу лиц во главе с генералом Алексеевым, прибывших встретить его величество.

Небольшой с седыми усами, солдатской наружности, невзрачный генерал Алексеев вытянулся, отдал честь. К нему подошел его величество, протянул ему руку, поздоровался, что-то спросил его и затем сел в автомобиль с графом Фредериксом и отправился к себе по пустынным, тихим улицам Могилева. Мы все последовали за его величеством и разместились в своих обычных помещениях.

Час спустя уже около 11 часов вечера я прошел в генерал-квартирмейстерскую часть к генералу Клембовскому. Я знаю Владислава Наполеоновича, так как мы одного выпуска из военного училища. Это умный, выдержанный, скрытный человек, хороший офицер генерального штаба, боевой генерал и известный военный писатель. Нам помешали говорить, так как генерал Алексеев прислал за Клембовским. Я узнал только, что завтра в обычное время, после 9-ти часов утра, государь прибудет в штаб для выслушивания доклада начальника штаба генерала Алексеева в присутствии генерала Клембовского и генерал-квартирмейстера генерала Лукомского.

«Я не могу не выразить удивления, как после того, что произошло, государь все-таки будет принимать обычный наш доклад», сказал мне генерал Клембовский и пошел в кабинет генерала Алексеева.

Я спустился в первый этаж и здесь в одной из комнат встретил графа Граббе, который был очень оживлен. На мой вопрос, почему он здесь так поздно, граф Граббе ответил: «Я был у Алексеева и просил конвой его величества сделать конвоем Ставки. Он обещал».

Удивленный этими соображениями командира конвоя русского государя устроить этот конвой в Ставку уже без царя, я заметил Граббе, что зачем он так торопится с этим делом, ведь его величество еще в Ставке.

«Да, но не нужно упускать времени», ответил Граббе и быстро ушел из комнаты.

Этот случай был первый из подобных, когда люди так спешно стали менять идею службы, ее принципы...

В комнатах генерал-квартирмейстерской части все было попрежнему. Дежурили полевые жандармы, сидели офицеры за столами, стучал телеграфный аппарат...

На маленькой площади у дворца из старинной ратуши, в круглом садике стояли посты дворцовой полиции, а у подъезда государя в дубленых постовых тулупах находились попрежнему парные часовые Георгиевского батальона.

Могилев тих, малолюден и спокоен, как всегда. В царских комнатах долго, долго светился огонь. Точно ничего не случилось, точно то, что я видел, что все мы пережили, был сон.

Суббота, 4-го марта.

В Ставке — Могилев.

В субботу 4-го марта, после утреннего чая в начале 10-го часа, государь прошел, своим обычным порядком, в генерал-квартирмейстерскую часть (дом рядом с дворцом) для принятия доклада генерала Алексеева о положении на фронтах.

Об этом последнем докладе его величеству мне сообщил генерал Клембовский, присутствовавший на нем, вместе с гералом Лукомским, по службе. Государь, как сказал, в начале 10-го часа пришел в генерал-квартирмейстерскую часть и занял свое обычное место за столом, где ежедневно происходили эти доклады. Спокойно, внимательно слушал государь Алексеева, который сначала волновался, спешил и только через несколько минут под влиянием вопросов его величеству, замечаний и указаний стал докладывать как всегда. — «Вот так и состоялся этот исторический последний доклад императору Николаю II от его начальника штаба», закончил генерал Клембовский.

После известия об отказе Михаила Александровича не только среди лиц, окружавших государя, но и среди всей Ставки не было уже почти никаких надежд на то, что Россия сможет вести войну и продолжать сколько-нибудь правильную государственную жизнь. Надежда, что «учредительное собрание» будет правильно созвано и утвердит царем Михаила Александровича, была очень слаба и в нее почти никто не верил. Прав был К. Д. Нилов, говоря, что Михаил Александрович не удержится и за сим наступит всеобщий развал.

Среди Ставки, которая в огромном своем большинстве была против переворота, начали ходить особенно мрачные слухи после того, как появилось известие об организации совета рабочих и солдатских депутатов в Петрограде, тре-

бования которых направлены к развалу армии и к передаче власти в войсках солдатской массе.

Уже сегодня генерал Алексеев полтора часа по прямому проводу говорил с военным министром Гучковым и убеждал его не допускать опубликовывать приказ № 1, так так это внесет полную дезорганизацию в части войск и вести войну мы не будем в состоянии. Гучков, однако, отвечал, что надо уступить требованию представителей «освобожденной армии» и приказ был опубликован и разослан.

По поводу приказа № 1 и солдатских комитетов генерал Клембовский говорил мне, что генерал Алексеев негодовал на Гучкова и с злобой сказал: «единственно, что остается, это немедленно дать разрешение офицерам вне службы носить штатское платье. Только это и поможет им иногда избавляться от произвола и наглости революционных солдат».

Кажется 4-го марта вечером выезжали из Ставки граф Фредерикс и генерал Воейков. Я пошел с ними проститься.

После прощания с графом Фредериксом, я прошел в комнаты дворцового коменданта. Здесь было много народа, все подчиненные генерала Воейкова, сослуживцы, вся свита государя пришли проводить Владимира Николаевича. Он бодрился, все время распоряжался своим огромным, в необычайном порядке, багажом, отдавал приказания прислуге и отрывисто переговаривался со всеми нами.

«Я надеюсь пробраться к себе в пензенское имение и, может быть, смогу там жить»... сказал он.

Скоро дворцовый комендант вместе с подполковником Таль, бывшим офицером л.-гв. гусарского его величества полка, которым командовал до войны генерал Воейков, отправился на вокзал. Они поместились в вагоне II класса незаметно, но, конечно, могли проехать не далеко и были задержаны на одной из ближайших к Могилеву станции и через Москву отправлены в Петроград, где генерала Воейкова и арестовали...

Вторник, 7-го марта.

В Ставке — Могилев.

Солдатская масса Ставки, спокойная в первые часы революции и совершенно не ожидавшая нагрянувших событий, стала понемногу волноваться. Приехали агитаторы, появились газеты, радостно сообщавшие о «бескровных днях» переворота, наконец ясный переход генерала Алексеева на сторону временного правительства, все это сделало то, что и войска царской Ставки начали организовывать митинги,

собрания, тем более, что еврейский Могилев, конечно, стал итти полным ходом к «свободе».

Утром стало известно, что на базаре соберутся войска Ставки и будет какой-то митинг. Генерал Алексеев, желая сдержать солдат, приказал, чтобы свои части сопровождали офицеры. На этом митинге должны были быть и роты собственного его величества железнодорожного полка. Я сидел в комнате моего соседа барона Штакельберга и туда, смущенный и растерянный, пришел командир этого полка генерал Цабель. Ему не хотелось быть на этом солдатском митинге. Он не знал, как отнесутся к нему солдаты, до сих пор ведшие себя очень хорошо и вполне дисциплинированно. Полк этот был в блестящем до переворота состоянии в руках умного, толкового командира и с прекрасным составом офицеров. К тому же генерал Цабель не знал, надо ли быть в погонах с вензелями государя, или их надо снять, как этого хотел генерал Алексеев.

«Не знаю как и быть», говорил Сергей Александрович Цабель, «пожалуй уже все солдаты сняли вензеля и выйдет скандал, если придем с «Н» на погонах. Надо снять». И он стал снимать вензеля с пальто, но дело не ладилось и генерал обратился к стоявшему здесь же старому преображенцу, курьеру Михайлову:

«Михайлов, помоги мне, сними с погон вензеля».

«Никак нет, не могу, увольте. Никогда это делать не согласен, не дай бог и смотреть», и он потупившись отошел.

Вышло очень неловко и сцена эта произвела на всех крайне тягостное впечатление.

Генерал Цабель замолчал, нахмурился и стал сам ковырять что-то на погонах.

Среда, 8-го марта.

Отъезд государя императора из Ставки.

Утром в среду 8-го марта в Ставке было получено известие, что назначенный 2-го марта государем императором верховный главнокомандующий, великий князь Николай Николаевич выехал из Тифлиса и прибудет в Могилев после 9-го марта. Генерал Алексеев все важные вопросы откладывал до вступления в командование нового верховного.

В 3-ем часу ночи военная платформа стала наполняться провожающими государя. Тут находились великие князья Сергей и Александр Михайловичи, Борис Владимирович и очень заметно выделялась огромная фигура старика, принца Александра Петровича Ольденбургского с красным обветренным лицом, в полушубке; он стоял опираясь на

палку. Весь высший командный состав Ставки был налицо: генералы Алексеев, Клембовский, Лукомский, Кондзеровский, адмирал Русин и другие генералы, офицеры и гражданские чины. Была и частная публика и простонародье, но так как неизвестен был час отъезда государя, то сравнительно частной публики было немного — человек 150 не более.

Стояла ветренная, холодная погода. Поезд с депутатами все не приходил, и все собравшиеся разбрелись по путям, находились около государева поезда, в который вносили багаж и разные вещи, подходили к поезду императрицы Марии Федоровны, где пребывал его величество, и там протекали последние минуты свидания перед тяжелой, неопределенной и страшной их разлукой.

Генерал Алексеев все время распоряжался, говорил то с тем, то с другим и раза два входил в вагон императрицы к государю.

Как-то не ладились разговоры. Все были молчаливы и коротко отвечали друг другу. Все понимали, что настал последний момент расставания и у всех сжималось сердце о судьбе царя, о России и о себе самом.

Около 4-х часов прибыл поезд с депутатами Государственной Думы с Бубликовым во главе. Они появились как-то неожиданно у царского поезда и стали переговариваться с генералом Алексеевым. Это были люди определенной окраски и показались мне неприветливыми, враждебно настроенными, только Бубликов чуть-чуть был по обходительнее. Все эти депутаты принадлежали к левому крылу Государственной Думы; я не помню их фамилий.

Сейчас по своем прибытии Бубликов передал распоряжение временного правительства о запрещении адмиралу Нилову следовать с государем и приказание остаться в Ставке. «Что же, я арестован?» спросил мрачно Нилов. «Нет, но вы должны остаться здесь», ответил Бубликов.

Нилов гневно отошел и я, стоявший с ним рядом, искренно ожидал, что адмирал как-либо оскорбит депутата.

После переговоров Бубликова с генералом Алексеевым оказалось, что государь должен считать себя арестованным и лишенным уже свободы. Это распоряжение произвело крайне тяжелое впечатление на всех и вызвало большое негодование и волнение среди свиты и некоторых других лиц Ставки.

«Как, почему, с какой стати, какие основания, неужели Алексеев решится передать это заявление его величеству», говорили многие. Оказалось, однако, что генерал Алексеев передал государю: «ваше величество должны себя считать как бы арестованным». Я не был при этом разговоре, но

слышал, что государь ничего не ответил, побледнел и отвернулся от Алексеева.

Государь был очень далек от мысли, что он, согласившийся добровольно оставить престол, может быть арестован.

Прошло еще минут 10—15. Мы все напряженно стояли у вагонов при полной тишине. Еще раз прошел, почти пробежал, генерал Алексеев в вагон императрицы, пробыл там несколько минут и вышел оттуда. Вслед за ним отворилась вагонная дверь и государь стал спускаться по ступенькам на рельсы. До государева поезда было шагов 20—30 и его величество сейчас же дошел до своего вагона. Тут к нему подошел адмирал Нилов и, схватив руку государя, несколько раз ее поцеловал. Его величество крепко обнял своего флаг-капитана и сказал: «Как жаль, Константин Дмитриевич, что вас не пускают в Царское со мною».

Затем государь поднялся в свой вагон и подошел к окну, стараясь его протереть, так как оно было запотелое.

Наконец, поезд тронулся. В окне вагона виднелось бледное лицо императора. Генерал Алексеев отдал честь его величеству.

Последний вагон царского поезда был с думскими депутатами; когда он проходил мимо генерала Алексеева, то тот снял шапку и низко поклонился. Помню, этот поклон депутатам, которые увозили царя «как бы арестованным», тяжело лег на сердце и окончательно пошатнул мое мнение об Алексееве.

Четверг и пятница, 9—10 марта.

Сама Ставка после отъезда государя из Могилева во многом изменила свой вид, тон и настроение. Весь командный состав — в ожидании приезда великого князя Николая Николаевича. Революционное настроение от Петрограда расходится по всей России, докатывается до Ставки и добирается до фронта. Революционная агитация, новые деятели «временного правительства» продуктивно работают в своих целях и вся надежда разумных людей Ставки сосредоточена на новом верховном главнокомандующем, который может еще своим именем, своей несомненной популярностью, авторитетом сдержать развал в войсках и тем предотвратить погибель родины.

Однако, уже начали опасаться, что временное правительство великого князя Николая Николаевича, как Романова, не допустит стать верховным главнокомандующим.

Высказывалось мнение, что временное правительство проведет назначение верховным Алексеева. В Ставке уже

начали появляться все больше и больше лиц из Петрограда, приверженных новому военно-морскому министру Гучкову и его сторонникам. На станции в эти дни уже стоял вагон генерала Поливанова, охраняемый юнкерами. Бывший военный министр прибыл из Петрограда в Ставку, дабы дать указания о более спокойном и гладком проведении в жизнь армии новых оснований ее строя, связанных с приказом № 1 и с новосоздаваемыми солдатскими комитетами.

В штабе, в столовой можно было видеть иногда прибывших из Петрограда офицеров, украшенных красными бантами, которые, однако, они быстро снимали, так как никто в Ставке этой эмблемы революции не надевал в эти дни.

Адмирал Нилов жил рядом со мной, он переехал из дворца и поместился в нашем доме. Дом, где жил государь, заперли; там шел разбор вещей и отправка некоторого дворцового имущества в Петроград. Странно и смешно было смотреть и сознавать как от нас отняли белье, посуду... В штабной столовой Нилов и я с трудом находили себе место. Перемена в отношениях к нам была значительная.

Начались уже собрания офицеров и какой-то военный чиновник читал лекции об основах всеобщего голосования (четыреххвостке), необходимого для учредительного собрания, а полковник генерального штаба Плющевский-Плющик, один из первых председателей комитета офицерско-солдатских депутатов, делал всякие пояснения по этому вопросу.

Не помню точно, но кажется на второй день по отбытии государя в Царское Село, т.-е., должно быть, 9-го марта состоялось приведение к присяге Ставки верховного главнокомандующего. Утром, часов около десяти, на площади Могилева перед старой ратушей и зданием присутственных мест, где находилось, как я упоминал, управление генерал-квартирмейстерской части, и близ дома, где жил государь, собрали войска, все офицерство и весь генералитет Ставки. Духовенство в зеленых военных ризах поместилось в центре шеренг солдат и групп офицеров. Поставлен аналой с св. крестом и евангелием. Среди присягавших я заметил великих князей Бориса Владимировича, Александра Михайловича, генералов Алексеева, Кондзеровского, Борисова и многих других. Седой священник громко читал новосозданную присягу временному правительству взамен нашей старой, составленной великим Петром, и вся площадь с солдатами, офицерами и даже великими князьями, поднявши правые руки, повторяла новые во мно-

гом неясные слова присяги и затем целовали св. крест и евангелие.

Была оттепель. Шел мокрый снег. Настроение у всех было равнодушное, безразличное. Присяга закончилась быстро, и ясно было, что соблюдали необходимую формальность и спешно разошлись по местам.

Мы с адмиралом Ниловым стояли несколько в стороне и наблюдали обряд присяги, не участвуя в ней. Помню, что вместе с нами находилось несколько офицеров штаба, которые явились тоже, но только смотрели как присягали войска.

А так недавно на той же площади служились молебны по случаю полковых праздников конвоя его величества и других частей в высочайшем присутствии и государь обходил войска, поздравлял людей и те радостно и восторженно смотрели на него и гордились, что их праздник посетил царь.

Перемена событий невероятно быстрая, но худо верилось, что не будет новых явлений более грозных и неожиданных и вряд ли новая присяга русской армии будет держаться также верно, как Петровская клятва держалась более 200 лет.

Кажется, 10-го марта поезд великого князя Николая Николаевича прибыл в Могилев. С ним прибыли великий князь Петр Николаевич с сыном Романом Петровичем, пасынок Николая Николаевича герцог Лейхтенбергский, князь В. Н. Орлов, генерал Крупенский и несколько адъютантов. Их рассказы полны интереса. Находившиеся в Харькове, и тоже встречавшие Николая Николаевича генерал-адъютант Хан Гуссейн-Нахичеванский и князь Юсупов граф Сумароков-Эльстон убеждали великого князя не ехать в Ставку, находящуюся всецело под давлением временного правительства, которое определенно стоит за устранение Николая Николаевича, как Романова, от командования и против предоставления ему власти. Великий князь глубоко задумался, долго сидел один, затем советовался с братом Петром Николаевичем, генералом Янушкевичем и другими лицами своей свиты и решил в конце концов не менять маршрута и следовать в Могилев.

Кажется, на второй день великие князья Николай и Петр Николаевичи и князь Роман Петрович, его высочество принц Александр Петрович Ольденбургский и пасынок великого князя Николая Николаевича, герцог Лейхтенбергский, и вся свита их приняли присягу временному правительству в вагоне поезда его высочества. Николай Николаевич очень нервно был настроен, и его руки, подписывая присяжный лист, тряслись. Приводил к присяге священник

Ставки и присутствовал при этом, вместо генерала Алексеева, дежурный генерал-лейтенант П. К. Кондзеровский. Все это мне передавали очевидцы присяги.

Самое назначение великого князя верховным главнокомандующим и затем отношение Николая Николаевича к последующим событиям после переворота, т.-е. после 2-го марта мне выясняются с полной определенностью из следующих данных, сообщенных мне лицами, которые были не только свидетелями событий, но и знали все подробности от его высочества наместника Кавказа [1]). Вот как произошло назначение Николая Николаевича верховным и вот те причины, почему великий князь оставил армию.

После получения от его величества телеграммы о назначении верховным главнокомандующим, великий князь немедленно решил оставить Тифлис и направиться в Ставку, в Могилев. В это же время, т.-е. в первые дни марта доставлена была депеша его высочеству от генерала Алексеева, в которой начальник штаба верховного сообщает, что, учитывая создавшуюся обстановку, все главнокомандующие и он сам (генерал Алексеев) пришли к убеждению в необходимости для спасения России и победоносного окончания войны просить государя императора отречься от престола. Кроме того, в виду изложенных соображений начальник штаба верховного просит великого князя присоединить свой голос к остальным голосам главнокомандующих в обращении к его величеству и в свою очередь лично от себя телеграфировать об оставлении престола царем. Для великого князя телеграмма генерала Алексеева была совершенно неожиданна, так как на Кавказе симптомов крушения государственной власти не было. Грозность обстановки, побудившая, вероятно, генерала Алексеева телеграфировать великому князю, не дала возможности его высочеству успеть проверить сообщенные данные, ему пришлось принять на веру все эти известия. На основании всех этих заявлений и событий, Николай Николаевич присоединил свой голос к голосам высших представителей армии и телеграфировал государю.

Николай Николаевич, отправив указанную телеграмму, уже 4-го марта отдал приказ по войскам Кавказской армии, в котором он повелевает всем войсковым начальникам от старшего до младшего, что после оповещения двух актов (об отречении государя императора Николая II и великого князя Михаила Александровича) они должны спокойно ждать изъявления воли народа и свято исполнять повеле-

[1]) Переданы генералом бароном Стааль с разрешения великого князя Николая Николаевича в Риме в мае 1920 г.

ние закона и по чести оберегать родину от грозного врага и своими подвигами поддержать наших союзников в беспримерной борьбе.

В это время великий князь обменялся следующими телеграммами с главою правительства: 4-го марта Николай Николаевич телеграфировал князю Львову о необходимости поддержки общего порядка в стране, что поддержит в свою очередь порядок в войсках. Через день его высочество получил от князя Львова ответ, что временное правительство вполне уверено в настроении армии и что она даст победоносный конец войне. Вместе с сим князь Львов спрашивал, когда великий князь будет в Ставке. На эту телеграмму Николай Николаевич ответил, что будет на Ставке 10-го марта и рад принять князя Львова.

Затем, по прибытии своем на Ставку в Могилев, великий князь Николай Николаевич немедленно вступил в командование и, приняв должность верховного главнокомандующего, отдал о сем приказ, но он не был объявлен, по крайней мере ни самому великому князю, ни его свите не приходилось его встречать. Мне лично тоже не пришлось читать этот приказ в Ставке, хотя я в эти дни бывал постоянно в штабе верховного, ожидая распоряжений о себе и, если бы приказ был объявлен, нельзя было бы его пропустить, тем более что все его ждали. Приходится отметить, что «первый приказ верховного, Николая Николаевича», так же как последний приказ «верховного, государя императора», от 8-го марта генерал Алексеев, по соглашению с временным правительством, оповещать не решился, и русской армии побоялись в эти дни совершенного переворота передать прощальное слово царя и вступительный приказ Николая Николаевича.

11-го марта великий князь получил письмо от временного правительства, подписанное князем Львовым. Из этого письма видно, что оно должно было быть доставлено Николаю Николаевичу до прибытия его высочества в Ставку. В этом документе сказано, что временное правительство не задолго до отречения государя, обсудив народное мнение, решительно и настойчиво высказывающееся против дома Романовых, пришло к заключению, что оно не считает себя вправе оставаться безучастным голосу народа и убеждено, что великий князь во имя блага родины пойдет навстречу требованиям положения и сложит с себя командование до прибытия в Ставку.

На это письмо великий князь ответил: «Идя навстречу высказанным желаниям, чтобы я сложил с себя верховное командование во имя блага родины, я это делаю и рад, что могу вновь высказать любовь к родине, в чем Россия до

сих пор не сомневалась, и поэтому отдаю приказ о сдаче командования генералу Алексееву, согласно положения о полевом управлении войск».

Приводимые мною глубокого и высокого значения данные получены мною, как упомянуто выше, из несомненных источников [1]).

Очень любопытно, что временное правительство только в самом конце мая, т.-е. через три месяца после фактического ухода из армии великого князя, решилось объявить об отчислении от должности верховного Николая Николаевича. В «Русском Инвалиде» от 27-го мая 1917 года № 122 появился приказ, помеченный от 11-го марта, в котором говорится: числящийся по гвардейской кавалерии и состоящий по уральскому и кубанскому казачьим войскам, верховный главнокомандующий генерал от кавалерии великий князь Николай Николаевич отчисляется от должности вследствие его ходатайства об освобождении от верховного командования и освобождается от службы.

В этом приказе помещена неправда о «ходатайстве» его высочества об освобождении от верховного командования. Такого ходатайства не было.

Сдача великим князем верховного командования генералу Алексееву повергла всех в полное уныние и стало ясно, что революция теперь не остановится и скорая гибель армии, а с ней и России, неизбежны. Ставка при этом хорошо понимала, что генерал Алексеев верховным главнокомандующим ни по своему характеру, ни по своим способностям, ни по системе своего труда, при котором он стремился одинаково внимательно разрешить и крупные и мелкие вопросы, быть не может.

Генерал Алексеев был ценный начальник штаба и не более.

Великий князь отбыл в Крым, где стал жить уединенно частным человеком.

Через несколько дней генерал Алексеев, по моему ходатайству, разрешил мне выехать из Ставки.

---

[1]) Все эти данные получены мною 29 мая/11 июня 1920 года в Риме от генерала барона Сталя по приказанию великого князя Николая Николаевича.

Полк. А. А. МОРДВИНОВ.

Последние дни императора.

Во вторник, 21 февраля 1917 года, вечером, находясь у себя дома, в Гатчинском дворце, я получил уведомление от командующего императорской главной квартирой, графа Фредерикса, что, согласно высочайшему повелению, я назначен сопровождать государя в путешествии в Ставку для несения дежурства при его императорском величестве. Отбытие императорского поезда из Царского Села было назначено около трех часов дня, в среду 22 февраля.

Это уведомление явилось несколько неожиданным. Я накануне только что вернулся из Царского Села с дежурства по военно-походной канцелярии, и тогда еще не было никаких разговоров об отъезде. Внутреннее политическое положение было в те дни особенно бурно и сложно, в виду чего государь все рождественские праздники, весь январь и большую часть февраля находился в Царском Селе и медлил с отбытием в Ставку.

Отчасти государя удерживала и болезнь наследника и великих княжен, заболевших корью, положение которых вызывало большую тревогу. Этой болезнью Алексей Николаевич заразился от одного из товарищей его детских игр в Ставке. Их было двое случайно встреченных во время прогулок в Могилеве: один кадет Орловского, другой, кажется, Псковского или Полтавского корпусов. Очень милые, скромные мальчики, полусироты, дети очень бедных матерей, они были переведены затем в Петроградские корпуса, изредка навещали Алексея Николаевича, полюбившего их и во время минувших рождественских праздников занесли корь из своего корпуса и во дворец. У великих княжен болезнь, хотя и в тяжелой форме, протекала нормально, но хрупкое здоровье Алексея Николаевича очень заботило их величества и не предвещало близкого улучшения.

Я наскоро сделал необходимые распоряжения, простился с взволнованной женой и с тяжелым чувством выехал из Гатчины утром 22 февраля. Вместе со мною поехал и преданный нашей семье дворцовый лакей, добродушный старик ворчун В. А. Лукзен, всегда сопровождавший меня в различных поездках и служивший еще отцу моей жены.

Я приехал в Царское Село около 12 часов, переоделся в служебную форму и пошел завтракать в соседнее помещение, к товарищу по службе, флигель-адъютанту Ден, помощнику начальника военно-походной канцелярии. Кроме самого хозяина и Киры Нарышкина я застал там и жену Дена, Софью Владимировну, рожденную Шереметьеву. Завтрак прошел в очень тягостном настроении, в каком мы находились все за последнее время. Всем хотелось больше думать, чем говорить, а тогдашние злобы дня не могли сделать разговор для меня очень занимательным. Вспоминаю только, что пребывание в Ставке предполагалось непродолжительным и намечалось скорое возвращение.

Около трех часов мы с Нарышкиным поехали в царский павильон, где уже собрались для проводов все обычные в этих случаях лица.

Вскоре прибыли их величества. Государь обошел всех собравшихся, простился в своем вагоне с императрицей, мы вошли в поезд, и он незаметно тронулся в путь.

В эту последнюю поездку государя сопровождали:

Министр двора, граф Фредерикс, флаг-капитан его величества, адмирал К. Д. Нилов, дворцовый комендант В. Н. Воейков, гофмаршал, князь В. А. Долгорукий, командир конвоя, граф А. Н. Граббе, лейб-хирург, профессор С. П. Федоров, начальник военно-походной канцелярии К. А. Нарышкин и дежурные флигель-адъютанты герцог Н. Н. Лейхтенбергский и я. Комендантом императорского поезда был начальник дворцовой полиции полковник Герарди, помещавшийся в служебном вагоне вместе с начальником императорских поездов, инженером Ежовым.

В другом, служебном, почему-то называемом «свитским», поезде, следовавшем обыкновенно в часовом расстоянии от императорского, насколько я помню, находились: генерал Цабель, командир железнодорожного полка, барон Штакельберг, чиновник канцелярии министерства двора, генерал Дубенский, описывавший в издаваемых периодически книжках, пребывание государя в действующей армии, чиновник гофмаршальской части Суслов и находившиеся в наряде офицеры собственного его величества полка, конвоя государя и железнодорожного батальона.

Потянулась обычная в наших путешествиях жизнь, столь мне знакомая и привычная за последние годы.

Императорский поезд был невелик. Он состоял в центре из вагона его величества, где находились спальня и кабинет государя; рядом с этим вагоном был, с одной стороны, наш свитский вагон из восьми отделений, а с другой — вагон-столовая, с отделением салона для приемов. Далее шла кухня с буфетом, вагон, где помещалась военно-походная

канцелярия, и последний служебный вагон, где помещались железнодорожные инженеры и начальник той дороги, по которой приходилось следовать поезду.

Время в путешествиях, если не было смотров и приемов, распределялось обыкновенно, как и дома, следующим образом: завтрак в час дня, обед в восемь часов, дневной чай в пять часов, вечерний около одиннадцати. Государь вставал рано, но выходил в столовую не раньше девяти или девяти с половиною часов. Лица свиты к утреннему брекфасту появлялись в разное время; некоторые из нас пили утром кофе у себя в купэ, но все неизменно собирались вместе к обеду, завтраку и дневному чаю. К высочайшему обеду, кроме лиц свиты, приглашались всегда начальник императорского поезда и начальник дороги.

Обед бывал всегда очень скромный, непродолжительный и состоял из трех блюд, как и в Ставке, где, даже несмотря на приемы «знатных иностранцев», изредка наезжавших в Могилев, ничего не прибавлялось лишнего. Вопреки кем-то пущенным слухам, вина государь совершенно не любил и выпивал иногда у себя за обедом лишь одну небольшую рюмку портвейна, довольствуясь большею частью превосходным сухарным квасом.

Встав из-за стола, государь немедленно удалялся в свой вагон, где продолжал заниматься делами. Иногда, на какой-нибудь продолжительной остановке, государь выходил с противоположной стороны от платформы для небольшой прогулки. Его всегда сопровождали дежурный флигель-адъютант, ординарец-урядник конвоя и кто-нибудь из лиц свиты, вышедших также подышать свежим воздухом. Иногда вечером, когда не было очередного фельдъегеря с бумагами, перед вечерним чаем, его величество, закончив текущие дела, предлагал сыграть две-три партии в домино. Обычными партнерами государя при этом бывали: адмирал Нилов, граф Граббе и я.

Во время движения, в поезде получались на имя его величества агентские телеграммы, и государь обыкновенно просматривал их за утренним, дневным и вечерним чаем, передавая их затем для прочтения и нам. Тут завязывались всегда очень оживленные беседы на известия со всего мира, в которых войне было отводимо главное место.

Вопросов о нашей внутренней политике и «злобах дня» государь видимо избегал касаться. Чувствовалось, что это было отнюдь не из-за недоверия к нам, а лишь невольное нежелание его величества касаться в редкие минуты отдыха того, о чем ему и без того часами и днями приходилось мучительно думать одному и говорить с многочисленными правительственными лицами во время докладов и приемов.

В эту поездку государь, как всегда, был спокоен и ровен, но что-то озабоченное, порою очень грустное, на мгновение появлялось на его лице и опять исчезало...

На другой день, в четверг, 23 февраля, поезд подошел к Могилеву. На платформе обычная встреча из начальников отделов в Ставке во главе с генералом Алексеевым — начальником штаба, только что вернувшимся после болезни из Крыма.

Государь обошел всех собравшихся, а затем в автомобиле, вместе с графом Фредериксом проехал в губернаторский дом — «дворец» как его называли.

В тот день я не был дежурным и направился прямо в свою гостиницу «Франция», которая была снята гофмаршальской частью под помещение для лиц свиты.

В четверг, пятницу, субботу и воскресенье потянулась обычная однообразная жизнь в Могилеве, где один день походил на другой, как две капли воды.

В Ставке государь жил в довольно неуютном губернаторском доме, в котором наверху занимал две комнаты: одна служила кабинетом, другая спальней, где, вместе с походной кроватью государя стояла такая же походная кровать для наследника, на которой он спал во время своих частых пребываний в Могилеве. Рядом с кабинетом находилась пустынная приемная зала и столовая, а низ дома занимала часть свиты.

Неизменно в десять часов утра, после утреннего чая, к которому постепенно собиралась вся ближайшая свита, государь направлялся пешком, в сопровождении дежурного флигель-адъютанта и дворцового коменданта, в штаб верховного главнокомандующего, где и занимался с генералом Алексеевым до завтрака, который был в час дня, и к которому, как и к обеду в семь с половиною часов вечера, приглашались все начальники иностранных военных миссий и, по очереди, начальники разных отделов Ставки, а также и приезжавшие в Могилев с докладом министры и чины фронта.

После завтрака государь занимался у себя в кабинете, подготовляя необходимые бумаги для отправки с отъезжавшим фельдъегерем, а затем до дневного чая его величество и желающие из свиты выезжали за город на автомобилях и делали несколько верст прогулки пешком, всегда быстрым шагом, и возвращались к короткому дневному чаю, после которого государь снова направлялся в кабинет для работы или принимал доклады разных лиц, прибывавших из Петрограда или с фронта.

Я не помню, чтобы в эти предпоследние дни кто-либо из министров или общественных деятелей приезжал в Мо-

гилев. Настроение в Ставке, обыкновенно более бодрое и серьезное, более «разное», чем в столичном тылу, в эти дни мало отличалось от угнетенного петроградского.

Мне удалось лишь мельком видеть генерала Алексеева и сказать с ним несколько незначительных фраз.

Скромный до застенчивости, мало разговорчивый всегда, он был на этот раз особенно замкнутый и ушедший в себя. Видимо, он еще далеко не оправился от болезни, страдал очень сильно от нее, хотя и бодрился и не бросал даже мелочной работы, которая поглощала все его свободное время.

С остальными чинами Ставки меня и не тянуло говорить в эти дни, — я знал заранее, к каким сетованиям сведутся разговоры и на какие сплетни будут осторожно, но настойчиво намекать.

Генерала Алексеева, я хотя знал и давно — еще молодым армейским пехотным офицером, только что окончившим академию — но все же знал очень мало, почти не знал совсем.

Я его тогда же потерял из виду и встретился с ним мельком лишь как с главнокомандующим западного фронта, в Барановичах.

Он и через 26 лет остался тем же скромным, застенчивым человеком, далеким от карьеризма и, как мне казалось, сплетен, к которому я чувствовал поэтому невольную симпатию.

Эти основные качества его натуры были, по моему, очень схожи с простотою и замкнутым же скромным, стесняющимся характером государя, и я убежден, по многим признакам, что его величество относился к генералу Алексееву с большей симпатией и любовью, чем к другим, не обладавшим такими чертами характера.

Понимал ли генерал Алексеев государя настолько, чтобы любить его как человека, был ли предан ему, как настоящий русский своему настоящему русскому царю — вот те вопросы, которые я задавал себе неоднократно тогда и потом и как тогда, так и потом, вплоть до настоящего времени, не мог себе с достаточной ясностью на них ответить.

Многое, а после отречения и, судя по искренним рассказам его семьи — очень многое мне говорило «да», но всегда с неизменной во мне прибавкою «вероятно, недостаточно крепко, хотя бы до забвения сплетен».

Генерал Борисов, близкий друг М. В. Алексеева, в частных разговорах со мною уже после отречения неоднократно выражал сожаление, что государь «не сумел с достаточной силой привязать к себе Михаила Васильевича и мало оказывал ему особенного внимания, недостаточно

выделяя его, якобы, из других». «Тогда все было бы, конечно, иначе», неизменно, с полным убеждением, доказывал мне Борисов.

Я не думаю, чтобы это было так.

Генерал Алексеев, по свойству своего характера, ничего, наверное, показного не требовал и тем менее домогался. Он даже отказывался от звания генерал-адъютанта, говоря графу Фредериксу, «что такой милости пока еще не заслужил».

Все же нельзя сказать, чтобы к генералу Алексееву в те тяжелые и смутные дни, свита, находившаяся в Ставке, относилась с безусловным доверием и надеждой.

Что-то очень неопределенное, хотя и совершенно неподозрительное, заставляло большинство из нас желать постоянной, а не временной лишь в виду болезни генерала Алексеева, замены его генералом Гурко, обладавшим, по нашему разумению, более решительными качествами характера и более прочно сложившимися традициями, чем генерал Алексеев, нуждавшийся к тому же в продолжительном отдыхе.

Желание это высказывалось неоднократно в наших интимных беседах за последние месяцы, было, конечно, совершенно далеким даже от намека на какую-либо интригу и осталось в числе тех многих платонических пожеланий, которыми мы иногда себя тешили в те дни.

В субботу 25 февраля была наша последняя продолжительная прогулка с государем по живописному могилевскому шоссе к часовне, выстроенной в память сражения в 1812 году, бывшего между нашими и Наполеоновскими войсками.

Был очень морозный день, с сильным леденящим ветром, но государь, по обыкновению, был лишь в одной защитной рубашке, как и все мы, его сопровождавшие. Его величество был спокоен и ровен, как всегда, хотя и очень задумчив, как все последнее время. Навстречу нам попадалось много людей, ехавших в город и с любопытным недоумением смотревших на нас.

Помню, что во время этой прогулки его величество сообщил нам, что получил печальное известие о том, что великая княжна Анастасия Николаевна заболела корью, и что теперь из всей семьи только Мария Николаевна еще на ногах, но что он опасается, что и она скоро разделит участь своих сестер.

Вечером в этот день государь был по обыкновению у всенощной. В воскресенье, 26 февраля утром, как всегда, пешком в сопровождении свиты, его величество отправился в штабную церковь к обедне, и, как всегда, большая

толпа собралась по сторонам прохода и на площади, чтобы посмотреть на царя.

После церкви государь пошел на занятия в штаб, где оставался очень долго. Прогулки в этот день не было, чем я воспользовался и прошел в Могилевскую городскую думу, где находились портреты императора Павла работы Боровиковского, с которых я просил нашего фотографа Гана снять фотографии, так как намеревался заказать с этих портретов копии, в замен сгоревших у меня вместе с домом таких же точно картин Боровиковского. Мне этих портретов было более жаль, чем самого дома, так как они были единственными в своем роде.

Я тогда еще мог думать о таких мелочах и даже строить предположения о близком будущем.

Вечер этого последнего, относительно спокойного для меня, дня прошел обычным порядком. В виду воскресения, посторонних докладов не было, и после долгого промежутка, мы — адмирал Нилов, граф Граббе и я, по предложению его величества, сыграли две партии в домино, но государю, видимо, было не по себе, и мы вскоре разошлись.

В понедельник 27 февраля я был дежурным при его величестве. Утром государь отправился, по обыкновению, в штаб, где и оставался необычно долго.

В ожидании выхода государя от генерала Алексеева, я прошел в одну из комнат генерал-квартирмейстерской части, где встретил генерала Лукомского, бывшего тогда генерал-квартирмейстером в Ставке.

Он был, видимо, чем-то очень взволнован и удручен. На мой вопрос, «что нового и что случилось», он ответил, что «на фронте, слава богу, ничего худого, но что ночью получилось известие, что в Петрограде со вчерашнего дня начались сильные беспорядки среди рабочих, что толпа громит лавки, требует хлеба и настолько буйствует, что приходится употреблять в дело войска, среди которых много ненадежных».

Генерал Беляев, бывший тогда военным министром, хотя и успокаивает, что беспорядки будут прекращены, но генерал Хабалов, командующий войсками округа, говорит другое и просит подкреплений, так как не надеется на свои запасные части.

Была получена и телеграмма от Родзянки, указывавшего, что единственная возможность прекратить беспорядки — это немедленное формирование ответственного министерства.

По имевшимся сведениям, в то время из-за снежных заносов Петроград был обеспечен продовольствием на восемь дней, а войска северного фронта на пол-месяца. Госу-

дарь оставался долго у генерала Алексеева и вернулся, опоздав к завтраку, озабоченный. Иностранные представители, вероятно, уже получившие тревожные сведения, были очень смущены, но, видимо, и они надеялись, что беспорядки будут вскоре прекращены. По крайней мере, они это высказывали довольно искренно и убежденно.

После завтрака, около двух часов дня, когда я спускался по лестнице вместе со всеми приглашенными, чтобы пойти на свободный час домой, на нижней плещадке меня остановил с крайне озабоченным видом дежурный полковник штаба, кажется Гюленбегель, с открытыми телеграммами в руке. «Генерал Алексеев» — обратился он ко мне — «приказал передать лично вам эти телеграммы и просит вас, чтобы вы лично же, не передавая никому другому, немедленно же доложили его величеству». На мой вопрос, что это за телеграммы, полковник отвел меня в сторону, к окну, и сказал: «вот прочтите сами, что делается в Петрограде. Сейчас, когда я уходил из штаба, я мельком видел, что получились и еще более ужасные известия».

Я наскоро, взволнованный, просмотрел протянутые мне телеграммы: их было две, одна от генерала Беляева, другая от генерала Хабалова, обе на имя начальника штаба для доклада государю. В обеих говорилось почти одно и то же, что войска отказываются употреблять оружие и переходят на сторону бунтующей черни; что взбунтовались запасные батальоны гренадерского и волынского полков, перебили часть своих офицеров и что волнения охватывают и другие части. Они прилагают все усилия, чтобы с оставшимися немногими верными присяге частями подавить бунтующих, но что положение стало угрожающим и необходима немедленная помощь.

«Генерал Алексеев», добавил мне штаб-офицер, «уже докладывал утром его величеству о серьезности положения, и подкрепления будут посланы, но с каждым часом положение становится все хуже и хуже».

Не буду говорить, что перечувствовал я в эти три-четыре минуты, читая такие неожиданные для меня известия и подымаясь наверх к кабинету государя. Я постучал и вошел. . . . .

Его величество стоял около своего письменного стола и разбирал какие-то бумаги. «В чем дело, Мордвинов?», спросил государь. Наружно он был совершенно спокоен, но я чувствовал по тону его голоса, что ему не по себе, и что внутренно его что-то очень заботит и волнует. «Ваше величество», начал я, «генерал Алексеев просил вам представить эти, только что полученные телеграммы... они

ужасны... в Петрограде с запасными творится что-то невозможное»...

Государь молча взял телеграммы, бегло просмотрел их, положил на стол и немного задумался. «Ваше величество, что прикажете передать генералу Алексееву» прервал я эту мучительную до физической боли паузу. «Я уже знаю об этом и сделал нужные распоряжения генералу Алексееву. Надо надеяться, что все это безобразие будет скоро прекращено», ответил с сильной горечью и немного раздраженно государь.

«Ваше величество, мне дежурный штаб-офицер сказал, что видел в штабе новые, уже после этих полученные телеграммы, где говорится, что положение стало еще хуже, и просят поторопить присылкою подкреплений...

«Я еще увижу генерала Алексеева и переговорю с ним», спокойно, но, как мне почувствовалось, тоже довольно нетерпеливо сказал государь и снова взял со стола положенные телеграммы, чтобы их перечитать.

Я вышел, как сейчас помню, с мучительной болью за своего дорогого государя, со жгучим стыдом за изменившие ему и родине, хотя и запасные, но все же гвардейские части.

Я хотел верить и успокаивал себя, что присланные настоящие военные части сумеют восстановить порядок и образумить свихнувшихся мирных тыловиков... Я не помню, как прошел остаток этого тяжелого волнующего дня.

Помню только, что генерал Алексеев приходил с коротким докладом к государю и затем его величество сам отправился в штаб с телеграммой на имя председателя совета министров князя Голицына, в которой не соглашался, в виду создавшегося положения, на испрашиваемые перемены в составе правительства. Генерал Алексеев был очень болен, вид у него был лихорадочный, он был апатичен и угнетен. Он мне сказал, что получены были еще телеграммы от Родзянко и князя Голицына. Первый просил вновь о сформировании ответственного министерства, второй об отставке.

Вечером, около десяти часов, во время чая, когда ни граф Фредерикс, ни Воейков обыкновенно не появлялись, они оба неожиданно вошли к нам в столовую. Граф Фредерикс приблизился к государю и попросил разрешения доложить о чем-то срочном, полученном из Царского Села. Его величество встал и вышел вместе с ним и Воейковым в соседнее зало, где доклад и переговоры продолжались довольно долго. Государь затем вернулся к нам один, но был видимо очень озабочен и вскоре удалился в свой кабинет, не сказав нам ни слова.

Мы совершенно не знали, в чем заключался неурочный доклад министра двора, но, судя по озабоченности государя, и по отрывкам долетавшего до нас разговора, догадывались, что положение в Царском Селе становилось серьезным и опасным, о чем сообщал по телефону из Александровского дворца граф Бенкендорф.

Встревоженные мы начали расходиться по своим помещениям, а проф. Федоров отправился к графу Фредериксу, чтобы узнать подробности волновавших нас событий. Внизу, в передней, ко мне подошел скороход Климов и предупредил, что, по имевшимся у него сведениям, на завтра утром назначено наше отбытие в Царское Село, что час отъезда еще не установлен и будет сообщен дополнительно, но что всей свите приказано готовиться к отъезду.

Я направился к себе в гостиницу Франция, чтобы отдать распоряжения своему старику Луксену, и к своему удивлению нашел его уже почти готовым к отъезду, с уложенными вещами, ожидающим присылки автомобиля, чтобы ехать на вокзал.

Оказывается, что за несколько минут до моего прихода было передано по телефону извещение всем быть немедленно готовыми к отъезду, так как императорский поезд отойдет не завтра утром, а сегодня же, около 12 час. ночи.

Было уже около половины двенадцатого. Я был дежурным и потому поспешил вернуться в губернаторский дом.

Внизу шла обычная перед отъездом суматоха; наверху, в полуосвещенном большом зале, перед кабинетом государя было пусто и мрачно. Пришел и генерал Алексеев, чтобы проститься с его величеством. Он оставался довольно долго в кабинете и наконец вышел оттуда. На вид был еще более измучен, чем днем. Его сильно лихорадило, он совсем осунулся и говорил апатично, но прощаясь оживился и, как мне показалось, с особенной сердечностью пожелал нам счастливого пути, добавив: «напрасно все-таки государь уезжает из Ставки, в такое время лучше оставаться здесь. Я пытался его отговорить, но его величество очень беспокоится за императрицу и за детей, и я не решился очень уж настаивать».

На мой вопрос, не наступило ли улучшение в Петрограде, Алексеев только безнадежно махнул рукою: «какое там, еще хуже. Теперь и моряки начинают и в Царском уже началась стрельба».

«Что же теперь делать?», спросил я волнуясь.

«Я только что говорил государю», отвечал Алексеев. «Теперь остается лишь одно: собрать порядочный отряд где-нибудь примерно около Царского и наступать на бунтующий Петроград. Все распоряжения мною уже сделаны.

но конечно, нужно время... пройдет не менее пяти-шести дней, пока все части смогут собраться. До этого с малыми силами ничего не стоит и предпринимать».

Генерал Алексеев говорил все это таким утомленным голосом, что мне показалось, что он лично сам не особенно верит в успешность и надежность предложенной меры.

«Ну, дай вам всем бог всего лучшего в вашей поездке», в заключение немного оживляясь сказал он, «чтобы все кончилось у вас благополучно. На всякий случай впереди вас пойдет Георгиевский батальон с Ивановым, но вряд ли вам будет возможность выехать ранее утра, ведь надо время, чтобы уведомить все пути о вашем маршруте»...

Двери кабинета раскрылись и вышел государь, уже одетый в походную, солдатского сукна, шинель и папаху. Его величество еще раз простился с генералом Алексеевым, пожав ему руку, сел в автомобиль с графом Фредериксом, я сел в другой с дворцовым комендантом Воейковым, и мы поехали на вокзал. Было уже около часа ночи. В. Н. Воейков по дороге, как всегда, был неразговорчив о служебных делах и на мои попытки подробнее узнать, чем вызван такой внезапный отъезд, отвечал многозначительным молчанием или уклончиво; с раздражением отзывался о Родзянке и К° и был убежден, что генерал Иванов сумеет справиться с бунтующими запасными.

Этим же иллюзиям невольно поддавался и я... Без них было бы слишком тяжело на душе...

При входе в поезд нас встретил дожидавшийся у вагона генерал-адъютант Иванов, спокойный, видимо уверенный в себе и в возможности справиться с бунтом и защитить царскую семью. Впоследствии он мне довольно подробно рассказывал о своем вынужденном тогда бездействии. К сожалению туманный и неопределенный рассказ его не сохранился хорошо в моей памяти. Вспоминаю только то, что он рассказывал о полученной им 2 марта телеграмме от государя, предписывавшей ему ничего не предпринимать до возвращения его величества в Царское, а также высказывал искреннее удовлетворение, что его действия «не вызвали пролития ни одной капли русской крови», что было бы полным отчаянием для ее величества, которую он посетил немедленно после своего беспрепятственного прибытия в Царское Село.

Генерал Иванов вошел в вагон вместе с государем и оставался долго у его величества, Георгиевский батальон был уже погружен и должен был отправиться раньше нас по более ближнему направлению на Витебск — Царское Село.

Проходя в свое купэ, я зашел в отделение профессора Федорова, где были и другие мои сослуживцы. Из разговоров выяснилось, что наш внезапный отъезд вызван был сильным беспокойством государя за императрицу и больных детей, так как Царское Село с утра было уже охвачено волнениями, и пребывание там было не безопасно. Государыня через графа Бенкендорфа, гофмаршала, спрашивала у государя по телефону совета, как ей поступить. Ее величество намеревалась сначала выехать в Могилев или по направлению нашего движения, чтобы соединиться в дороге; но после вечерних переговоров графа Фредерикса с государем было решено, чтобы вся царская семья, до прибытия генерала Иванова, а затем и нас, оставалась в Царском Селе, или, если бы обстоятельства этого потребовали, переехала в Гатчинский дворец в 40 верстах от Петрограда.

Генерал Лукомский и другие, говоря в своих воспоминаниях об отъезде государя из Могилева, останавливаются на одном предположении, «что, находясь в Могилеве государь, якобы, не чувствовал твердой опоры в своем начальнике штаба генерале Алексееве и надеялся найти более твердую опору в генерале Рузском в Пскове».

Это, конечно, совершенно далеко от действительности. К генералу Рузскому и его прежнему, до генерала Данилова, начальнику штаба генералу Бонч-Бруевичу его величество, как и мы все, относился с безусловно меньшим доверием, чем к своему начальнику штаба, и наше прибытие в Псков явилось вынужденным и совершенно непредвиденным при отъезде. Государь, стремясь возможно скорее соединиться с семьей, вместе с тем стремился быть ближе и к центру управления страною, удаленному от Могилева.

Мы оставались еще долго в купэ у С. П. Федорова, взволнованно строя разные догадки и предположения о разыгравшихся событиях, и узнав, что поезд отойдет не раньше шести утра, наконец разошлись по своим отделениям.

28 февраля утром я проснулся, когда поезд был уже в движении. Погода изменилась, в окно вагона светило солнце и как-то невольно стало спокойнее на душе после мучительной, в полузабытье проведенной ночи.

Размеренная обычная жизнь вступала в свои права, и, хоть ненадолго вместе с надеждой, отгоняла тяжелые мысли от всего того, что совершилось тогда далеко еще за пределами моего уютного вагона.

Я быстро оделся и вышел в столовую. Государь был уже там, более бледный, чем обыкновенно, но спокойно ровный и приветливый, как всегда. Разговор был очень не оживлен и касался самых обыденных вещей. Мы проезжали

замедленным ходом какую-то небольшую станцию, на которой стоял встречный поезд с эшелоном направлявшегося на фронт пехотного полка. Им, видимо, было уже известно о проходе императорского поезда: часть людей с оркестром стояла выстроенная на платформе, часть выскакивала из теплушек и пристроивалась к остальным, часть густой толпой бежала около наших вагонов, заглядывая в окна и сопровождая поезд. Его величество встал из-за стола и подошел к окну. Звуки гимна и громовое «ура», почти такой же искренней силы, как я слышал на последнем смотру запасных в Петрограде, раздались с платформы при виде государя и невольно наполнили меня вновь чувством надежды и веры в нашу великую военную семью и благоразумие русского народа. Но это было только мгновение. Стоявший рядом со мною у окна Нарышкин, отвечая видимо на свои невеселые мысли, шепнул мне тихо: «кто знает, быть может это последнее «ура» государю, которое мы слышим». Мои горячие переживания были облиты холодной водою, но надежда все же не остывала и разум ей не противился. Не хотелось верить, что эти неожиданные тогда радостные переживания, действительно, окажутся последними и что дальше кроме беспросветного мрака длинных годов ничего более уж не будет.

Императорский поезд продолжал беспрепятственно двигаться вперед через Оршу — Смоленск на Вязьму — Лихославль — Бологое и Тосну, согласно маршруту, на этот раз не напечатанному на толстом картоне, а лишь наскоро написанному на клочке бумаги и лежавшему у меня на столе.

На мелькавших станциях и во время остановок текла обычная мирная жизнь и не было даже намека на что-либо революционное. Но агентских телеграмм, как бывало раньше, уже не приносили, и мы не знали, что делается в Петрограде. Генерал Воейков тоже, видимо, не имел сведений и по обычаю шутливо отмалчивался. Из разговоров в течение дня с другими моими товарищами и Нарышкиным я узнал, что была получена утром лишь телеграмма, посланная вслед поезда генералом Алексеевым и уведомлявшая, что восстание разгорается, что Беляев доносит, что остались верными лишь четыре роты и один эскадрон, и он покинул морское министерство, где находился, что необходимо ответственное министерство, что думские деятели, руководимые Родзянко, еще смогут остановить всеобщий развал и что утрата всякого часа уменьшает надежду на восстановление порядка.

Телеграмма была на имя государя, и его величество телеграфировал из поезда Родзянко, назначая его, вместо князя Голицына, председателем совета министров и пред-

лагая ему выехать для доклада на одну из промежуточных станций навстречу императорскому поезду. От Родзянко был уже получен в то время около трех часов дня и ответ, что он выезжает нам навстречу.

Тогда же из разговоров выяснилось, что предполагалось предоставить Родзянко выбор лишь некоторых министров, а министры двора, военный, морской и иностранных дел должны были назначаться по усмотрению государя императора и все министерство должно было оставаться ответственным не перед государственной думой, а перед его величеством. В три часа дня мы прибыли в Вязьму, откуда государь послал государыне телеграмму в Царское Село, уведомляя о скором приезде.

Вечером, около девяти часов, после обеда, мы прибыли в Лихославль, где была назначена остановка. В служебный, задний вагон нашего поезда вошли несколько железнодорожных инженеров и два жандармские генерала, только что прибывшие из Петрограда для встречи и дальнейшего сопровождения императорского поезда по их участку.

Я прошел туда. Генералы рассказывали, что при их отъезда из Петрограда они слышали частые и беспорядочные выстрелы и видели взбунтовавшихся солдат. Говорили также, что, по слухам, много перебито офицеров. По их словам, рабочие и народ очень возбуждены, требуют понижения цен на хлеб и на другие припасы, но что из толпы в течение целого дня не было слышно ни одного резкого слова ни против государя, ни против императрицы и что вообще в толпе «политика» не играла еще главной роли, хотя несомненно, что волнения вызваны искусственно разными политическими проходимцами.

Генералы были очень взволнованы, обеспокоены, говорили о тех мерах предосторожности, которые они приняли для безопасного проезда государя через Тосну в Царское Село, и надеялись, что все обойдется благополучно. Они же сообщили, что, находясь уже в вагоне, на вокзале, для следования к нам, они перед самым своим отъездом увидели, как большая, беспорядочная толпа революционных солдат начала занимать Николаевский вокзал. Что потом было на вокзале после их отъезда — они не знали, так как не могли по дороге соединиться с Петроградом.

Думая с беспокойством о своих, я спросил, что делается в Гатчине, и в частности в Гатчинском дворце, где жила моя семья. Приехавшие в один голос успокоили меня, говоря, что в Гатчине совершенно спокойно, но что в Царском хуже и что было видно, как по дорогам к нему из Петрограда двигались какие-то кучки не то солдат, не то вооруженных рабочих. Они же сообщили, что дума, не-

смотря на указ о роспуске, в виду волнений, постановила не расходиться и что около таврического дворца толчется много народу, солдат и т. п.

Во время этого разговора в служебный вагон вошел кто-то из местных железнодорожных инженеров и, обращаясь ко всем, сказал: «вот, посмотрите, что сейчас получено». Один из жандармских офицеров взял протянутую телеграмму и вполголоса, с трудом разбирая торопливо записанные слова, начал читать. Это была телеграмма, разосланная членом государственной думы Бубликовым по всем железным дорогам и объявлявшая, что по поручению какого-то комитета государственной думы он занял сего числа министерство путей сообщения.

В этой же телеграмме Бубликов объявлял слова приказа Родзянко, обращенные ко всем начальствующим лицам: «Железнодорожники, старая власть, создавшая разруху всех отраслей государственного управления, оказалась бессильной. Государственная дума взяла в свои руки создание новой власти. Обращаюсь к вам от имени отечества (или родины, не помню...), от вас теперь зависит» и т. д.

Я сначала не понял, в чем было дело, и думал, что это Родзянко, уже получивший телеграмму государя, объявляет в громких словах о своем назначении главою правительства и Бубликов, назначенный, вероятно, министром путей сообщения, сообщает о своем вступлении в должность, и даже спросил: «кто это Бубликов?», и помню, что мне кто-то ответил: «это один из думских железнодорожников — всегда стремился играть какую-то роль».

Но видя сначала недоумение, а потом какую-то растерянность остальных и воцарившееся затем молчание, я взял телеграмму и перечитал сам. Помню, что фраза «занял сего числа министерство» меня особенно поразила боевым тоном генерала, уведомлявшего о занятии важной неприятельской крепости. Приевшиеся уже давно слова «приказа» Родзянко о власти, создавшей разруху, о новой власти, необходимой для спасения родины, на меня произвели гораздо меньшее впечатление, и только потом, через несколько мгновений, поняв наконец о каких действиях шла речь, эти слова легли на мое сознание тем гнетущим чувством, от которого я не могу отделаться и до сих пор...

Впечатление от этой телеграммы на остальных, видимо, сказалось не менее сильно, но мне было не до обмена впечатлениями. Я ушел к себе в купэ и забился в угол дивана...

Поезд двинулся дальше и дошел до Бологого.

Новая остановка и новые более определенные, но еще более тяжелые вести: почти все войска взбунтовались, Николаевский вокзал занят восставшими, и одному офицеру

железнодорожного батальона лишь с трудом, без оружия удалось выбраться из Петрограда. Он рассказал, что все же горсть верных солдат и в особенности юнкера Николаевского кавалерийского училища продолжают геройски защищаться, что много офицеров перебито. Любань уже занята какой-то небольшой кучкой революционеров; про занятие Тосно он ничего не знал. Кто-то показал и новую телеграмму и листок, подписанный Родзянко, где объявлялось об образовании временного комитета государственной думы, к которому перешла вся власть от устраненного совета министров, и что этот комитет взял в свои руки восстановление порядка.

О положении Царского ничего не было известно: ожидавшийся навстречу фельдъегерь в Бологое не прибыл. Но путь на Петроград, по справкам, был еще свободен, и выставленная по железнодорожному пути охрана для прохода императорского поезда стояла на своих постах.

Решено было двигаться далее.

Профессору Федорову принесли записку от генерала Дубенского, ехавшего впереди нас в часовом расстоянии в другом служебном поезде, в которой он предупреждал, что, по имеющимся у них сведениям, Тосно также занято, и советовал из Бологого повернуть на Псков.

Было уже поздно, но спать не хотелось. К тому же мы приближались к моей родной Новгородской губернии, и я надеялся увидать в Малой Вишере губернатора или когонибудь из губернского начальства, обыкновенно выезжавших для встречи государя на эту станцию, и от них разузнать, что делается в наших краях: ожидать было еще долго, оставаться одному — невыносимо. Я зашел в купэ к Долгорукову, моему б. товарищу по корпусу, с которым я еще смолоду был очень близок и впоследствии очень любил за его обычную скромность, невозмутимость и всегдашнее более, чем равнодушное отношение ко всем слухам и сплетням, волновавшим большинство.

Он и на этот раз был спокоен и выдержан, как всегда, и занят был своими гофмаршальскими расчетами. Помню, что это мне показалось в те часы чересчур обидным и я даже резко упрекнул его: «Это все ничего», сказал мне своим ровным почти апатичным голосом, — «с этим справимся; а вот подумай-ка лучше, как справиться с немцами-то».

— Как ничего? — воскликнул я, — разве ты не видишь?

— Да, так ничего; это все обойдется, а то пока главное.

И удивительное дело, эти невозмутимые слова, несмотря на всю их неопределенность, как-то сразу успокоили меня своим напоминанием о немцах, о которых я в те часы и совсем забыл

«Быть может и действительно обойдется, не может не обойтись», — подумал я, неисправимый оптимист. «Какая там революция в самом разгаре войны — революции бывают при ее окончании или когда армия бывает приперта к стене. Нам до этого далеко, да и успех не за горами. Это просто бунт, один лишь Петроград с окрестностями бунтует, а кругом ведь все спокойно».

И снова вспомнилась мирная жизнь около тех станций, через которые мы проезжали, вспомнился и восторженно встретивший нас несколько часов назад пехотный эшелон, направлявшийся на фронт.

«Вот войдет Иванов в Петроград с двумя-тремя такими частями, и уж одно их появление приведет там все в порядок», успокаивал я себя и даже радовался, что утром буду со своею взволнованной семьей, которую наверно успокоит мое неожиданно скорое возвращение...

Но мечтам этим было суждено остаться мечтами на час. Поезд замедлил ход. Мы подходили к Малой Вишере Я высунулся из выходной двери и смотрел на приближающуюся станцию. Она была слабо освещена, но на платформе было довольно много народу. На путях стоял какой-то ярко освещенный поезд. Я вышел и столкнулся с генералом Дубенским, ехавшим в служебном вагоне далеко впереди нас.

— Вы какими судьбами остались здесь? — удивленно спросил я.

— Мы все здесь, весь наш поезд, — с озабоченной тревогой ответил Дубенский. «Нам не советуют ехать дальше, так как, по слухам, Любань и Тосно тоже заняты революционерами, и мы решили подождать вас, чтобы спросить, как поступить дальше. Я еще послал об этом записку Сергею Петровичу (Федорову) из Бологого. Получили ли вы ее?»

На платформу вышел генерал Воейков. Его сейчас же обступили разные лица из начальства и начали докладывать. Мне не хотелось присутствовать при служебных разговорах. Было очень холодно, и, не найдя на платформе никого из своих новгородских знакомых и ожидавшегося фельдъегеря, я поспешил войти в служебный вагон нашего поезда, надеясь там получить более подробные сведения о причинах задержки.

Отделение, в котором помещалось сопровождавшее нас железнодорожное начальство, было пусто — все были на платформе. На столе лежала брошенная служебная телеграмма. Я машинально взял ее и прочел: какой-то поручик Греков — называвший себя комендантом Николаевского вокзала,—в резких выражениях и, кажется, с угрозами за не-

исполнение, приказывал, чтобы императорский поезд без захода в Царское был направлен прямым маршрутом в Петроград на Николаевский вокзал в его распоряжение.

Этот «приказ» неизвестного поручика всероссийскому императору, рассмешивший бы меня несколько часов назад, теперь наполнил душу таким тяжелым негодованием, от которого я не скоро мог оправиться. Я вышел снова на платформу и увидел нашего общего любимца, инженера М. Ежова, начальника императорских поездов. Он мне подтвердил, что действительно телеграмма неведомого поручика Грекова была разослана по всей дороге и что, конечно, на нее никто не обращает внимания. И вероятно, по получении уведомления от соседней станции, мы, дав отойти свитскому поезду, скоро двинемся вперед, так как путь не испорчен и пока до Любани свободен. Он добавил, что Тосна и Гатчина, через которые нам приходилось сворачивать на Царское, лишь только по слухам заняты бунтующими и теперь идет проверка этих слухов.

Было уже очень поздно, часов около трех ночи, на утро, согласно маршруту, приходилось рано вставать. Большинство спутников по вагону уже спали, я сам был очень утомлен своими дневными переживаниями. Слова Ежова меня временно успокоили и, не ожидая отправления поезда, я прилег не раздеваясь на приготовленную уже кровать и сейчас же крепко заснул. Спал я, как мне показалось, довольно долго, проснулся около шести утра, когда, по маршруту, мы должны были проходить Гатчину и час, который, засыпая, я мысленно назначил себе для вставания.

Поезд двигался, как мне показалось, более быстро, чем обыкновенно. «Слава богу», — подумал я, — «несмотря на строжайший приказ Грекова, мы все же двигаемся, куда хотим, и скоро будем дома, а не на Николаевском вокзале с его обнаглевшими запасными».

Я выглянул в окошко, надеясь издали разглядеть купола Гатчинского собора, и к изумлению увидел не хорошо знакомые мне окрестности Гатчины, а совершенно неизвестную местность; к тому же поезд двигался не к Петрограду и Гатчине, а в совершенно обратном направлении.

Встревоженный, я вышел в коридор и натолкнулся на генерала Воейкова, в шинели, проходившего из служебного вагона в свое купэ. «Владимир Николаевич, что такое, почему мы едем назад и куда?» — спросил я его. — «Молчите, молчите, не ваше дело», — как-будто шутливо, но с сильным раздражением ответил он и скрылся в своем купэ.

Убеждение В. Н. Воейкова, что он должен знать все, а мы — ничего, и что даже касавшиеся близко нас распоряжения о разных передвижениях, известные мелкому служеб-

ному люду — «не наше дело» — мы знали давно и с этим кое-как свыклись.

Но тогда его столь требовательная таинственность показалась мне особенно неуместной. Видимо, он был сильно взволнован и не хотел этого показывать.

Коридор вагона был пуст, купэ были закрыты; все спали, и только у моего соседа, командира конвоя, графа Граббе, слышалось какое-то движение. Он видимо не спал. Я вошел к нему и узнал, что вскоре после моего возвращения в вагон получилось подтверждение, что Любань уже занята большою толпою взбунтовавшихся солдат, вероятно, испортивших путь и что проехать через Тосну будет нельзя. Было решено поэтому вернуться назад в Бологое и кружным путем через Старую Руссу, Дно и Вырицу проехать в Царское Село. В Бологом была назначена смена паровозной бригады, но машинисты и другие, не смотря на свое утомление, не хотели сменяться и выразили непреклонное намерение ехать с императорским поездом и далее.

Наши железнодорожники свитского поезда разъединили путевой телеграфный провод на Петроград, перевели на другой конец паровоз, и наш поезд быстрым ходом двинулся назад. Теперь мы приближались снова к Бологому. Впереди нас не было уже никого — служебный поезд остался позади и следовал в близком расстоянии за нами. О непредусмотренном движении императорского поезда предупреждались только соседние станции.

Началась среда, 1 марта, новый тяжелый день, когда томительные передвижения не облегчались уже ни надеждой на скорое окончание бунта, ни мыслью о скором свидании с семьей.

День был ясный, чувствовалось начало весны, на станциях и в частности в Старой Руссе текла обычная мирная жизнь, задержек в пути не было, государь не выходил во время остановок для прогулки, и то короткое время, которое мы обыкновенно проводили с его величеством, ничем не отличалось в разговорах от обыденных нетревожных дней.

Не легко, конечно, было и нам и ему говорить о ничтожных вещах, поддерживать разговор и лишь думать о том, что так мучительно волновало каждого из нас и его в особенности.

В течение дня получилось благоприятное известие, что генерал Иванов со своим эшелоном благополучно, без задержки проследовал через Дно и должен был быть уже в Царском Селе, откуда все еще сведений не было. Получилась и непонятная телеграмма от Родзянко, ожидавшегося на станцию Дно и кратко уведомлявшего, что «по изме-

нившимся обстоятельствам он выехать навстречу его величеству не может».

До получения этой телеграммы и до прибытия нашего на станцию Старой Руссы, никаких предположений о перемене нашего маршрута на Псков не было и лишь по приезде на эту станцию получилось известие, что мост по Виндавской дороге якобы испорчен или ненадежен, и только тогда было решено двигаться на Псков и оттуда по Варшавской дороге прямым путем через Лугу и Гатчину на Царское Село.

Тогда была послана и новая телеграмма Родзянко, уведомлявшая о перемене маршрута и снова предлагавшая ему выехать навстречу в Псков. В этом городе находился штаб северного фронта, генерала Рузского, и оттуда можно было связаться прямым проводом с Петроградом, ставкой и Царским Селом и выйти, наконец, из той тревожной неизвестности, которая нас окружала с вчерашнего вечера.

Остановка в Пскове, о которой с пути был уведомлен и генерал Рузский, предполагалась поэтому непродолжительной и ставилась в зависимость лишь от своевременного прибытия Родзянко и от времени, необходимого для переговоров по прямому проводу с Царским Селом и со Ставкой.

Был уже вечер, около семи с половиной часов, когда императорский поезд подходил к Пскову. Будучи дежурным флигель-адъютантом, я стоял у открытой двери площадки вагона и смотрел на приближающуюся платформу. Она была почти не освещена и совершенно пустынна. Ни военного ни гражданского начальства (за исключением кажется губернатора), всегда задолго и в большом числе собиравшегося для встречи государя, на ней не было.

Где-то по средине платформы находился, вероятно, дежурный помощник начальника станции, а на отдаленном конце виднелся силуэт караульного солдата.

Поезд остановился. Прошло несколько минут. На платформу вышел какой-то офицер, посмотрел на наш поезд и скрылся. Еще прошло несколько минут, и я увидел, наконец, генерала Рузского, переходящего рельсы и направляющегося в нашу сторону. Рузский шел медленно, как бы нехотя и, как нам всем невольно показалось, будто нарочно не спеша. Голова его, видимо в раздумьи, была низко опущена. За ним, немного отступя, генерал Данилов и еще два-три офицера из его штаба. Сейчас же было доложено, и государь его принял, а в наш вагон вошли генерал Данилов с другим генералом, расспрашивая об обстоятельствах

нашего прибытия в Псков и о дальнейших наших намерениях.

«Вам все-таки вряд ли удастся скоро проехать в Царское», сказал Данилов, «вероятно придется здесь выжидать или вернуться в Ставку. По дороге неспокойно и только что получилось известие, что в Луге вспыхнули беспорядки и город во власти бунтующих солдат».

Об отъезде Родзянко в Псков в штабе ничего не было известно; он оставался еще в Петрограде; но были получены от него телеграммы, что в городе началось избиение офицеров и возникло якобы страшное возбуждение против государя и что весь Петроград находится во власти взбунтовавшихся запасных.

Генерал Данилов был мрачен и, как всегда, очень неразговорчив.

Рузский недолго оставался у государя и вскоре пришел к нам, кажется, в купэ Долгорукова и, как сейчас помню, в раздраженном утомлении откинулся на спинку дивана.

Граф Фредерикс и мы столпились около него, желая узнать, что происходит по его сведениям в Петрограде и какое его мнение о всем происходящем.

«Теперь уже трудно что-нибудь сделать», с раздраженной досадой говорил Рузский, «давно настаивали на реформах, которых вся страна требовала... не слушались... голос хлыста Распутина имел больший вес... вот и дошли до Протопопова, до неизвестного премьера Голицына... до всего того, что сейчас... посылать войска в Петроград уже поздно, выйдет лишнее кровопролитие и лишнее раздражение... надо их вернуть»...

«Меня удивляет, при чем тут Распутин», спокойно возразил граф Фредерикс. «Какое он мог иметь влияние на дела? Я, например, даже совершенно его не знал».

«О вас, граф, никто не говорит, вы были в стороне», вставил Рузский.

«Что же по вашему теперь делать?» спросило несколько голосов.

«Что делать?», переспросил Рузский, «теперь придется, быть может, сдаваться на милость победителя».

Что дальше говорил Рузский — я не помню; кажется ничего, так как вошедший скороход доложил, что государь собирается выходить к обеду, и мы все направились в столовую. Я чувствовал только известное его пренебрежение к нам, к «придворным», не отдававшим себе отчета в происходящих событиях. Разбирался ли он в них сам — вот что шевелилось в моих мыслях после его слов о необходимости вернуть войска.

Обед, хотя и короткий, тянулся мучительно долго. Моим соседом был Данилов, и я с ним не сказал ни одного слова. Остальным тоже было, видимо, не по себе.

Государь спокойно поддерживал разговор с Рузским и графом Фредериксом, сидевшими рядом с его величеством.

После обеда Рузский через несколько времени снова был принят государем, оставался у государя очень поздно, заходя в промежутке доклада ненадолго к нам в вагон, в отделение к графу Фредериксу, с которым вел какие-то служебные разговоры. Был ли там также и Воейков, я не помню. Когда Рузский ушел, граф в разговоре с нами сообщил, что соединиться с Царским не удалось, но что генерал Рузский намеревается переговорить по прямому проводу с Родзянко, спросить, почему он не приехал, узнать, что делается в Петрограде и просить приехать все-таки в Псков. Граф Фредерикс добавил, что до получения ответа мы остаемся на неопределенное время в Пскове и во всяком случае не уедем до следующего утра.

В тот же вечер мы узнали, что государь выразил согласие на назначение ответственного министерства уже вполне по выбору председателя думы, о чем Рузский также собирался сообщить Родзянко. Вот все, что сделалось нам известным в этот день. Приходилось ждать результатов переговоров. Было очень поздно, чуть ли не около двух часов ночи, а Рузский все не приходил. И мы, наконец, после долгих ожиданий, разошлись по своим отделениям.

Из тех немногих отрывочных фраз, которыми в моем присутствии обменялись Рузский с В. Н. Воейковым, ясно сквозило его пренебрежительное отношение к последнему; в свою очередь и генерал Воейков своими полушутливыми фразами давал понять Рузскому, что преувеличивать простой бунт в мировое событие еще преждевременно.

Утром, в четверг, 2-го марта, проснувшись очень рано, я позвонил моего старика Луксена и спросил у него, нет ли каких-либо указаний об отъезде и в котором часу отойдет наш поезд. Он мне сказал, что пока никаких распоряжений об этом отдано не было, и что по словам скорохода, мы вряд ли ранее вечера уедем из Пскова. Это меня встревожило, я быстро оделся и отправился пить утренний кофе в столовую. В ней находились уже Кира Нарышкин, Валя Долгорукий и профессор Федоров. Они, как и я, ничего не знали ни об отъезде, ни о переговорах Рузского и высказывали предположение, что, вероятно, прямой провод был испорчен и переговоры поэтому не могли состояться.

Государь вышел позднее обыкновенного. Он был бледен и, как казалось по лицу, очень плохо спал, но был спокоен

и приветлив, как всегда. Его величество недолго оставался с нами в столовой и, сказав, что ожидает Рузского, удалился к себе. Скоро появился и Рузский и был сейчас же принят государем, мы же продолжали томиться в неизвестности почти до самого завтрака, когда, не помню от кого, мы узнали, что Рузскому после долгих попыток лишь поздно ночью удалось, наконец, соединиться с Родзянко. Родзянко сообщал, что не может приехать, так как присутствие его в Петрограде необходимо, так как царит всеобщая анархия и слушаются лишь его одного. Все министры арестованы и по его приказанию переведены в крепость. На уведомление о согласии его величества на сформирование ответственного министерства Родзянко отвечал, что «уже слишком поздно, так как время упущено. Эта мера могла бы улучшить положение два дня назад, а теперь уже ничто не может сдержать народные страсти». Тогда же мы узнали, что по просьбе Родзянко Рузский испросил у государя разрешение приостановить движение отрядов, назначавшихся на усмирение Петрограда, а генералу Иванову государь послал телеграмму ничего не предпринимать до приезда его величества в Царское Село.

После завтрака, к которому никто приглашен не был, распространился слух, что вместо Родзянки к нам для каких-то переговоров выезжают члены Думы Шульгин и Гучков, но прибудут в Псков только вечером. Присутствие в этой депутации Шульгина, которого я хотя и не знал лично, но который был мне известен по своим твердым монархическим убеждениям, помню, меня даже отчасти успокоило. Было уже около половины третьего дня. Я спросил у проходившего мимо скорохода Климова, не собирается ли государь выйти в это обычное время на прогулку, но Климов сказал, что к его величеству прошли только что генерал Рузский и еще два штабных генерала с бумагами, вероятно, для доклада о положении на фронте, и что государь их принимает не у себя в кабинете, а в салоне [1]).

Я вышел один, походил немного по пустынной платформе, чтобы посмотреть, не прибыл ли какой-нибудь поезд из Петрогдада, и вскоре вернулся в свой вагон, где в купэ С. П. Федорова собрались почти все мои товарищи по вагону, за исключением графа Фредерикса.

Не помню, сколько времени мы провели в вялых разговорах, строя разные предположения о создавшейся неопределенности, когда возвращавшийся из вагона государя граф Фредерикс остановился в коридоре у дверей нашего

---

[1]) Генералы Ю. Н. Данилов и С. С. Саввич.

купэ и почти обыкновенным голосом по-французски сказал «Savez vous, l'Empereur a abdiqué».

Слова эти заставили нас всех вскочить...

Я лично мог предположить все, что угодно, но отречение от престола столь внезапное, ничем пока не вызванное, не задуманное только, а уж исполненное, показалось такой кричащей несообразностью, что в словах преклонного старика Фредерикса в первое мгновение почудилось или старческое слабоумие или явная путаница.

«Как, когда, что такое, да почему?» — послышались возбужденные вопросы. Граф Фредерикс на всю эту бурю восклицаний, пожимая сам недоуменно плечами, ответил только: «Государь получил телеграммы от главнокомандующих... и сказал, что раз войска этого хотят, то не хочет никому мешать».

«Какие войска хотят? Что такое? Ну, а вы что же, граф, что вы-то ответили его величеству на это?»

Опять безнадежное пожимание плечами: «что я мог изменить? Государь сказал, что он решил это уже раньше и долго об этом думал»..

«Не может этого быть, ведь у нас война». «Отречься так внезапно, здесь в вагоне и перед кем и отчего, да верно ли это, нет ли тут какого-либо недоразумения граф?» — посыпались снова возбужденные возражения со всех сторон, смешанные и у меня с надеждой на путаницу и на возможность еще отсрочить только что принятое решение.

Но, взглянув на лицо Фредерикса, я почувствовал, что путаницы нет, что он говорит серьезно, отдавая себе отчет во всем, так как и он сам был глубоко взволнован и руки его дрожали.

«Государь уже подписал две телеграммы», ответил Фредерикс — «одну Родзянке, уведомляя его о своем отречении в пользу наследника при регентстве Михаила Александровича и оставляя Алексея Николаевича при себе до совершеннолетия, а другую о том же Алексееву в Ставку, назначая вместо себя верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича»...

«Эти телеграммы у вас, граф, вы еще их не отправили?» — вырвалось у нас с новой, воскресавшей надеждой.

«Телеграммы взял у государя Рузский» — с какой-то, как мне показалось, безнадежностью ответил Фредерикс и, чтобы скрыть свое волнение, отвернулся и прошел в свое купэ.

Бедный старик, по его искренним словам, нежно любивший государя, как «сына», заперся в своем отделении, а мы

все продолжали стоять в изумлении, отказываясь верить в неотвратимость всего нахлынувшего. Кто-то из нас прервал, наконец, молчание, кажется это был Граббе и, отвечая нашим общим мыслям, сказал: «Ах, напрасно эти телеграммы государь отдал Рузскому, это, конечно, все произошло не без интриг; он-то уж их, наверно, не задержит и поспешит отправить; а может быть Шульгин и Гучков, которые скоро должны приехать, и сумеют отговорить и иначе повернуть дело. Ведь мы не знаем, что им поручено и что делается там у них; пойдемте сейчас к графу, чтобы он испросил у государя разрешение потребовать эти телеграммы от Рузского и не посылать их хотя бы до приезда Шульгина». Мы все пошли к Фредериксу и убедили его. Он немедленно пошел к государю и через несколько минут вернулся обратно, сказав, что его величество приказал сейчас же взять телеграммы от Рузского и передать ему; что они будут посланы только после приезда членов думы.

Как я уже сказал, к генералу Рузскому мы никогда не чувствовали особой симпатии, а с первой минуты нашего прибытия в Псков, относились к нему с каким-то инстинктивным недоверием и опаской, подозревая его в желании сыграть видную роль в развертывающихся событиях.

Поэтому мы просили Нарышкина, которому было поручено отобрать телеграммы, чтобы он ни на какие доводы Рузского не соглашался и, если бы телеграммы начали уже передавать, то снял бы их немедленно с аппарата.

Нарышкин отправился и скоро вернулся с пустыми руками. Он сообщил, что одну телеграмму, Родзянке, хотя и начали уже отправлять, но начальник телеграфа обещал попытаться ее задержать, а другую — в Ставку — не отправлять, но что Рузский их ему все же не отдал и сам пошел к государю, чтобы испросить разрешение удержать эти телеграммы у себя, и обещал их не отправлять до приезда Гучкова и Шульгина. Уходя от его величества, Рузский сказал скороходам, чтобы прибывающих депутатов направили предварительно к нему, а затем уже допустили их до приема государем. Это обстоятельство взволновало нас необычайно; в желании Рузского настоять на отречении и не выпускать этого дела из своих рук не было уже сомнений.

Мы вновь пошли к Фредериксу просить настоять перед его величеством о возвращении этих телеграмм, а профессор Федоров, по собственной инициативе, как врач, направился к государю. Было около четырех часов дня, когда Сергей Петрович вернулся обратно в свое купэ, где большинство из нас его ожидало. Он нам сказал, что вышла перемена, и что все равно прежних телеграмм теперь нельзя

посылать: «я во время разговора о поразившем всех событии, — пояснил он, — спросил у государя: — «разве, ваше величество, вы полагаете, что Алексея Николаевича оставят при вас и после отречения»? — «А отчего же нет?», с некоторым удивлением спросил государь. — Он еще ребенок и естественно должен оставаться в своей семье пока не станет взрослым. До тех пор будет регентом Михаил Александрович».

«Нет, ваше величество», — ответил Федоров, — «это вряд ли будет возможно, и по всему видно, что надеяться на это вам совершенно нельзя».

Государь, по словам Федорова, немного задумался и спросил: «скажите, Сергей Петрович, откровенно, как вы находите, действительно ли болезнь Алексея такая неизлечимая»...

«Ваше величество, наука нам говорит, что эта болезнь неизлечима, но многие доживают при ней до значительного возраста, хотя здоровье Алексея Николаевича и будет всегда зависеть от всякой случайности».

«Когда так» — как бы про себя сказал государь — «то я не могу расстаться с Алексеем. Это было бы уж сверх моих сил... к тому же, раз его здоровье не позволяет, то я буду иметь право оставить его при себе»...

Кажется, на этих словах рассказа, потому что других я не запомнил, вошел к нам в купэ граф Фредерикс, сходивший во время нашего разговора к государю, и сообщил, что его величество приказал потребовать от Рузского задержанные им обе телеграммы, не упоминая ему, для какой именно это цели.

Нарышкин отправился вновь и на этот раз принес их обратно, кажется, вместе с какой-то другой телеграммой о новых ужасах, творящихся в Петрограде, которую уже одновременно дал Рузский для доклада его величеству.

Я не помню, что было в этой телеграмме, так как вошедший скороход доложил, что государь, после короткой прогулки, уже вернулся в столовую для дневного чая, и мы все направились туда.

С непередаваемым тягостным чувством, облегчавшимся все же мыслью о возможности еще и другого решения, входил я в столовую. Мне было и физически больно увидеть моего любимого государя после нравственной пытки, вызвавшей его решение, но я и надеялся, что обычная сдержанность и ничтожные разговоры о посторонних, столь «никчемных» теперь вещах, прорвутся, наконец, в эти трагические минуты чем-нибудь горячим, искренним, заботливым, дающим возможность сообща обсудить положение; что теперь в столовой, когда никого кроме ближайшей

свиты не было, государь невольно и сам упомянет об обстоятельствах, вызвавших его ужасное решение. Эти подробности нам были совершенно неизвестны и так поэтому непонятны. Мы к ним были не только не подготовлены, но, конечно, не могли и догадываться, и только кажется граф Фредерикс и В. Н. Воейков были более или менее осведомлены о переговорах Рузского и о последних телеграммах, полученных через Рузского и генерала Алексеева от командующих фронтами.

Нас, по обычаю, продолжали держать в полной неизвестности, и вероятно, по привычке же даже и на этот раз забыли о нашем существовании. А мы были такие же русские, жили тут же рядом, под одной кровлей вагона, и также могли волноваться, страдать и мучиться не только за себя, как «пустые и в большинстве эгоистичные люди», но и за нашего государя, за нашу Россию.

Но, войдя в столовую и сев на незанятое место, с краю стола, я сейчас же почувствовал, что и этот час нашего обычного общения с государем пройдет точно так же, как и подобные часы минувших «обыкновенных» дней...

Шел самый незначительный разговор, прерывавшийся на этот раз только более продолжительными паузами...

Рядом была буфетная, кругом ходили лакеи, подавая чай, и может быть их присутствие и заставляло всех быть такими же «обычными» по наружности, как всегда.

Государь сидел спокойный, ровный, поддерживал разговор, и только по его глазам, печальным, задумчивым, как-то сосредоточенным, да по нервному движению, когда он доставал папиросу, можно было чувствовать, насколько тяжело у него на душе...

Ни одного слова, ни одного намека на то, что всех нас мучило, не было, да, пожалуй и не могло быть произнесено. Такая обстановка заставляла лишь уходить в себя, несправедливо негодовать на других, «зачем говорят о пустяках» и мучительно думать: «когда же, наконец, кончится это сидение за чаем».

Оно, наконец, кончилось. Государь встал и удалился к себе в вагон. Проходя за ним последним по коридору, мимо открытой двери кабинета, куда вошел государь, меня так и потянуло войти туда, но шедший впереди граф Фредерикс или Воейков уже вошел раньше с каким-то докладом.

Мы все собрались опять вместе в купэ адмирала Нилова, и В. Н. Воейков был также с нами. Он был, как чувствовалось, не менее нас удручен, но умел лучше нас скрывать свои волнения и переживания. От него мы, наконец, узнали, что Родзянко, ночью в переговорах с Рузским, про-

сил отменить присылку войск, так как «это бесполезно, вызовет лишнее кровопролитие, а войска все равно против народа драться не будут и своих офицеров перебьют». Родзянко утверждал, что единственный выход спасти династию — это добровольное отречение государя от престола в пользу наследника при регентстве великого князя Михаила Александровича.

Генерал Алексеев также телеграфировал, что и по его мнению создавшаяся обстановка не допускает иного решения, и что каждая минута дорога, и он умоляет государя, ради любви к родине, принять решение «которое может дать мирный и благополучный исход».

Появились, не помню кем принесенные, несчастные телеграммы Брусилова, Эверта, Сахарова и поступившая уже вечером телеграмма адмирала Непенина.

Телеграммы великого князя Николая Николаевича с Кавказа при этом не было. Она, кажется, оставалась у его величества, но, как нам кто-то сказал, и великий князь в сильных выражениях умолял государя принять это же решение.

Тогда же впервые прочитали мы и копии телеграмм, переданных еще днем Рузскому и возвращенных последним Нарышкину.

Вот их текст:

Председателю Государственной Думы.

Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына, с тем, чтобы оставался при мне до совершеннолетия, при регентстве брата моего великого князя Михаила Александровича.

Николай».

Наштаверх. Ставка.

«Во имя блага, спокойствия и спасения горячо любимой России я готов отречься от престола в пользу моего сына. Прошу всех служить ему верно и нелицемерно.

Николай».

Телеграммы эти говорят сами за себя. Каждый, соответственно своему пониманию и настроению, своему уму и сердцу, сможет сделать из них и собственные выводы.

Я лично читал их тогда в каком-то тумане, не понимая многих фраз и все силясь отыскать в их словах главную побудительную причину, вызвавшую, по сообщению Фредерикса, роковое решение. Слова государя «раз войска

этого хотят» не выходили у меня из головы и, как это ни странно, мне было бы легче на душе, если бы это желание войск там было ясно и категорически выражено: оно оправдывало бы в моих глазах, хотя отчасти, и решимость главнокомандующих послать такие телеграммы его величеству, а также и решимость государя под их впечатлением отказаться от престола.

В подобном же настроении был видимо и генерал Дубенский, который находился не в нашем поезде и до которого весть об отречении дошла значительно позднее, чем до нас. Он появился в нашем вагоне очень растерянный, взволнованный и все как-то задумчиво и недоумевающе повторял: «как же это так, вдруг отречься... не спросить войска, народ... и даже не попытаться поехать к гвардии... Тут в Пскове говорят за всю страну, а может она и не захочет»...

Эти отрывочные рассуждения Дубенского невольно совпали с беспорядочно проносившимися и у меня мыслями. Я сам не знал и не понимал, как все это произошло.

Нам всем, ошеломленным сообщением графа Фредерикса и озабоченным попытками переменить роковое решение — было не до расспросов о подробностях, его вызвавших.

Что-то скажут эти думские посланцы — продолжали тоскливо надеяться все мы. Неужели и они, как главнокомандующие, будут видеть в отречении единственную возможность восстановления порядка. Ведь не все еще потеряно. Телеграмму об отречении удалось задержать, и все может еще повернуться в другую сторону в зависимости от этих переговоров. Ведь в Петрограде настроение меняется, и не даром Рузский так желал, чтобы депутацию провели раньше к нему, не допустив ее непосредственно без него до государя, о чем предупредил и у нас и сделал распоряжение и у себя в штабе и на станции. Он наверное, если депутаты имеют другое поручение, сумеет уговорить их присоединиться к своим настояниям. Надо во что бы то ни стало не допустить их до предварительного свидания с Рузским, а сейчас же, как приедут, провести их к государю.

В необходимости этого были убеждены все мы, и Воейков, по приказанию графа Фредерикса, поручил это мне, как дежурному.

Было уже около семи вечера — час, когда, по имевшимся сведениям, должны были приехать Шульгин и Гучков. Но, выйдя на платформу, я узнал от начальника станции, что их экстренный поезд где-то задержался в пути и что ранее девяти часов вечера они вряд ли прибудут. Сделав распоряжение, чтобы мне сообщили, когда поезд при-

будет на соседнюю станцию, я вернулся в вагон. Было время обеда, все были уже в столовой, и я поспешил туда. То же тяжелое настроение и то же раздражение от невольной беспомощности, как и за дневным чаем, охватило меня. Все продолжало быть, по крайней мере, наружно, как бывало и в обыкновенные дни...

Опасаясь пропустить прибытие депутатов, я не досидел до конца обеда, а вышел на платформу, увидя, что на станцию пришел какой-то поезд. Это был пассажирский поезд, направлявшийся с юга в Петроград. Стало известно, что он задержится в Пскове по какой-то причине и отправится далее не ранее, как через час. Поезд был переполнен, и масса народу высыпала на платформу, с любопытством рассматривая императорский поезд, стоявший невдалеке. Несмотря на то, что толпа пассажиров знала, что находится вблизи царя, она держала себя отнюдь не вызывающе, а с обычным почтительным вниманием, как это я успел заметить, оставаясь долго на платформе и прогуливаясь среди пассажиров в надежде увидать кого-либо из знакомых. О «всеобщей ненависти к династии», о которой с таким убеждением сообщал Родзянко, тут не было и помина.

Войдя к себе, я узнал, что профессор Федоров с этим же поездом отправляет своего человека с письмом к семье, так как телеграф с Петроградом частных телеграмм уже не принимал. Это обстоятельство напомнило мне о моих, о которых я тогда забыл. Я воспользовался добрым предложением Сергея Петровича и наскоро набросал записку жене, убеждая ее не волноваться и уведомляя, что мы задержались ненадолго в Пскове и что, вероятно, скоро увидимся. Письмо я просил опустить на вокзале в Гатчине, где жила моя семья. Записку эту жена моя так и не получила.

Было уже около девяти часов вечера. Снова показался поезд, на этот раз подходивший со стороны Петрограда. Я торопливо вышел ему навстречу, но и он не был тот, которого я ждал. Он прибыл из Петрограда с обыкновенными пассажирами, выйдя оттуда утром того же дня. Фельдъегеря из Царского Села в нем не было, но ехал на фронт какой-то другой фельдъегерь из главного штаба. На его груди, как и на шинелях нескольких офицеров и юнкеров, приехавших с поездом, были нацеплены большие и малые красные банты, у некоторых из ленточек от орденов. Они все были без оружия. Это меня поразило. Я не удержался и подошел к юнкерам. Они мне сообщили, что в Петрограде с утра 2-го марта, когда они уезжали, стало как будто спокойнее. Стрельбы почти не было слышно, но сопротивление войск, верных присяге, окончательно сломлено, и весь Петроград в руках бунтующих. Офице-

ров стали меньше избивать, но все же толпы солдат и рабочих набрасываются на них на улице, отнимают оружие, а кто сопротивляется, тех убивают. В особенности преследуют юнкеров, защищавшихся с особенным упорством, и им, с большим трудом, удалось пробраться на вокзал и уехать из этого «проклятого города».

— «Это наше начальство для нашей безопасности заставило нацепить эти банты и выходить на улицу без оружия», — с каким-то гадливым смущением оправдывались они. То же самое подтвердил и фельдъегерь и те два-три офицера, с которыми мне кратко удалось переговорить. Они тоже не упоминали о ненависти населения к царской семье, и по их отрывистым, возбужденным словам, все происходившее они считали грандиозным бунтом запасных и фабричных, с которым будет теперь очень трудно справиться, «но все же справиться можно».

Поезд недолго стоял и вскоре отправился далее. Я только вернулся к себе в вагон, как сообщили, что депутатский поезд прибыл на соседний полустанок и через десять-пятнадцать минут ожидается уже в Псков. Было уже почти десять часов вечера. Я немного замешкался, и это вызвало нервное нетерпение моих товарищей: «что ты там копаешься, торопись, а то Рузский перехватит».

Я поторопился и вышел на платформу. На ней никого почти не было, она была совсем темна и освещалась лишь двумя-тремя далекими тусклыми фонарями. Я спросил у дежурного по станции, на какой путь ожидается экстренный поезд, и он указал мне на рельсы, проходившие почти рядом с теми, на которых стоял наш поезд, а место остановки почти в нескольких шагах от него.

Прошло несколько минут, когда я увидел приближающиеся огни локомотива. Поезд шел быстро и состоял не более как из одного-двух вагонов. Он еще не остановился окончательно, как я вошел на заднюю площадку последнего классного вагона, открыл дверь и очутился в обширном темном купэ, слабо освещенном лишь мерцавшим огарком свечи. Я с трудом рассмотрел в темноте две стоявших у дальней стены фигуры, догадываясь, кто из них должен быть Гучков, кто — Шульгин. Я не знал ни того, ни другого, но почему-то решил, что тот, кто моложе и стройнее, должен быть Шульгин и обращаясь к нему сказал: «его величество вас ожидает и изволит тотчас же принять».

Оба были, видимо, очень подавлены, волновались, руки их дрожали, когда они здоровались со мною, и оба имели не столько усталый, сколько растерянный вид. Они были очень смущены и просили дать им возможность привести

себя в порядок после пути, но я им ответил, что это неудобно, и мы сейчас же направились к выходу.

— «Что делается в Петрограде?» — спросил я их.

Ответил Шульгин. Гучков все время молчал и, как в вагоне, так и идя до императорского поезда, держал голову низко опущенною.

— «В Петрограде творится что-то невообразимое» — говорил, волнуясь, Шульгин. «Мы находимся всецело в их руках и нас наверно арестуют, когда мы вернемся».

«Хороши же вы, народные избранники, облеченные всеобщим доверием», как сейчас помню, нехорошо шевельнулось в душе при этих словах. «Не прошло и двух дней, как вам приходится уже дрожать перед этим народом»; хорош и сам «народ», так относящийся к своим избранникам.

Я вышел первым из вагона и увидел на отдаленном конце платформы какого-то офицера, вероятно, из штаба Рузского, спешно направлявшегося в нашу сторону. Он увидел нашу группу и тотчас же повернул назад.

— «Что же вы теперь думаете делать, с каким поручением приехали, на что надеетесь?» — спросил я, волнуясь, шедшего рядом Шульгина. Он с какою-то, смутившею меня, не то неопределенностью, не то безнадежностью от собственного бессилия, и как то тоскливо и смущенно понизив голос, почти шопотом, сказал: «знаете, мы надеемся только на то, что, быть может, государь нам поможет»...

— «В чем поможет?» —вырвалось у меня, но получить ответа я не успел. Мы уже стояли на площадке вагона-столовой и Гучков и Шульгин уже нервно снимали свои шубы. Их сейчас же провел скороход в салон, где назначен был прием и где находился уже граф Фредерикс. Бедный старик, волнуясь за свою семью, спросил, здороваясь, Гучкова, что делается в Петрограде и тот «успокоил» его самым жестоким образом: «в Петрограде стало спокойнее, граф, но ваш дом на Почтамтской совершенно разгромлен, а что сталось с вашей семьей — неизвестно».

Вместе с графом Фредериксом, в салоне находился и Нарышкин, которому, как начальнику военно-походной канцелярии, было поручено присутствовать при приеме и записывать все происходящее во избежание могущих потом последовать разных выдумок и неточностей.

Нарышкин еще ранее, до приезда депутатов, предложил мне разделить с ним эту обязанность, но мысль присутствовать при таком приеме лишь молчаливым свидетелем показалась мне почему-то настолько невыносимой, что я тогда под каким-то предлогом отказался от этого поручения. Теперь я об этом отказе сожалел, но было поздно.

В коридоре вагона государя, куда я прошел, я встретил генерала Воейкова. Он доложил его величеству о прибытии депутатов и, через некоторое время, в кавказской казачьей форме, спокойный и ровный, государь, прошел своей обычной неторопливой походкой в соседний вагон, и двери салона закрылись.

Я несколько минут оставался в коридоре у кабинета государя, разговаривая с Воейковым и пришедшими туда же Долгоруковым, графом Граббе и герцогом Лейхтенбергским, делясь с ними впечатлениями о мимолетном общении с «депутатами». Как вспоминаю, я и тогда еще не терял надежды на лучший исход. Слова монархиста Шульгина, что они «надеются на помощь государя», я толковал по своему в том смысле, как мне этого хотелось, и даже чувствовал к нему известную признательность за это обращение к помощи его величества.

Во время этого разговора мы увидели Рузского, торопливо подымавшегося на входную площадку салона, и я подошел к нему, чтобы узнать, чем вызван его приход. Рузский был очень раздражен и, предупреждая мой вопрос, обращаясь в пространство, с нервной резкостью, начал совершенно по начальнически кому-то выговаривать: «Всегда будет путанница, когда не исполняют приказаний. Ведь было ясно сказано направить депутацию раньше ко мне. Отчего этого не сделали, вечно не слушаются»...

Я хотел его предупредить, что его величество занят приемом, но Рузский, торопливо скинув пальто, решительно сам открыл дверь и вошел в салон.

Его раздражение доставило мне мимолетное удовольствие, но и вызвало тяжелое предчувствие о том, что совершалось за этими дверьми. Я ушел к себе и с каким-то тупым безразличием прилег на диван.

Не помню когда, но кажется очень скоро, ко мне в купэ заглянул Нарышкин, озабоченно проходивший к себе в канцелярию по коридору. Я так и бросился к нему: «Ну, что, уже кончилось, уже решено, что они говорят?» с замирающим сердцем спрашивал я его. «Говорит один только Гучков, все то же, что и Рузский» ответил мне Нарышкин. «Он говорит, что, кроме отречения, нет другого выхода, и государь уже сказал им, что он и сам это решил еще до них. Теперь они сомневаются, в праве ли государь передать престол Михаилу Александровичу, минуя наследника, и спрашивают для справки основные законы. Пойдем, помоги мне их отыскать, хотя вряд ли они взяты у нас с собою в вагон. В них никогда не было надобности в путешествиях»...

Все иллюзии пропадали, но я цеплялся еще за последнюю, самую ничтожную: «Раз вопрос зашел о праве, о за-

конах, то значит с чем-то еще должны считаться даже и люди, нарушившие закон в эти бесправные дни и может быть»...

Основные законы я знал лишь поверхностно, но все же мне пришлось с ними знакомиться лет пять назад, когда возникли разные вопросы в связи с состоявшимся браком великого князя Михаила Александровича с г-жей Вульферт. Тогда все было ясно, но это было давно, я многие толкования забыл, хотя и твердо сознавал, что при живом наследнике Михаил Александрович мог бы воцариться лишь с согласия и отказа самого Алексея Николаевича от своих прав. А если такой отказ по малолетству Алексея Николаевича немыслим, и он должен будет вопреки желанию отца сделаться царем, то может быть и государь, которому невыносима мысль расстаться с сыном, отдумает поэтому отрекаться, чтобы иметь возможность оставить его при себе.

Облегчение для меня в данную минуту заключалось в том, имелось-ли в основных законах указание на право государя, как опекуна, отречься не только за себя, но и за своего малолетнего сына от престола.

Что в обыденной жизни наши гражданские законы таких прав опекуну не давали, я знал твердо по собственному опыту, что сейчас и высказал Нарышкину, по дороге, проходя с ним в соседний вагон, где помещалась наша походная канцелярия.

— «Что говорят об этом основные законы, я хорошо не помню, но знаю, почти заранее, что они вряд ли будут по смыслу противоречить обыкновенным законам, по которым опекун не может отказываться ни от каких прав опекаемого, а значит и государь до совершеннолетия Алексея Николаевича не может передать престола ни Михаилу Александровичу, ни кому-либо другому. Ведь мы все присягали государю и его законному наследнику, а законный наследник, пока жив Алексей Николаевич, только он один».

— «Я и сам так думаю», ответил в раздумьи Нарышкин, «но ведь государь не просто частный человек, и может быть учреждение императорской фамилии и основные законы и говорят об этом иначе».

— «Конечно, государь не частный человек, а самодержец» — сказал я — «но, отрекаясь, он уже становится этим частным человеком и просто опекуном, не имеющим никакого права лишать опекаемого его благ».

Том основных законов, к нашему удовлетворению, после недолгих розысков, нашелся у нас в канцелярии, но, спешно перелистывая его страницы, прямых указаний на права государя, как опекуна, мы не нашли. Ни одна статья не говорила о данном случае, да там и вообще не было упомя-

нуто о возможности отречения государя, на что мы оба к нашему удовлетворению обратили тогда внимание.

Нарышкин торопился. Его ждали, и взяв книгу, он направился к выходу. Идя за ним, я, помню, ему говорил:

— «Хотя в основных законах по этому поводу ничего ясного нет, все же надо непременно доложить государю, что по смыслу общих законов, он не имеет права отрекаться за Алексея Николаевича. Опекун не может, кажется, даже отказаться от принятия какого-либо дара в пользу опекаемого, а тем более, отрекаясь за него, лишать Алексея Николаевича и тех имущественных прав, с которыми связано его положение, как наследника. Пожалуйста, непременно доложи об всем этом государю».

Лишь как сквозь туман вспоминаю я и возвращение Нарышкина и Фредерикса от государя и их сообщение о происходивших переговорах. Рассказ Шульгина, напечатанный в газетах, который я впоследствии прочел, многое возобновил в моей памяти. За небольшими исключениями (про справку в основных законах Шульгин умалчивает) он в общем верен и правдиво рисует картину приема членов думы.

Около двенадцати часов ночи Гучков и Шульгин покинули наш поезд, ушли к Рузскому и мы их больше не видали. Перед уходом они старались успокоить Фредерикса и говорили, что «временное правительство возьмет на себя заботы о том, чтобы этому достойному старцу не было сделано никакого зла».

Отречение бесповоротно состоялось, но еще не было окончательно оформлено. В проекте манифеста, каким-то образом предупредительно полученном из ставки и составленном, как я узнал потом, по поручению генерала Алексеева, Лукомским и Базили, потребовались некоторые изменения. Сверх того, члены думы, вероятно для надежности, просили переписать манифест в двух экземплярах. Оба за подписью его величества должны были по их просьбе быть скрепленными министром двора. Первый экземпляр, напечатанный, как затем и второй, в нашей канцелярии на машинке, на телеграфных бланках, государь подписал карандашем.

Эти манифесты были, наконец, около часу ночи переписаны, как их от государя принесли в купэ к графу Фредериксу и с каким отчаянием бедный старик, справляясь с трудом, дрожащей рукою их очень долго подписывал.

После ухода думских депутатов мы собрались все в столовой не для чая, которого никто не касался, а для того, чтобы в эти жуткие минуты не быть в одиночестве.

Никаких известий из Царского все еще получено не было. В это время принесли телеграмму от Алексеева из Ставки, испрашивавшего у государя разрешение, на назначение, по просьбе Родзянко, генерала Корнилова командующим петроградским военным округом, и его величество выразил на это свое согласие. Это была первая и последняя телеграмма, которую государь подписал, как император и как верховный главнокомандующий уже после своего отречения.

Вспоминаю, как кто-то вошел и сказал, что с поезда, в котором прибыли Гучков и Шульгин, разбрасываются прокламации и что, якобы, по слухам, по шоссе из Петрограда двигаются на Псков какие-то вооруженные автомобили и что их приказано задержать.

Тут же в столовой появилась у нас, неизвестно кем принесенная, копия последнего вечернего разговора Родзянко с Рузским, в котором Родзянко в возвышенно-радостных выражениях сообщал, что: «наступило успокоение, и им впервые удалось достигнуть какого-то и с кем-то соглашения и в первый раз вздохнуть свободно, и что такое событие было ими отпраздновано даже пушечными выстрелами из крепости».

В этот же поздний вечер был решен и наш немедленный отъезд в ставку, так как государь решил до своего возвращения в Царское Село проститься с войсками, о чем и объявил Гучкову и Шульгину на их почтительно озабоченный вопрос о дальнейших намерениях его величества. Члены думы заявили при этом, что временное правительство примет все возможные меры, для безопасного следования его величества в ставку и в Царское Село. Кажется, для охраны пути императорского поезда предполагалось еще днем вызвать некоторые железнодорожные батальоны.

Вспоминаю, что несмотря на все безразличие, охватившее меня, я мог еще в тайниках души радоваться этому намерению государя «проститься с войсками». Я еще мог надеяться, что появление государя среди войск или даже слова его прощального приказа могут произвести такое сильное впечатление на хорошую солдатскую и офицерскую массу, что она сумеет убедить своего вождя и царя отказаться от рокового для всей страны решения...

Я еле держался на ногах, не от физической, но от нервной усталости. Я силился заснуть и не мог. Начались те долгие бессонные ночи в поезде и в ставке, мучения которых знает только тот, кто имел ужас когда-либо их испытать, и о которых боишься даже вспоминать.

Днем становилось все-таки как будто легче. Мелочи жизни, хотя и не наполняли объявшей меня мучительной

пустоты, но заставляли бодриться на виду у других и отвлекали внимание от самого себя.

Но все же это главное — обстоятельства, вызвавшие столь внезапный уход государя, не переставали и тогда мучительно волновать мои мысли.

За этот уход я не мог упрекать его так сильно, как упрекали его, быть может, другие, не менее меня преданные ему и родине люди. Я его слишком любил как человека, чтобы не силиться найти в его человеческой природе объяснений такому решению, быть может и не подходившему для царя всей России. Но понимая наболевшим сердцем всю горечь волновавших его чувств, я до сих пор не понимаю из них одного: почему, судя по телеграмме его к матери, он считал себя таким одиноким и покинутым, когда не мог не чувствовать, что тут же, рядом с ним, под одной кровлей вагона, бились любящие сердца, не менее, чем он, страдавшие одинаковыми переживаниями и за него и за родину.

Его замкнутая, скромная до застенчивости, благородная натура привыкла с раннего детства переживать сама с собою свои страдания и свои обиды, не отдавая их для сочувствия другим, даже самым близким людям.

Кто знает — думалось тогда мне — быть может эти характерные черты, донесенные с детства до зрелых годов, и сказались, хотя отчасти, на невольной потребности отречься — уйти надолго совсем «в другую комнату», как это когда-то бывало в ранних днях его жизни, от несправедливо его обидевших, но любимых им русских людей, чтобы не продолжать ссору и не мешать им «играть в правительство».

И мне казалось, я был тогда даже убежден, что решение возникло у государя уже раньше, еще до получения телеграмм главнокомандующих и настояний Рузского. Оно вероятно мелькнуло в его мыслях впервые, еще во вторник 28 февраля поздним вечером, когда его осмелились непропустить в Царское, а потребовали препровождения в Петроград, и начало укрепляться в мучительную ночь с 1 марта на 2, когда утром меня так поразил его измученный вид. Это решение было принято им, как всегда, единолично, в борьбе с самим с собою, и посвящать в свою душевную драму других, даже близких, он по складу своей застенчивой, самолюбиво-благородной натуры, вероятно, не только не хотел, но и не мог.

Даже более сильные настояния, чем настояния Родзянко, Рузского и других генералов, мне кажется, никогда не имели бы окончательного успеха, если бы они не упали уже на подготовленную им самим почву. Его заставила это сделать не созданная лишь потугами немногих обстановка, на-

перекор которой, несмотря на войну, он всегда имел возможность и характер пойти и мог рассчитывать на несомненный успех, а нечто высшее, чем даже суровое чувство долга государя перед управляемой родиной — человеческая любовь к русским людям, не разбирая среди них ни друзей, ни врагов.

Зная давно о существовании заговора и, вероятно, часто в мыслях готовясь к встрече с ним, государь вместе с тем крепко верил и в то, что предательство изойдет не от простого народа, «стихийным движением», которого так искусно теперь прикрывались его вожаки.

В предоставленном ему изменою и предательством выборе он предпочел отречься от меньшего — от власти, ставившейся при том слишком призрачной, и кто из монархистов мог бы его в этом упрекнуть.

Впоследствии, находясь в далекой Сибири, государь, по свидетельству близких лиц, не переставал волноваться сомнениями, связанными с его отречением. Он не мог не мучиться сознанием, что его уход, вызванный «искренними» настояниями «горячо любящих родину» людей, не послужил на пользу, а лишь во вред свято им чтимой России.

Быть может, именно эти жестокие нравственные переживания не за себя, а за родину заставили его, столь всепрощающего, сказать в Екатеринбурге следующие слова: «Бог не оставляет меня, он даст мне силы простить всех моих врагов, но я не могу победить себя еще в одном: генерала Рузского я простить не могу».

Известие об отречении, хотя о нем никто громко не говорил, дошло быстро и до нашей прислуги. Помню, каким тяжелым чувством оно сказалось на проводнике нашего вагона. В течение этого и всего следующего дня я видел его, с утра до вечера, неизменно сидящим в одной и той же почти застывшей позе, с головою, низко опущенной на руки. Он никуда не отлучался из своего уголка, приходившегося против моего купэ, и совершенно забыл о своих обязанностях. Его видимо и не тянуло, как раньше, к другим, где он мог бы делиться впечатлениями или узнавать последние новости. Да и эти другие, судя по лицу моего старика Луксена, обыкновенно очень общительного, а на этот раз не обмолвившегося ни единым словом о том, что произошло, — точно также, лишь в самих себе, переживали надвинувшееся на родину несчастие.

Наступило утро 3-го марта. Наш поезд, вышедший в три часа ночи из Пскова, уже двигался по направлению к Могилеву, в ставку.

Будущего уже не было, дорогое, милое прошлое рухнуло куда-то в пропасть, а настоящее пока было похоже, своею видимостью, с прежним: жизнь в нашем поезде наружно шла своим обычным, размеренным ходом.

Государь и после отречения продолжал сохранять, не только для нас, его любящих, но и для людей посторонних, равнодушных, все то присущее ему величие, которое эти последние думали, что можно с него снять. Это и замечалось и чувствовалось мною как во время остановок на станциях, так и по приезде в Могилев и во время дальнейшего пребывания в ставке.

Во время этого переезда все лица ближайшей свиты, находившиеся в поезде, решили сообща записать до малейших подробностей, чуть-ли не по минутам, все то, что происходило за эти три дня, и Нарышкин записывал все подробно под нашу диктовку, хотел напечатать на пишущей машинке и дать это описание каждому из нас. Копии телеграмм главнокомандующих мы получили, наш общий дневник он переписать не успел.

Государь рано утром с дороги послал в Киев телеграмму своей матери, императрице Марии Федоровне, прося ее приехать на свидание в Могилев, а также телеграммы в Царское Село — ее величеству и в Петроград великому князю Михаилу Александровичу, уведомлявшую о передаче ему престола.

Телеграмма эта наверно не дошла, так как, судя по воспоминаниям В. Д. Набокова, великий князь «очень подчеркивал свою обиду, что брат его «навязал» ему престол, даже не спросив его согласия».

Насколько помню, судя по рассказам лиц, читавших в ставке эту телеграмму, она была очень сердечна и была адресована на имя его императорского величества Михаила и в ней были между прочим слова: «прости меня, если огорчил тебя, и что не успел своевременно предупредить», «останусь навсегда верным и любящим тебя братом», а также и выражение: «последние события вынудили меня бесповоротно решиться на этот крайний шаг».

Около четырех с половиной часов дня, когда поезд стал подходить к какой-то станции, скороход предупредил меня, что его величество собирается выйти на прогулку. Остановка была недолгая, всего несколько минут. Я вышел на рельсы с противоположной стороны от платформы. День был серый, ненастный, темнело. Была оттепель. Сильная грязь и нагроможденные поленицы дров оставляли очень мало места для прогулки. Государь уже успел спуститься из своего вагона и, увидя меня, направился в мою сторону:

«А и вы, Мордвинов, вышли подышать свежим воздухом», как-то особенно добро и вместе с тем, как мне показалось, необычайно грустно сказал государь и продолжал итти вперед. Я пошел рядом с ним. Мы были совершенно одни — все мои товарищи по свите оставались в вагоне. Ординарец, урядник конвоя, находился далеко.

Впервые за эти мучительные дни мне явилась неожиданная возможность остаться на несколько минут с глазу на глаз с государем, олицетворявшим мне мою родину, с человеком, которого я так любил и за которого теперь так страдал...

Я чувствовал его душевное состояние, мне так хотелось его утешить, облегчить. Так стыдно было перед ним за все совершившееся. Но чем утешить, что сказать — шевелилось напрасно в моем затуманенном, подавленном мозгу: сказать про «главное», про напрасное отречение — теперь уже поздно. А утешить, но чем же? чем? — все с большими мучениями проносилось в моих мыслях...

Государь шел так же молча, задумавшись, уйдя глубоко в себя. Он был такой грустный, ему было так «не по себе»...

Я посмотрел на него и вдруг заговорил, почти бессознательно и так глупо и путанно, что до сих пор краснею, когда вспоминаю эти свои взолнованные «успокоения», оставшиеся в наказание у меня в памяти:

— Ничего, ваше величество, — сказал я, — не волнуйтесь очень, ведь вы не напрашивались на престол, а, наоборот, вашего предка, в такое же подлое время приходилось долго упрашивать и, только уступая настойчивой воле народа, он, к счастью России, согласился нести этот тяжелый крест... нынешняя воля народа, говорят, думает иначе... что ж, пускай попробуют, пускай управляются сами, если хотят. Насильно мил не будешь, только что из этого выйдет.

Государь приостановился.

— Уж и хороша эта воля народа! — вдруг с болью и непередаваемой горечью вырвалось у него. Чтобы скрыть свое волнение, он отвернулся и быстрее пошел вперед. Мы молча сделали еще круг.

— Ваше величество — начал опять я — что же теперь будет, что вы намерены делать?

— Я сам еще хорошо не знаю — с печальным недоумением ответил государь — все так быстро повернулось... на фронт, даже защищать мою родину, мне вряд ли дадут теперь возможность поехать, о чем я раньше думал. Вероятно, буду жить совершенно частным человеком. Вот увижу свою матушку, переговорю с семьей. Думаю, что уедем в Ливадию. Для здоровья Алексея и больных дочерей это даже

необходимо, или может в другое место, в Костромскую губернию, в нашу прежнюю вотчину.

— Ваше величество — с убеждением возразил я — уезжайте возможно скорее заграницу. При нынешних условиях даже в Крыму не житье.

— Нет, ни за что. Я не хотел бы уехать из России, я ее слишком люблю. Заграницей мне было бы слишком тяжело, да и дочери и Алексей еще больны.

— Что ж, что больны, — начал было я, но кто-то подошел и доложил, что время отправлять поезд, и мы вошли в вагон.

В Орше, куда уже под вечер прибыл наш поезд, к нам в купэ вошел Базили — чиновник министерства иностранных дел, заведывавший дипломатической канцелярией в ставке. Он выехал к нам навстречу из Могилева по поручению генерала Алексеева с портфелем каких-то срочных бумаг для доклада его величеству в пути. Что это были за бумаги, я не помню, хотя Базили о них и упоминал: кажется, они касались уведомления союзников о случившемся. Помню только, что он говорил о своем участии в составлении манифеста об отречении и, кажется, сообщил, что манифест этот, по просьбе Родзянки, пока решено не опубликовывать.

Базили был очень угнетен и взволнован, на нем просто лица не было. Его охватывал ужас при мысли о том, что будет дальше, так как в Петрограде, якобы, уже не удовлетворялись отречением и видимо не желали, чтобы и Михаил Александрович сделался императором.

Он как-то трагически посматривал на купэ Воейкова и все повторял: «на его бы месте, я теперь, вот так бы поступил» — и приставляя руку к своему виску, намекал на самоубийство.

Воейкова я не особенно любил, вернее, я был к нему совсем равнодушен. Склад его характера не вызывал больших симпатий и у других, но тогда мне было его очень жаль. Я и ранее недоумевал во многом, когда его обвиняли в том, в чем он не мог, при всем желании, быть повинен, и что ему приписывала сплетня...

Кроме того, справедливость требует сказать, что в те дни В. Н. Воейков был один из немногих, вернее, пожалуй, единственный, кто правильно и твердо оценивал обстановку, убежденно приравнивая ее не к стихийно разыгравшейся революции, каковою рисовалась она в глазах Родзянко и главнокомандующих фронтами, а к простому бунту запасных и петроградских рабочих. Это убеждение я лично слышал от него, следуя с ним в одном автомобиле за государем на вокзал, при нашем отъезде из Могилева, и я вынес

впечатление, что это же убеждение не покидало его и по приезде в Псков, вплоть до вечернего разговора с Рузским.

Имел ли он возможность передать с известной силой это свое мнение государю еще до подписания телеграммы об отречении — я не знаю; но если да, благодаря такой возможности, ему одному удалось бы в те минуты и часы, в тот день исполнить свой долг перед его величеством и родиной.

Но его обычная скрытность, далеко выходившая за пределы необходимости, и всегдашнее нежелание делиться с нами своими заботами и тревогами, сыграли в данном случае и для него и для нас очень плохую роль. И, если он лично, и граф Фредерикс знали уже, еще до вторичного прихода генерала Рузского с двумя генералами 2-го марта, что вопрос идет об отречении, и сочли нужным об этом нам не сказать, то этим они лишили нас и последнего утешения и возможности всем сообща явиться к государю и умолять его отклонить домогательства лишь одного Петрограда, возмущавшие нас от всей души. Но, вероятно, и для графа Фредерикса и Воейкова состоявшееся отречение явилось таким же неожиданным, как и для нас.

К нашему, в том числе и графа Фредерикса и Воейкова, отчаянию, как я уже сказал выше, мы об этом узнали слишком поздно — уже тогда, когда телеграммы были подписаны и находились в руках Рузского.

Правда, свите, в том числе и Воейкову и графу Фредериксу, удалось оттянуть посылку роковых телеграмм до вечера, в надежде, что, как казалось нам, веские доводы Шульгина придут к нам на помощь. Эти доводы пришли на помощь не нам, а другим... Пусть об этом судят история и русский народ, принимая, однако, во внимание, что в те дни лживое слово вызвало растерянность не только у мирных статских, но и у генералов, награжденных крестами за храбрость.

Базили был принят государем и, после короткой остановки в Орше, поезд двинулся дальше.

Не помню, на какой станции, недалеко от Могилева, ко мне в купэ пришел встревоженный старик Луксен и предупредил меня, что он слышал на вокзале, как какие-то, вероятно, прибывшие из Петрограда, солдаты рассказывали, что получено распоряжение, немедленно по прибытии в Могилев, арестовать весь императорский поезд и всех нас отправить в тюрьму. Я его успокоил, как мог, говоря, что «не всякому слуху надо верить» и что он сам скоро увидит, что все это выдумки. Но некоторые сомнения все же не переставали тревожить меня.

К вечеру мы прибыли, наконец, в Могилев.

На платформе, вместо ареста и тюрьмы, обычная встреча, даже более многолюдная, более торжественная, чем всегда. Прибыли и все иностранные военные представители в полном составе миссий, обыкновенно отсутствовавшие в таких случаях.

Француз, генерал Жанен, и бельгиец, барон де Риккель, молча, но особенно сильно и сердечно, как бы сочувствуя и угадывая мое настроение, пожали мою руку, как и серб, полковник Леонткевич, видимо взволнованный больше всех.

Государь вышел, молча поздоровался с генералом Алексеевым и, обойдя, не останавливаясь, всех собравшихся, вернулся в вагон.

Было решено сначала, что мы останемся и будем жить в поезде, но после обеда вышла перемена: подали автомобили, его величество сел с графом Фредериксом и уехал в губернаторский дом, а мы двинулись по пустынным улицам вслед за ними.

В помещении верховного главнокомандующего было все попрежнему, как и четыре дня назад.

Утром, в субботу 4-го марта, после бессонной, кошмарной ночи, в которой, на этот раз, опасения за судьбу своей семьи играли не малую роль, я отправился, как всегда, в губернаторский дом к утреннему чаю.

Государь был уже в столовой, немного бледный, но приветливый, наружно спокойный, как всегда. От его величества мы узнали, что в этот день прибывает в Могилев вдовствующая государыня Мария Феодоровна и что приезд ожидается перед завтраком, около 12 час. дня.

Что делается в Петрограде и остальной России — мы не знали: утренних агентских телеграмм больше уже не представляли. Днем, на мой вопрос по поводу этого обстоятельства, кто-то из офицеров штаба ответил, что это делается нарочно, по приказанию начальника штаба, так как известия из Петрограда были настолько тягостны, а выражения и слова настолько возмутительны, что генерал Алексеев не решался волновать ими напрасно государя.

Но мы все же узнали, что волнения начали уже охватывать не только Москву, но и некоторые другие города, и что окончательно сформировалось временное правительство, в котором Керенский был назначен министром юстиции. Помню, что последнее известие меня, подавленного и ничему более не удивлявшегося, даже вывело из себя: человеку, надругавшемуся в эти дни сильнее всех над нашим основным законом, поручали самое главное попечение о нем.

Мог ли я думать, что через каких-нибудь два-три месяца мне придется, во имя справедливости, отнестись к этому человеку даже с теплым чувством признательности и лично

простить ему многое за его, хотя и слишком поздно, но все же искренно проявленные не только уважение, но, видимо, и любовь к государю и его семье.

По словам многих лиц, Керенский очень близко принимал к сердцу судьбу арестованной царской семьи и старался «делать, что мог» для ее облегчения.

Его зять, полковник Барановский, рассказывал своим сослуживцам по ставке, передававшим впоследствии это мне, как однажды в поезде, будучи уже во главе правительства, Керенский, «как исступленный» бегал по коридору в вагоне и в неописуемой тревоге выкрикивал: «нет... их убьют... их убьют... их надо спасти, спасти во что бы то ни стало».

Его возбуждение было на этот раз совершенно искренно; представляться не было надобности ни перед кем, так как в вагоне никого кроме Барановского и его не было.

В описываемый день я был дежурным при его императорском величестве. Государь сейчас же после чая направился, как и до отречения, в штаб, к генералу Алексееву. Сопровождал я один. Дворцового коменданта на этот раз не было. За те несколько шагов, которые приходилось сделать от губернаторского дома до помещения генерал-квартирмейстерской части, я успел только спросить у государя, нет ли известий из Царского Села, и его величество ответил, что, к сожалению, не имеет, но что все же надеется получить, так как уже и сам послал телеграмму.

Государь, встреченный, как и всегда, на площадке лестницы генералом Алексеевым, прошел к нему, а я остался в соседнем помещении, ожидая обратного выхода. Ко мне подошли некоторые из более мне знакомых офицеров штаба, и, вероятно, понимая мое состояние, с чуткой сердечностью стали расспрашивать о событиях последних дней. Видимо и для них — для тех, с которыми я говорил, — весть об отречении далеко не такая внезапная и ошеломляющая, как для меня, была тем не менее мрачная и чреватая тяжелыми последствиями.

Ни радости, ни ликования или вообще какого-либо удовлетворения при мне высказываемо не было, как в тот день, так и потом во время дальнейшего пребывания в ставке его величества.

Только изредка я мог чувствовать на себе какое-то ироническое злорадство немногих генералов: «кончилось ваше царство» — говорили их лица, но не слова — теперь пришел наш черед.

Не помню, кто из говоривших отвел меня в сторону и озабоченно и, как мне показалось, даже сочувственно сказал: «знаете что, здесь в ставке царит сильное возбуждение против Фредерикса и Воейкова, в особенности

против Воейкова, его считают виновником всего и мы опасаемся, как бы дело не кончилось очень и очень скверно; во всяком случае, арест его уже предрешен; посоветуйте ему возможно скорее уехать из Могилева, а то будет поздно и его не спасет даже присутствие государя, а только вызовет излишнее раздражение здешней толпы против его величества»...

На этих словах государь вышел от Алексеева и, зайдя на несколько минут в губернаторский дом, сел вместе с графом Фредериксом в автомобиль, и мы направились на вокзал для встречи прибывающей императрицы Марии Феодоровны. Я, как дежурный, ехал в автомобиле вместе с Воейковым.

Вспоминаю, как я волновался за него и как мне было тяжело передавать ему то, что я только что слышал. Но мое предупреждение могло его спасти и оберечь государя от многого излишне тяжелого. После некоторых колебаний, уже на середине дороги я начал: «Владимир Николаевич, только что в штабе люди, видимо искренне беспокоющиеся за вашу судьбу, просили предупредить вас, что решено вас арестовать, и посоветовать вам возможно скорее уехать из ставки. Действительно, может быть, это и будет лучше: ведь арестованный, какую пользу принесете вы государю? Я знаю, что его величество заступится за вас, но видите, что творится. Вам Алексеев ничего не намекал?»

Воейков был очень угнетен. Мое предупреждение, видимо, его не поразило. Он ничего не ответил на последний вопрос и как-то задумчиво спросил: «уехать... хорошо... но куда и как».

— Поезжайте пока к себе в Пензенскую губернию; я думаю, кружным путем туда еще можно пробраться... Ведь не везде творится Петроградский ад... поговорите с его величеством и уезжайте... — Воейков задумался, и мы молча доехали до вокзала.

Через несколько минут показался поезд, остановившийся на месте обычной остановки императорских поездов.

Государь вошел в вагон и скоро вышел оттуда вместе с ее величеством.

Обойдя всех присутствующих, их величества прошли в деревянный пустой сарай, находившийся напротив остановки поезда, где и оставались очень долго.

С государыней прибыли только великий князь Александр Михайлович, живший также в Киеве, и ее свита: графиня Менгден, князь Шервашидзе и князь Сергей Долгорукий.

Ожидавшийся мною с таким нетерпением и волнением лучший друг нашей семьи, моя горячо любимая великая княгиня Ольга Александровна, с этим поездом не приехала; ее, кажется, не было в эти дни в Киеве. Отсутствие Ольги

Александровны сказалось на мне самым тяжелым тоскливым разочарованием: я так надеялся на ее приезд и для себя и для государя, зная ее искреннюю и горячую привязанность к своему брату, любившему ее, в свою очередь, не менее сильно.

Князя Шервашидзе я знал долгие годы, еще с первого дня вступления его в должность, состоявшего при императрице. Нас сближала не только совместная служба под одной дворцовой кровлей (Михаил Александрович, при котором я был адъютантом, жил до 1912 года совместно с матерью), но и наша общая страсть к старине, к историческим исследованиям и собиранию портретов, миниатюр и гравюр. Князь Шервашидзе был большой оригинал, очень начитанный, наблюдательный, отличался находчивостью в затруднительных случаях и весьма своеобразно мыслил и говорил о разных исторических событиях.

Графиню Менгден я тоже давно и хорошо знал, и приезд их обоих меня очень тогда облегчил: я почувствовал себя менее одиноким; с ними я более успел сжиться, чем с обширной свитой государя, к которой я принадлежал всего несколько лет.

Великого князя Александра Михайловича я знал тоже довольно близко, так как мне приходилось подолгу гостить у него в Ай-Тодоре. Ко мне он относился всегда добродушно-иронически, и, вероятно, во многом меня не понимал.

Увидя меня, Шервашидзе сейчас же направился ко мне, и я как сейчас вижу его растерянно удивленное лицо. Он отвел меня в сторону и недоумевающе, возбужденно спросил: «Что вы наделали?..»

— Мы ничего не наделали... Вы спросите лучше, что с нами наделали, — ответил я и в кратких словах объяснил ему, с какой внезапностью обрушились на нас последние события. Он изумлялся все более и более и, как и я, не мог примириться с поспешностью отречения.

Государь и императрица оставались в бараке очень долго, как мне показалось, уже более получаса. Был сильный морозный ветер. Чтобы согреться, мы вошли в сколоченную из досок пристройку к бараку, где топилось подобие печки.

Вскоре их величества вышли из барака — государыня со своею обычною приветливо-доброй улыбкой — государь также наружно совершенно спокойный и ровный.

Все разместились по автомобилям и поехали в губернаторский дом к завтраку. Я ехал вместе с Шервашидзе и гр. Менгден. Мои спутники сообщили, что у них в Киеве было совершенно спокойно, и удивлялись, что улицы Могилева ничего не говорили о совершившемся перевороте.

Я не помню, как прошел этот завтрак не менее мучительный, чем предыдущие. Все эти восемь дней марта я ничего не мог есть и, будучи физически здоров, не чувствовал голода.

Встав из-за стола, государь и императрица удалились в комнату государя и долго оставались наедине, и лишь около четырех часов дня государыня уехала к себе в поезд, в котором и оставалась до 9-го марта.

Насколько помню, вслед за отъездом императрицы, в кабинет к государю вошел Воейков. Он оставался там недолго и вышел, как мне показалось, очень расстроенный. В то время, как мы сидели за чаем, он появился уже одетый в шинель и стал с нами прощаться, говоря, что «сейчас уезжает». Тогда же стало известно, что и граф Фредерикс, по настоянию многих и Алексеева, также решил уехать, и милый инженер Ежов делал все возможное, чтобы ему устроить удобный и скрытый проезд.

Я не знаю, каким образом В. Н. Воейкову не удалось добраться до своего имения; помню только то, что бедный Фредерикс направился поздно вечером из Могилева на юг, кажется на Киев. Ночь прошла благополучно, но утром на одной из станций его чиновник для поручений Петров, с усами немного похожими на усы графа, неосторожно вышел из вагона, чтобы отправить телеграммы графине. Революционная волна успела докатиться и до этой станции: Петрова приняли за самого Фредерикса, затем арестовали обоих и отправили в Петроград.

С отъездом Фредерикса и Воейкова их обязанности стал исполнять гофмаршал, князь Долгорукий.

После чая государь сообщил мне, что поедет обедать к своей матушке в поезд и проведет с нею и вечер.

Мы выехали из губернаторского дома около семи часов вечера. До вокзала было не более десяти минут. Кроме меня, государя никто не сопровождал, даже запасного автомобиля, следовавшего, по обыкновению, сзади, на этот раз не было. Мы ехали совершенно частными людьми. На улицах было пустынно и тихо. То же волнение, как и во время вчерашней прогулки, охватило меня и теперь, но еще с большею силой.

Так хотелось опять высказать сердцем многое и так опять не хватало для этого ни мысли, ни слов. Государь тоже был, видимо, подавлен и, вероятно, чувствовал и мое состояние. Он был бледен, и я невольно заметил, как много он успел похудеть за эти дни. Мы ехали некоторое время молча.

— Ваше величество, — начал опять первым я, — нет ли известий из Царского. Когда вы думаете поехать туда?

— Я еще не знаю, — ответил государь, — думаю, что скоро. Он задумался и вдруг спросил: «Что обо всем говорят, Мордвинов?»

— Ваше величество, — ответил опять бестолково, волнуясь я: «мы все так удручены, так встревожены... для нас это такое невыносимое горе... мы все еще не можем придти в себя... для нас все так непонятно и чересчур уж поспешно... а в ставке, как я слышал, особенно не понимают, отчего вы отреклись в пользу брата, а не законного наследника, Алексея Николаевича; говорят, что это совсем уже не по закону, и может вызвать новые волнения.

Государь еще глубже задумался, еще глубже ушел в себя, и, не сказав больше ни слова, мы вскоре доехали до вокзала...

Государь прошел в последнее большое отделение вагона, где находилась императрица, а я остался в коридоре, выжидая указаний о нашем обратном отъезде.

Его величество скоро открыл дверь и сказал мне: «Мордвинов, матушка вас приглашает к обеду. Я потом вам скажу, когда поедем обратно», и снова закрыл дверь.

Через вагон великого князя Александра Михаиловича, где находился и бывший в ставке великий князь Сергей Михаилович, я прошел в вагон князя Шервашидзе и графини Менгден, а затем, после недолгого разговора с ними, мы прошли в столовую, куда вскоре вошли и их величества.

Государыня Мария Феодоровна была по виду почти такая же, какою я привык ее видеть и в обычные дни ее жизни, и с доброй и приветливой улыбкой поздоровалась со мною. Но, зная ее хорошо, я чувствовал, каким нечеловеческим усилием было это наружное спокойствие и выдержка. Мое место за столом приходилось напротив их величеств, а моей соседкой была графиня Менгден. Во время этого долгого обеда я силился поддерживать с нею обычный разговор. Она отвечала мне спокойно, как вспоминаю, оживленно, и я был несказанно поражен, когда уже в конце обеда Шервашидзе наклонился ко мне и, указывая на графиню глазами, шепнул: «знаете, что она только что получила известие, что ее старшего брата убили солдаты».

Этим изумительным самообладанием, которое мне, кроме императрицы матери, среди женщин еще ни разу не приходилось встречать, графиня Менгден восхитила меня и в дальнейшие дни, когда по улицам Могилева уже были развешены красные тряпки и бродила вызывающая и уже разнузданная толпа. Графиня Менгден ни за что не хотела внять нашим настояниям и, решительно отказываясь от сопутствования, с презрительной, но спокойной улыбкой отправилась в одиночестве гулять по возбужденному городу.

Государь после обеда еще долго оставался наедине с матерью. Великий князь Александр Михаилович с великим князем Сергеем Михаиловичем разговаривали у себя в вагоне, а я сидел у Шервашидзе в купэ вместе с ним и с князем Сергеем Долгоруким. Помню, что к нам приходил полковник Шепель, комендант поезда императрицы, но о чем шла тогда наша беседа, совершенно забыл. Вряд ли и было что-нибудь значительное, что могло бы невольно сохраниться даже в моей притупленной памяти. Все совершившееся было уже известно, а будущее, даже ближайшие часы, совершенно неопределенно и не давало возможности строить какие-либо предположения. Выяснилось лишь, что ее величество решила оставаться в Могилеве до конца пребывания государя в ставке.

Весть об отказе Михаила Александровича принять власть до учредительного собрания к нам тогда еще не дошла.

Очень поздно вечером мы вернулись с его величеством домой. Государь, как мне показалось по дороге, был немного более спокоен и очень заботливо отзывался о поездке Фредерикса и Воейкова.

Я проводил его величество до верху и вернулся к себе, не заходя в столовую, где остальные еще сидели за чаем.

5-го марта было воскресенье. Утром мы узнали, что великий князь Михаил Александрович отказался принять власть впредь до подтверждения его императором учредительным собранием и что начались избиения офицеров в Гельсингфорсе и во флоте.

Отказ Михаила Александровича от принятия престола меня лично не очень удивил.

Я знал хорошо скромную, непритязательную, совершенно нечестолюбивую натуру великого князя, при котором долго был адъютантом и с которым меня связывали, когда-то, самые искренние, дружеские чувства. Меньше всего он желал вступления на престол и еще будучи наследником, тяготился своим «особенным положением», и не скрывал своей радости, когда, с рождением у государя сына, он становился «менее заметным». Вспоминаю один из разговоров моих с ним тогда на эту тему: «Ах, Анатолий Александрович,—с волнующей искренностью говорил он,—если бы вы знали, как я рад, что больше не наследник. Я сознаю, что к этому совершенно не гожусь и был совершенно не подготовлен. Я этого никогда не любил и никогда не желал»...

В этот воскресный день государь был, как обычно, в штабной церкви у обедни, куда мы на этот раз не пошли пешком, а поехали в автомобилях. Вскоре после нас туда же прибыла и вдовствующая императрица. Протопресвитер отец Шавельский был в отсутствии на фронте, и службу со-

вершали, кажется, настоятель московского Успенского собора, прибывший в ставку с чудотворной иконой Владимирской божией матери, и два других священника. Церковь была до тесноты полна молящимися и многие были очень растроганы...

Вероятно не меня одного сильно взволновала невольная запинка дьякона во время произнесения привычных слов моления о царствующем императоре. Он уже начал возглашать о «благочестивейшем, самодержавнейшем государе императоре Николае...» и на этом последнем слове немного приостановился, но вскоре оправился и твердо договорил слова молитвы до конца.

Помню, что по окончании службы государь, императрица и все мы прикладывались к чудотворным иконам, а затем их величества отбыли в автомобилях в губернаторский дом, а мы с князем Шервашидзе пошли туда же пешком.

Вспоминаю, какой болью поразили нас красные тряпки, которые появились впервые на многих домах Могилева. Со здания городской думы, находившегося на площади, напротив губернаторского дома, свешивались, чуть ли не до земли, два громадных куска красной материи.

Народ уже начинал наполнять площадь и главную улицу, ведшую от вокзала, но во время проезда их величеств толпа держала себя сдержанно и почтительно. Из губернаторского дома нам было видно, как народ толпился у решетки сада, всматривался долго в наши окна, в надежде увидать в них государя и императрицу.

После завтрака, на котором кроме лиц ближайшей свиты никто не присутствовал, государыня опять оставалась наедине с его величеством и только поздно днем возвратилась к себе в поезд. Государь опять вечером обедал у своей матушки, вернулся поздно и я его почти не видел.

Ночь с воскресенья на понедельник 6-го марта была для меня особенно мучительна. Мысли о семье, о которой я почти не вспоминал в предыдущие дни, в эту ночь под влиянием рассказа офицера сводного полка поглощали все остальные.

Узнать что-нибудь о жене и дочери — было немыслимо, так как никакой связи с Гатчиной еще не было.

Под утро я вспомнил, что справки о судьбе семьи графа Фредерикса удалось получить через генерала Вильямса, английского военного представителя в Ставке, и решил обратиться к нему; от него, как говорили, ездили ежедневно курьеры в Петроград и он многим уже успел помочь снестись с родными.

В этот день я был дежурным и нашел случайно генерала Вильямса, ожидавшего приема у его величества в зале пе-

ред кабинетом государя. Он очень любезно согласился исполнить мою просьбу и, записав адрес моей жены, обещал ее уведомить, что у меня все благополучно и что я надеюсь скоро вернуться.

Генерал Вильямс, несмотря на всю присущую ему сдержанность, был очень раздражен на «Петроград». «Они все там сумасшедшие, сумасшедшие», неоднократно вырывалось у него. Насколько помню, он тогда же сказал мне, что получил от своего посла, Бьюкенена, телеграмму о том, что английское правительство ручается за безопасный проезд царской семьи в Англию и даже показывал мне эту телеграмму, держа ее в руках, вероятно, для доклада государю. Насколько помню, в тот же день, только позднее, я читал и копию телеграммы из Петрограда, сообщавшей, что временное правительство не встречает никаких препятствий для отъезда государя заграницу. Генерал Вильямс, как бы отвечал на мои собственные мысли, тоже находил, что с отъездом необходимо спешить, и что болезнь детей государя не должна служить препятствием. «От этих сумасшедших все возможно», сказал он.

В этот день я ездил также один с государем к императрице и как и прошлый раз был оставлен обедать ее величеством.

Государь был в этот день особенно бледен и задумчив. Ему было очень не по себе. Видимо, к тяжелому внутреннему состоянию прибавилось и физическое недомогание.

Возвращаясь поздно от императрицы, разговор коснулся предполагаемого отбытия государя из Ставки, и я вынес впечатление, что его величество предполагал уже тогда уехать заграницу, но только не знал еще времени, когда будет возможность исполнить это намерение, не высказывая, впрочем, его определенно.

Проводив государя на верх, я вернулся к себе.

Началась новая ночь и новые мучения... Под утро, около 4 часов, когда я лежал с открытыми глазами, ко мне осторожно вошел Луксен и, подавая мне телеграмму, сказал: «Вам, Анатолий Александрович, телеграмма из Гатчины, верно важная, что ночью доставили. Наверно от Ольги Карловны, как-то у нас там», с боязливой озабоченностью добавил он, зажигая электричество. Телеграмма была действительно от жены. Она была кратка, но успокоительна и отправлена с Гатчинского дворцового телеграфа. Жена благодарила за уведомление, радовалась скорому свиданию, сообщала, что все они здоровы и думают обо мне. Радость наша, и моя и Луксена, была громадная и, насколько помню, я в первый раз заснул на час после этого дорогого известия.

7-го марта, во вторник нам стало известно, что государь решил переехать в Царское Село на следующий день. Тогда же распространился слух, что Могилевский гарнизон постановил собраться на митинге на площади около губернаторского дома. Генерал Алексеев предупредил эту демонстрацию, назначив по тревоге сбор всех могилевских воинских частей, с церемониальным маршем, и назначенный митинг не состоялся.

Вообще для довольно многочисленного Могилевского гарнизона развернувшиеся события были совершенно непонятны. Противоречивые и вздорные слухи, проникавшие из Петрограда, начинали их волновать, и во избежание дальнейших осложнений было предписано начальникам частей «разъяснить» нижним чинам сущность происшедшей перемены. В большинстве случаев эти разъяснения мало кого могли удовлетворить и оставляли за собою прежнее недоумение.

В среду 8-го марта, день отбытия его величества из Ставки, нам утром выдали из управления дежурного генерала удостоверения личности, в которых было сказано, что «предъявитель, такой-то, назначен для сопровождения бывшего императора». Редакция эта меня очень возмутила, тем более, что в выдаче новых удостоверений мы вовсе не нуждались, имея при себе старые, полученные от военно-походной канцелярии его величества.

В этот день утром государь прощался с чинами штаба, собранными в большом зале управления дежурного генерала.

Всем было невообразимо тяжело: двое или трое упали в обморок, многие плакали. Государь говорил ясно, отчетливо, с глубоким сердечным волнением. Что говорил он — я не помню. Я только слышал звук его голоса и ничего не понимал...

Как говорили, государь не мог кончить своих прощальных слов и сам, очень взволнованный, вышел из зала... Я вышел вслед за ним.

Потом приходили наверх прощаться поодиночке все иностранные военные агенты... Даже сдержанный Вильямс вышел из кабинета государя глубоко растроганный. О Коанде, Жанене, Риккеле и Леонткевиче нечего и говорить: глаза их были полны слез. Серб Леонткевич сказал мне, что он «не мог удержаться и поцеловал руку русского царя за все то, что он сделал для славянства и для родной Сербии». Леонткевич долго не мог успокоиться и все повторял с отчаянием и вместе с тем с уверенностью: «Россия без царя... это невозможно, этого никогда не будет»...

В этот же день прибывший из Петрограда фельдъегерь привез вместе с другими бумагами и приказание временно командовавшего императорской главной квартирой, генерал-адъютанта Максимовича, объявлявшего, что из лиц государевой свиты только генералы преклонного возраста, согласно приказу нового военного министра Гучкова, могут, если пожелают, подать в отставку, но что молодые не имеют права покидать службу до конца войны.

Я был только, хотя и старый, но полковник сравнительно молодой и здоровый, и распоряжение это меня ставило в очень трудное положение, так как с первого же момента отречения я решил уйти в отставку, жить в деревне или даже уехать заграницу на все время владычества временного правительства.

В какую-либо возможность продолжения войны, с уходом государя и при создавшемся хаосе междуцарствия, я, зная чувства деревни, совсем не верил, а сказанные мне так недавно слова его величества о том, что он хочет жить совершенно частным человеком, не давали мне возможности надеяться остаться при государе, тем более, что я и ранее не занимал никакой дворцовой должности.

К тому же у меня были почти все человеческие недостатки, но, кажется, «способность навязываться» была наименее сильная из всех.

Я знал, что это отрицательное качество было особенно нелюбимо и государем, но все же имел случай в один из самых последних дней высказать его величеству, что: «с ним я готов, куда угодно, хоть на край света».

«Знаю, знаю, Мордвинов», с ударением, убежденно, но, как мне показалось, грустно, сказал мне тогда государь и глубоко задумался, а потом переменил разговор.

До сих пор я слышу эту интонацию голоса моего государя, это убежденное «знаю, знаю». До сих пор эти дорогие слова наполняют меня непередаваемо волнующим чувством и, как сейчас, я вижу доброе лицо его величества, когда он сердечно и крепко обнял и поцеловал меня при нашем прощании...

И до сих пор я мучительно теряюсь в догадках, почему он ничего больше не сказал. Смущало ли его, что я семейный, и он, по своей чуткой, душевной деликатности, не желал отделять меня от семьи, или он думал при этом о других, дольше служивших при нем, моих старших товарищах, или же и сам еще не знал, как сложится его дальнейшая жизнь, и кого и сколько лиц ему можно будет оставить при себе. Или быть может у него сильнее укреплялось уже намерение «жить совершенно частным, простым человеком».

Эти и другие бесчисленные предположения мелькали тогда в моих мыслях и не находили уверенного, успокоительного ответа....

Время отъезда, а значит и конца моей очередной официальной службы при императоре, уже приближалось и я все настойчивее продолжал думать о неопределенных словах государя, невольно и эгоистично связывая с ними и будущее своей семьи. Мне было подчас очень совестно перед самим собою, что в такие дни меня могли тревожить такие мысли, но отделаться от них, как ни старался, я все же не мог. Они касались не меня одного, а моей семьи, также зависевшей от моей службы. Я жил на небольшое жалованье по чину полковника, а пожар, истребивший мой дом в деревне, еще больше затруднял положение.

Вернувшись к себе в гостиницу, уложив вещи и не зная, что далее делать, я пошел в помещение иностранных представителей, с которыми мы, встречаясь почти ежедневно, успели сжиться, чтобы сделать им прощальный визит, а также и поблагодарить генерала Вильямса за его любезное уведомление моей жены, доставившее ей и мне столько облегчения.

О генерале Вильямсе еще раньше, а в особенности в последние дни, я вынес впечатление, как о человеке долга, прямом, вдумчивом, далеком от всего мелкого, много знающем того, чего мы не знали, а главное любящем государя и очень беспокоющемся за его судьбу. Генерал Вильямс, видимо, не скрывал этих чувств и от своего правительства, что и послужило, как говорили потом, причиною его позднейшего отозвания из Ставки и замены более демократически настроенным генералом Бартером.

Прощаясь с ним и на его вопрос о том, что я намерен теперь делать, я сказал, что официальная моя служба кончается, что проеду с его величеством до Царского Села, а что дальше будет — совершенно не знаю, так как в отставку запрещено подавать, а от строя я отвык. Поделился с ним и моими мыслями на счет продолжения войны, передал невольно и о неопределенных словах государя в ответ на мое заявление о моей преданности.

«Нет, вам лучше оставаться здесь в ставке», кратко и с убеждением ответил мне Вильямс, «здесь вы даже будете гораздо полезнее его величеству, как его бывший адъютант».

На мой протест и возражение, что можно ведь вернуться и потом — мои вещи уже были отправлены в поезд и я стремился повидать хоть на минуту мою семью — он,

глядя мне прямо и значительно в глаза, и намекая, как я сейчас же почувствовал, на ожидающий меня в Петрограде арест, снова повторил: «Я вам уже сказал, что лучше оставаться здесь; другого совета я вам дать не могу... впрочем, делайте, как знаете» — уже довольно нетерпеливо и даже раздраженно добавил он.

И все же я с советом генерала Вильямса внутри себя не соглашался, продолжал колебаться и не приходил ни к какому решению.

В губернаторском доме, куда я направился, был полный хаос: внизу шла усиленная укладка дворцового имущества, стояли ящики, лежали свороченные ковры, суетилась прислуга. Я машинально поднялся на верх, вошел в пустое зало и увидел двери кабинета широко открытыми... государь был один, стоял в глубине комнаты, около письменного стола, и не торопливо, как мне показалось, спокойно собирал с него разные вещицы, видимо для укладки.

«Спрошу у него самого, как лучше... скажу про свои сомнения, сейчас же, пока он один и не занят» — мелькнуло в моих мыслях, — «а вдруг это покажется лишним?», — но я уже входил в кабинет.

«Что, Мордвинов», спросил государь.

«Ваше величество», очень волнуясь и сбивчиво заговорил я, — «я только что был у генерала Вильямса, чтобы проститься с ним перед отъездом, и он мне настойчиво советует пока оставаться здесь... говорит даже, что это почему-то будет полезнее для вас... Ваше величество, ведь вы меня знаете... мои вещи уже в поезде, сам я не знаю теперь, как быть... как вы думаете, что будет лучше для вас... быть может вам действительно будут нужны когда-нибудь преданные люди, находящиеся здесь...

— «Конечно, оставайтесь, Мордвинов», как мне показалось без колебаний и даже с ударением на слове «конечно» сказал государь, порывисто приблизился ко мне, обнял и крепко, крепко поцеловал...

Через несколько минут я уже ехал с другими товарищами по свите на станцию к императорскому поезду, куда еще раньше уехал с вещами Луксен... Я был весь под впечатлением моего свидания с государем и трудно было успокоиться. О, если бы я тогда почувствовал, мог уловить хотя бы ничтожное колебание в его словах...

Луксен еще больше расстраивал меня своими уговорами: «Съездите хоть на денек домой... успокойте Ольгу Карловну и дочку, а то они будут очень уж убиваться»...

Императорский поезд уже стоял на станции, недалеко от него находился и поезд вдовствующей императрицы, которая тоже намеревалась уехать в тот же день. Государя ожи-

дали на вокзале не раньше, как через полчаса, и меня сейчас же потянуло проститься и с государыней.

Я любил императрицу Марию Феодоровну, любил ее за то, что она издавна тепло относилась к отцу моей жены, ко всей моей семье и ко мне самому... любил ее не только, как супругу чтимого мною императора Алекасандра III, но и как глубоко страдающую женщину, на хрупкие плечи которой столько раз ложилось непосильное горе...

«Кто знает, увижу ли я ее еще когда-нибудь», шевельнулось в моих мыслях, — «а может быть я буду еще для чего-нибудь ей теперь же нужен» и я вошел в ее вагон.

О мне доложили и ее величество сейчас же меня приняла. Государыня была одна и, когда я вошел, писала что-то в книжечке-дневнике, как мне показалось. Не помню точно, в каких выражениях я объяснил ей, что пришел проститься, что вынужден на неопределенное время остаться здесь, и, передав ей свой разговор с генералом Вильямсом, спросил: «Ваше величество, как вы думаете об этом, что лучше; генерала Вильямса я уважаю, но все же знаю недостаточно близко, хотя и чувствую, что он любит государя».

— «Конечно, да» — ответила императрица — «он настоящий джентльмен и очень любит государя».

— «Ваше величество» — закончил я — «я остаюсь здесь, не знаю насколько, но убедите государя возможно скорее уехать заграницу, пока временное правительство тому не препятствует. Это тоже советует и генерал Вильямс. Несмотря на болезнь великих княжен это возможно... ведь возят в поездах даже тяжело раненых...

Я не помню, что ответила на это государыня, кажется даже промолчала, но почему то вынес впечатление, что так и будет...

Вскоре прибыл на вокзал государь. Мы, свита, завтракали отдельно в императорском поезде, а его величество оставался очень долго в поезде у государыни. Затем мы все ходили прощаться с ее величеством и вернулись к себе в вагон. Помню, что я взял себе на память о дорогом минувшем прошлом простое, уже никому не нужное деревянное кольцо от салфетки, на котором было выжжено мое имя, и написал, для отсылки с Лукзеном, отправлявшимся с моими вещами в поезде, короткую записку жене, а на словах просил своего старика не тревожить жену излишними намеками и предположениями о моем аресте [1]).

---

[1]) О предполагаемом моем аресте говорил впоследствии моему товарищу по академии генералу Барсукову великий князь Сергей Михайлович, оставшийся в ставке и выражавший сначала даже неудовольствие, что я для скрывания избрал своим убежищем ставку и что гене-

Не помню, кто из чинов штаба, собравшихся на проводы, показал мне снова телеграмму князя Львова, адресованную генералу Алексееву. Эта телеграмма гласила: «Временное правительство постановило предоставить бывшему императору беспрепятственный проезд для пребывания в Царском Селе и для дальнейшего следования на Мурманск». Телеграмма эта очень всех нас успокоила.

Тут распространился слух, что какие-то представители временного правительства прибыли в Могилев, чтобы сопровождать поезд государя и якобы оберегать его путь от всяких случайностей.

Хотя и немного смущенно, они все же разыгрывали роль начальства, приказали прицепить свой вагон к императорскому поезду и не позволили офицеру конвоя сопровождать поезд. Графу Граббе с трудом удалось устроить туда лишь трех ординарцев урядников...

Я видел лишь издали этих трех-четырех делегатов на рельсах среди вагонов, о чем-то совещавшихся. Фигуры их, не то зажиточных мастеровых, не то захудалых провинциальных чиновников вызывали во мне, обыкновенно никогда не обращавшего никакого внимания на внешность, какое-то гадливое отвращение.

Как оказалось, они рассматривали список сопровождавших и запретили почему-то адмиралу К. Д. Нилову следовать в поезде...

— «Вот до чего мы дожили» — вырвалось у меня в обращении к генералу Алексееву, пришедшему проводить государя и стоявшему рядом со мною в коридоре вагона его величества.

— «Это все равно должно было случиться» — после краткого раздумья, но уверенно, возразил он мне — «если не теперь, то случилось бы потом не позднее, как через два года».

рал Барсуков сделал попытку приютить меня временно в первые дни в своем артиллерийском штабе. Потом великий князь понял мое положение, хотя я ему и не говорил о причинах, его вызвавших.

Ген. Н. В РУЗСКИЙ.

а) Беседа с журналистом В. Самойловым об отречении Николая II.

— Ваше высокопревосходительство, — обратился наш корреспондент к генералу Рузскому, — мы имеем сведения, что свободная Россия обязана вам предотвращением ужасного кровопролития, которое готовил народу низложенный царь. Говорят, что Николай II приехал к вам с целью убедить вас, чтобы вы послали на восставшую столицу несколько корпусов.

Генерал Рузский улыбнулся и заметил:

— Если уже говорить об услуге, оказанной мною революции, то она даже больше той, о которой вы принесли мне сенсационную весть.

Корпусов для усмирения революции отрешившийся от престола царь мне не предлагал посылать по той простой причине, что я убедил его отречься от престола в тот момент, когда для него самого ясна стала неисправимость положения.

Я расскажу вам подробно весь ход событий, сопровождавший отречение царя. Я знал 28 февраля, из телеграмм из Ставки, что царь собирается в Царское Село. Поэтому для меня совершенной неожиданностью была полученная мною в ночь на 1-е марта телеграмма с извещением, что литерный поезд направился из Бологого через Дно в Псков. Поезд должен был прибыть вечером 1-го числа, часов около 8-ми. Я выехал на станцию для встречи, причем распорядился, чтобы прибытие царя прошло незаметно. Поезд прибыл в 8 час. вечера. С первых же слов бывшего царя я убедился, что он в курсе всех событий. Во всяком случае, он знал больше того, что мне самому было известно. Несмотря на то, что Псков находится всего в 7—8-ми часах пути от Петрограда, до меня доходили смутные известия о происходивших в Петрограде событиях. Кроме телеграммы Родзянко, полученной 27-го февраля, с просьбой обратиться к царю, я от Исполнительного Комитета Государственной Думы до приезда царя решительно никаких уведомлений не получал.

Кстати замечу, что ответ мой на эту телеграмму, напечатанный в Известиях, несколько не точен. Моя телеграмма

гласила: «Телеграмму получил. По ее содержанию исполнил телеграммою государю».

Обычно мало разговорчивый Николай II на сей раз был еще более угрюм и скуп на слова. События его не только волновали, но и раздражали. Однако, ни о каких репрессивных мерах против революции он уже не мечтал, наоборот, часам к 2 ночи он меня пригласил к себе и заявил:

— Я решил пойти на уступки и дать им ответственное министерства. Как ваше мнение?

Манифест об ответственном министерстве лежал на столе, уже подписанный. Я знал, что этот компромисс запоздал и цели не достигнет, но высказывать свое мнение, не имея решительно никаких директив от Исполнительного Комитета или даже просто известий о происходящем — я не решался. Поэтому я предложил царю переговорить по телеграфному аппарату непосредственно с Родзянко. Удалось мне вызвать Родзянко к аппарату, помещающемуся в Петрограде в главном штабе, лишь после 3 часов ночи. Эта наша беседа длилась больше двух часов. Родзянко передал мне все подробности происходящих с головокружительной быстротой событий и определенно указал мне, что единственным выходом для царя является отречение от престола.

О своем разговоре с Родзянко я немедленно передал по телеграфу генералу Алексееву и главнокомандующим фронтами. Часов в 10 утра я явился к царю с докладом о моих переговорах. Опасаясь, что он отнесется к моим словам с недоверием, я пригласил с собою начальника моего штаба ген. Данилова и начальника снабжений ген. Саввича, которые должны были поддержать меня в моем настойчивом совете царю, ради блага России и победы над врагом, отречься от престола. К этому времени у меня уже были ответы ген. Алексеева, Николая Николаевича, Брусилова и Эверта, которые все единодушно тоже признавали необходимость отречения.

Царь выслушал мой доклад и заявил, что готов отречься от престола, но желал бы это сделать в присутствии Родзянко, который якобы обещал ему приехать во Псков. Однако, от Родзянко никаких сообщений о желании его приезда не было. Наоборот, в моем ночном разговоре с ним по аппарату он определенно заявил, что никак отлучиться из Петрограда не может, да и не хочет.

Мы оставили царя в ожидании с его стороны конкретных действий. После завтрака, часа в 3, царь пригласил меня и заявил, что акт отречения им уже подписан и что он отрекся в пользу своего сына.

Он передал мне подписанную им телеграмму об отречении; я положил ее в карман и вышел, чтобы, придя в штаб, отправить ее. Совершенно неожиданно в штабе мне подали телеграмму за подписью Гучкова и Шульгина с извещением, что они в 3 часа 35 мин. дня выехали во Псков. Получив эту телеграмму, я воздержался от опубликования манифеста об отречении и отправился обратно к царю. Он, видимо, был очень доволен посылкой к нему комиссаров, надеясь, что их поездка к нему свидетельствует о какой-то перемене в положении.

Поезд с комиссарами несколько запоздал и пришел в 10-м часу вечера. Царь нервничал в нетерпеливом ожидании. Я лично держался от него в стороне, избегая с ним встреч и разговора. Его все время не оставлял престарелый Фредерикс.

В момент приезда комиссаров я находился в своем вагоне. Несмотря на отданное мною распоряжение, чтобы по приезде комиссаров их прежде всего провели ко мне, их перехватил кто-то из свитских генералов и направил прямо к царю. Когда я вошел в вагон к царю, А. И. Гучков докладывал ему подробно о последних событиях. Особенно сильное впечатление на Николая II произвела весть о переходе его личного конвоя на сторону восставших войск. Этот факт его настолько поразил, что он дальнейший доклад Гучкова слушал уже невнимательно.

— Дальнейшее вам уже известно, — заявил ген. Рузский, — из опубликованного сообщения в «Известиях».

На вопрос царя, что ему теперь делать, Гучков тоном, недопускающим двух решений, заявил:

— Вам надо отречься от престола.

Царь спокойно выслушал это заявление комиссара Исполнительного Комитета. После долгой паузы он ответил:

— Хорошо, я уже подписал акт об отречении в пользу моего сына, но теперь я пришел к заключению, что сын мой не отличается крепким здоровьем, и я не желаю с сыном расстаться, поэтому я решил уступить престол Михаилу Александровичу.

Комиссары не возражали. Царь вышел с Фредериксом в соседний вагон, составил новый текст отречения и вернулся в вагон, в котором находились комиссары. В течение десяти минут царило тягостное молчание. Наконец, явился Фредерикс с напечатанным на машинке актом отречения, который царь тут же подписал. Комиссары предложили Фредериксу контрассигнировать подпись. С согласия царя, Фредерикс поставил свою подпись. Акт отречения составлен в двух экземплярах, один из которых хранится

у меня, а другой был мною выдан под росписку А. И. Гучкову.

Таким образом, в течение 24 часов Николаем последовательно было подписано три акта: в 2 часа ночи 2-го марта — манифест о «даровании ответственного министерства», в 3 часа дня отречение в пользу сына Алексея и, наконец, в 10 часов вечера «отречение в пользу Михаила Александровича».

Я уже сказал, что Николай II в этот исторический день был чрезвычайно угрюм и молчалив и особенно осторожен в словах со мной. Я не могу поэтому вам передать, что чувствовал и думал в это время низложенный революцией монарх. Но общее мое впечатление таково, что с момента получения известия о том, что Родзянко, вопреки ожиданиям Николая, отказался приехать, у царя не оставалось никаких иллюзий.

Пребывание царя во Пскове было известно всем, но поразительно, с каким хладнокровием и невниманием на сей раз отнеслось к этому факту население и войска. Царь часто гулял совершенно один по перрону вокзала, и никто из публики не обращал на него внимания. Время он проводил исключительно в кампании нескольких сопровождавших его свитских генералов. Я лично, как я уже сказал, избегал долго оставаться в его обществе, и наши беседы с ним носили чисто деловой характер.

Через полчаса после передачи акта отречения и отъезда комиссаров Исполнительного Комитета, литерный поезд отрекшегося царя направился через Двинск в Ставку, а вчера, т.-е. 4 марта, в 6 часов вечера, я получил телеграмму из Ставки о прибытии его туда.

В заключение ген. Рузский показал мне подлинный акт отречения Николая II. Этот — плотный телеграфный бланк, на котором на пишущей машине изложен известный текст отречения, подпись Николая покрыта верниром (лаком). Контрассигнация Фредерикса не удостоилась увековечения. Повидимому, эта подпись престарелого царского опричника показалась мало ценной комиссарам, принявшим акт отречения.

б) Пребывание Николая II в Пскове 1 и 2 марта 1917 г.

(Беседа с ген. С. Н. Вильчковским).

Предлагаемые читателю ниже страницы навеяны воспоминанием о беседах с покойным генерал-адъютантом Н. В. Рузским, которые мне пришлось вести за время с октября 1917 года почти по день его ареста в сентябре 1918 г.

В начале Н. В. Рузский избегал говорить о первых днях революции, но после того, как в Ростове М. В. Алексеев объявил о создании Добровольческой Армии и мы, живя на Кавказских минеральных водах, оказались отрезанными от всего мира, Рузский стал опасаться, что события пойдут так, что ему не удастся в печати объяснить свою роль в трагедии отречения и что пущенная на его счет, как он под честным словом заверял, клевета, будто бы он неприлично вел себя по отношению к государю, перейдет в историю. Он начал часто говорить о событиях марта 1917 года, сначала рассказывая отдельные эпизоды, а затем, когда Ессентуки были уже заняты большевиками, однажды, в сумерках пришел ко мне и спросил, согласен ли я взять на хранение важные документы, вывезенные им из Пскова. На другой день он принес эти документы, в течение нескольких часов читал их, сопровождая своими комментариями, и, еще раз спросив, согласен ли я их хранить, в виду того, что он ежечасно ожидал обысков и ареста, сказал: «Я знаю ваше отношение к государю и императрице и потому оставлю вам все это только, если вы теперь верите мне, что я перед ними виноват, не более, чем другие главнокомандующие и во всяком случае менее, чем Алексеев. Я знаю, что обо мне говорят и при этом ссылаются на слова самого государя. Даю вам слово на этом кресте (он носил ленточку св. Георгия), что это гнусная клевета и на меня и на государя».

---

27 февраля, в то время, когда в Петрограде, в здании Государственной Думы собрался уже на организационное собрание Совет рабочих депутатов, в то время, когда председатель Думы передал делегации солдат постановление старейшин ее, в котором говорилось, что «основным лозунгом момента является упразднение старой власти», в то

время, когда под председательством Родзянко по предложению Дзюбинского обсуждался вопрос об организации Временного Комитета Государственной Думы — главнокомандующий Северным фронтом получил от Родзянко первую телеграмму о том, что делается в Петрограде (№ 1), а государь получил телеграмму, им же подписанную — «Положение ухудшается. Надо принять немедленно меры, ибо завтра уже поздно. Настал последний час, когда решается судьба родины и династии».

Петровская фраза: «промедление смерти подобно» так, повидимому, нравилась Родзянке, что он ею закончил и свою первую телеграмму государю и первую телеграмму генералу Рузскому. Та же мысль о немедленном поручении составить новое правительство (не названному лицу), «которому может верить вся страна» повторяется также в обеих телеграммах, но в той, которая послана государю и должна была вызвать немедленное его решение, нет тех подробностей, какие находим в телеграмме к генералу Рузскому, от коего решение, конечно, не зависело. Генерал Рузский берет на себя тяжелую задачу осведомить государя о полученной им телеграмме и сопровождает ее текст своими дополнениями. Рузский ни слова не говорит об «единственном выходе на светлый путь», который навязывает государю Родзянко, уже вставший во главе революционного движения. Рузский остается солдатом; он ясно и откровенно доносит о положении вещей в армии; говорит о железнодорожной неурядице, рекомендует принять меры теперь же, ибо успокоение тыла даст бодрость фронту, и предостерегает от репрессий, как от паллиатива, всегда, по его мнению, недостаточного. Н. В. Рузский, как и все либеральные мыслящие люди, считал, что репрессии только обостряют положение и полагал, что дарование ответственного министерства сразу и надолго успокоит Россию, отняв от революционных партий могучее агитационное средство. Поэтому он был против посылки отряда генерал-адъютанта Иванова.

Следующая телеграмма, полученная в тот же день в Пскове, была от военного министра (№ 3). Это была копия одной из ряда противоречивых телеграмм, отправленных им за эти дни в Ставку. Еще до получения ее в Могилеве, генерал Алексеев вызвал по прямому проводу начальника штаба Северного фронта генерала Данилова и лично говорил с ним, чтобы ориентировать Псков о назначении, полученном генерал-адъютантом Ивановым, и чтобы дать соответственное распоряжение о поддержке его. Растерянность генерала Хабалова была уже ясна Алексееву. Но еще ни в Ставке, ни в Пскове не понимали, что прошло уже три дня,

как столица была в анархии и Дума возглавляла революцию.

Как видно из документа № 5, в Ставке телеграмма Хабалова о беспорядках в Петрограде была получена еще 26 февраля около двух часов дня. В этой телеграмме доносилось о событиях 25-го февраля. Вечером, 26 февраля в Ставке была получена телеграмма от Родзянки, сообщавшего о стихийном характере беспорядков. Напротив того, 27 февраля военный министр сначала телеграфировал, что начавшиеся в некоторых частях волнения твердо и энергично подавляются, и выражал уверенность в скором наступлении успокоения, а потом сообщал изложенное в документе № 3. В то же время Родзянко извещал о военном бунте, а Хабалов давал его подробности и просил поддержки с фронта.

Обо всем этом Ставка не уведомила генерала Рузского тотчас по получении сведений, а лишь 28-го февраля разослала циркулярную телеграмму всем главнокомандующим, где говорится уже о получении частных сведений об отъезде государя и о телеграммах, полученных от генералов Хабалова и Беляева в течение дня 28-го февраля. В этих телеграммах от 28 февраля Хабалов сообщал, что он порядок восстановить не может, что верные части понесли огромные потери, что их всего осталось около тысячи человек, а Беляев доносил, что мятежниками занят Мариинский дворец; последняя телеграмма Хабалова говорила, что он на события «фактически влиять не может».

В это время государь был уже на пути в Царское Село. Все это Рузский узнал лишь поздно вечером 28 февраля уже после того, что ему была доставлена телеграмма Бубликова. В этой телеграмме от имени Родзянко говорилось, что старая власть создала разруху и бессильна и Государственная Дума берет в свои руки создание новой власти. Телеграмма эта, обращенная к железнодорожникам, имела результатом остановку императорского поезда в Малой Вишере.

В то же время телеграмма из Ставки (№ 6) говорила, как будто, о восстановлении порядка и трактовала петроградские события очень спокойно, а самовольно захватившие в руки власть люди именовались министрами нового кабинета. Ставка, очевидно, признала «новый кабинет», тут же давалась и генералу Иванову директива: «доложите его величеству убеждение, что дело можно привести мирно к хорошему концу». Эту директиву принял к сведению и Н. В. Рузский, но подчеркнул в телеграмме слова «это по желанию народа» и «если эти сведения верны, то изменятся способы наших действий». Мы увидим, что эта телеграмма имела большое влияние и на государя и на Рузского. По-

следний в это время, т.-е. в ночь с 28-го февраля на 1-е марта, считал себя еще совершенно в стороне от событий в Петрограде и ограничился распоряжениями по составлению и посылке требовавшихся с его фронта войск для усиления отряда генерала Иванова.

Наступил день 1-го марта.

Утром Рузский получил телеграмму Родзянки, извещавшую о переходе правительственной власти к Временному Комитету Государственной Думы (№ 7). После завтрака была доставлена телеграмма дворцового коменданта Воейкова о следовании императорского поезда в Псков.

Обстановка в глазах Н. В. Рузского складывалась так: в Петрограде образовалось для восстановления государственного и общественного порядка новое правительство в лице Временного Комитета Государственной Думы, о чем сообщило официально телеграфное агентство; военный бунт приходит к концу; очевидно, этот Комитет с ним справился и продвижение отрядов генерала Иванова приобретало другой характер (№ 6); правительство это Ставкой признано; члены его известны из телеграммы того же телегр. агентства, несколько смущали лишь имена Чхеидзе и Керенского, но участие в кабинете Родзянко, князя Львова, Милюкова и Шульгина давало уверенность, что это правительство будет популярно и не революционно.

Генерал Рузский не понимал только, отчего государь, выехав из Ставки в Царское Село, повернул на Псков и потому телеграфировал в 13 ч. 45 м. 1-го марта в Ставку, прося ориентировать его для доклада государю, в виду ожидавшегося преследования через Псков поезда государя (№ 9).

В 17 ч. 15 м. генерал-квартирмейстер Ставки Лукомский ответил по прямому проводу (№ 10), и Рузский узнал, что Балтийский флот подчинился Временному Комитету Государственной Думы, что в Москве и в Кронштадте беспорядки и что в Ставке допускают возможность порчи пути перед императорским поездом.

Генерал Рузский понял, что дело более серьезно, чем казалось до тех пор. Было очевидно, что оптимизм Ставки за сутки пропал и новое правительство с военным бунтом не справилось. Через полчаса, т.-е. в 1 ч. 45 м. генерал Клембовский из Ставки передал по прямому проводу в Псков (№ 11), что великий князь Сергей Михайлович просит доложить государю тотчас по его прибытии, что он вполне поддерживает мнение генерала Алексеева, изложенное в телеграмме государю, которая была еще Рузскому неизвестна, и указывает, как на лицо, могущее все благополучно довести до конца, — на Родзянко. В это время император-

ский поезд еще не прибывал, но Рузский из штаба, в городе, собирался ехать на вокзал для встречи. Он подошел к аппарату и узнал, что в телеграмме своей генерал Алексеев «умолял» государя согласиться на манифест об ответственном министерстве, при чем представлял и его проект.

Рузский выразил свое согласие поддержать ходатайство Алексеева и великого князя. Текст телеграммы был получен в Пскове лишь в 11 ч. 30 м. вечера, когда Рузский был уже в вагоне с докладом у государя, и был ему вручен во время небольшого перерыва доклада, которым государь воспользовался, чтобы послать ее величеству телеграмму о своем прибытии в Псков, а Рузский, чтобы передать приказание в штаб соединиться с Родзянко для разговора по прямому проводу с соизволения его величества.

Императорский поезд прибыл после семи часов вечера и стал рядом с поездом генерала Рузского, куда на все время пребывания государя он переехал из штаба, приказав при себе находиться либо генералу Саввичу, либо генералу Данилову. По словам Рузского, государь при встрече сохранял свое всегдашнее спокойствие и пригласил его к обеду. Государь задавал обычные вопросы о положении Северного фронта, о событиях в Петрограде. О пути своем до Вишеры и о повороте на Псков его величество лишь кратко рассказал, в момент встречи, выслушав рапорт, и сказал, что надеется, наконец, узнать точно от Родзянко, который вызван в Псков, ибо положение настолько серьезно, что он выехал из Ставки, чтобы быть ближе к месту, где разыгрываются события, и иметь возможность лично говорить с нужными людьми и выиграть время. После этого Рузский испросил у государя аудиенцию для важного доклада по поручению Алексеева об общем положении вещей еще до приезда Родзянко, и государь назначил ему время около девяти часов вечера.

Из разговоров перед обедом с лицами свиты государя Рузский вынес впечатление, что они не отдают себе отчета в серьезности положения. Видимо, все ждали, что генерал Иванов, прибыв в Царское Село, опираясь на верный гарнизон Гатчины и Царского Села, усиленный за две недели гвардейским экипажем, а также на спешившие с фронтов бригады, быстро справится с бунтом. Все обсуждали неспособность генерала Хабалова и градоначальника Балка. Обед прошел быстро, и Н. В. Рузский ушел в свой поезд собрать нужные для доклада бумаги и принять сам очередной доклад от своего штаба, ибо весь день не видал поступивших с фронта телеграмм, занятый сначала вопросом о посылке поддержки генералу Иванову, а потом ожида-

нием прибытия императорского поезда и обдумыванием поступивших из Ставки и с тыла известий.

Через час Рузский вернулся в императорский поезд и, встретив дворцового коменданта Воейкова, шедшего к государю, просил его доложить, что он ожидает доклада. Воейков оставил Рузского в коридоре и больше не возвращался. Более получаса ген. Рузский ждал, в чрезвычайном волнении, ходя по коридору двух смежных вагонов, и не понимая отчего, всегда столь точный в приеме докладов, государь его не принимает в такое время, когда каждый час промедления грозил непоправимыми последствиями.

Рузский знал, что государь считает ответственное перед палатами министерство неподходящим для России порядком управления и предвидел, что ему не легко будет доложить государю о необходимости согласиться на предложенный генералом Алексеевым манифест. Что думает делать государь в Пскове после приема Родзянко, долго-ли он тут останется, куда поедет, Рузский не знал (№ 13). Он понимал только, что наступил весьма серьезный час его жизни, когда из главнокомандующего фронтом он обращался в чисто политического деятеля. Решение, действительно огромной исторической важности, зависело от того доклада, который предстоял ему сейчас. Один на один с государем, ему случайно и недостаточно осведомленному, приходилось теперь влиять на ход событий, уже не стратегических. Рузский сожалел, что не мог перед докладом переговорить с кем-либо из свиты государя, чтобы узнать больше подробностей о происходящем в Петрограде, что из Ставки не было новых телеграмм: но попытка его перед обедом говорить с ген. Воейковым разбилась об насмешливый тон, который ген. Воейков принимал, когда не хотел высказываться, и Рузский понял, что, в эти важнейшие в его жизни минуты, он будет перед государем один со своей совестью. Из Ставки тоже молчали. Генерал Алексеев был нездоров и лично к аппарату не подходил — он передал дело ему в руки.

Долгое ожидание в корридорах поезда, где ничто казалось еще не говорило о грозных событиях и где шли обычные приготовления к ночи, нервировали Рузского. Он решил пойти в купэ Воейкова и узнать, чем занят государь и предупрежден-ли о его приходе с докладом. Войдя в купэ Воейкова, Рузский застал его развешивающим на стенках какие-то фотографии. Воейков весело встретил его словами: «а, Ваше Высокопревосходительство, пожалуйте, садитесь. Хотите чаю или сигарку; устраивайтесь, где удобнее; вот я не могу справиться с этой рамкой, все криво висит». Кровь бросилась в голову Рузскому и он, не садясь и сильно повысив голос, от негодования и волнения, выска-

зал Воейкому свое удивление, что тот занят таким вздором в такие серьезные минуты и видимо забыл доложить о нем государю, когда он уже час ждет приема. Воейков пробовал обидеться и возразить, что вовсе не его обязанность докладывать Его Величеству. Тогда Рузский окончательно вышел из себя, и, подхватив слово «обязанность», чрезвычайно резко высказал Воейкову, что его прямая обязанность заботиться, как дворцовому коменданту, об особе государя, а настал момент, когда события таковы, что государю может быть придется «сдаться на милость победителей», если люди, обязанные всю жизнь за царя положить и своевременно помогать государю, будут бездействовать, курить сигары и перевешивать картинки. Что еще наговорил при этом Рузский, он не мог себе отдать впоследствии отчета, но помнит, что после слов «милость победителей» Воейков побледнел, и они вместе вышли в корридор, а через несколько мгновений Рузский был у государя.

Было около десяти часов вечера 1 марта.

Н. В. Рузский сидит против стола Его Величества с разложенными на нем картами Северного фронта. Государь был спокоен и внимательно слушал доклад генерала, который начал, сказав, что ему известно из настоящих событий только то, что сообщено за эти три дня из Ставки и от Родзянко. Затем он доложил, что ему трудно говорить, доклад выходит за пределы его компетенции и он опасается, что государь, может быть, не имеет к нему достаточно доверия, так как привык слушать мнения генерала Алексеева, с коими, он, Рузский, в важных вопросах часто не сходится и лично в довольно натянутых отношениях; потому Рузский просил Его Величество иметь в виду, что так как теперь подлежат решению вопросы не военные, а государственного управления, то он поймет, если государю вовсе, может быть, неугодно выслушать его доклад, который он взялся сделать лишь по желанию Алексеева. Государь прервал генерала и предложил ему высказаться со всею откровенностью.

Тогда Рузский стал с жаром доказывать государю необходимость немедленного образования ответственного перед палатами министерства. Государь возражал спокойно, хладнокровно и с чувством глубокого убеждения. Первый и единственный раз в жизни, говорил Н. В. Рузский, я имел возможность высказать государю все, что думал и об отдельных лицах, занимавших ответственные посты за последние годы, и о том, что казалось мне великими ошибками общего управления и деятельности Ставки. Государь со многим соглашался, многое объяснил и оспаривал. Основная мысль государя была, что он для себя в своих интересах ничего не желает, ни за что не держится, но считает

себя не в праве передать все дело управления Россией в руки людей, которые сегодня, будучи у власти, могут нанести величайший вред родине, а завтра умоют руки, «подав с кабинетом в отставку». «Я ответственен перед богом и Россией за все, что случилось и случится» сказал государь «будут-ли министры ответственны перед Думой и Государственным Советом — безразлично. Я никогда не буду в состоянии, видя, что делается министрами не ко благу России, с ними соглашаться, утешаясь мыслью, что это не моих рук дело, не моя ответственность». Рузский старался доказать Государю, что его мысль ошибочна, что следует принять формулу: «государь царствует, а правительство управляет». Государь говорил, что эта формула ему не понятна, что надо было иначе быть воспитанным, переродиться и опять оттенил, что он лично не держится за власть, но только не может принять решения против своей совести и, сложив с себя ответственность за течение дел перед людьми, не может считать, что он сам не ответственен перед богом. Государь перебирал с необыкновенной ясностью взгляды всех лиц, которые могли-бы управлять Россией в ближайшие времена в качестве ответственных перед палатами министров, и высказывал свое убеждение, что общественные деятели, которые несомненно составят первый же кабинет, все люди, совершенно неопытные в деле управления и, получив бремя власти, не сумеют справиться с своей задачей.

Генерал Рузский возражал, спорил, доказывал и, наконец, после полутора часов получил от государя соизволение на объявление через Родзянко, что государь согласен на ответственное министерство и предлагает ему формировать первый кабинет. Рузский добился этого, доказав государю, что он должен пойти на компромисс с своею совестью ради блага России и своего наследника.

Рузский вышел из вагона государя дать приказание вызвать к аппарату Родзянко и телеграфировать в Ставку (№ 15). Ему передали тут телеграмму генерала Алексеева с проектом манифеста (№ 12). Рузский вернулся в вагон государя, и доклад продолжался. В 24 часа Рузский вынес телеграмму государя генералу Иванову (№ 14). Государь обсуждал теперь текст манифеста, предложенный Алексеевым, и без изменений согласился на него.

Рузский заметил за те четверть часа, что он выходил из вагона, в государе перемену. Государь внимательно выслушал и обсуждал проект манифеста, переспрашивал подробности текста, но по вопросу главному — в манифесте — о его последствиях проявлял что-то похожее на безразличие. Рузский почувствовал, что может быть государь передумал, и вновь спросил не будет ли он действовать против

воли государя, сообщив в Ставку и в Петроград о согласии его величества на манифест. Государь ответил, что принял решение, ибо и Рузский и Алексеев, с которым он много на эту тему раньше говорил, одного мнения, а ему, государю, известно, что они редко сходятся на чем-либо вполне. Государь добавил, что ему это решение очень тяжело, но раз этого требует благо России, он на это, по чувству долга, обязан согласиться. Рузский успокоился и решил, что теперь дело Родзянко прекратить революционную вспышку.

Разговор опять перешел на фронтовые операционные темы. Но Рузскому опять показалось, что государь не так внимателен, как обычно при докладах. Его мысли как будто были заняты другим. Рузский приписал это понятному волнению от принятого решения и естественному утомлению— был уже на исходе второй час ночи, 2-ое марта. Он откланялся государю, прошел к себе в вагон и поехал вместе с генералом Даниловым в город, чтобы в два с половиной часа ночи быть у аппарата для разговора с Родзянко.

Рузский сам чувствовал чрезвычайное утомление и слабость, он почти не спал предыдущую ночь, весь день был на ногах и несколько часов провел у его величества, но его поддерживало сознание исполненного долга и надежда, что теперь все в тылу придет в спокойствие. Всем, кроме революционных партий, манифест должен был, по его мнению, дать полное удовлетворение.

Однако, к чувству надежды на благоприятный исход у ген. Рузского примешивалось и чувство тревоги. Он получил сведения, что посланный на поддержку генерала Иванова эшелон задержан перед Лугой гарнизоном этого городка; он знал, что гарнизон этот не велик и, кроме автомобильных частей, не содержал других боеспособных элементов и можно было легко с ним справиться, но надежда прекратить беспорядки мирным путем, не доводя до столкновения между частями армий, надежда, что Временный Комитет Государственной Думы действительно сформировался для водворения порядка, привела и государя и Рузского к решению дать выжидательную инструкцию генералу Иванову (№ 14) и вернуть эшелон в Двинский район. Однако, симптом был плохой. Кроме того, Рузского очень смутило известие, что Родзянко телеграфировал о невозможности для него приехать в Псков, не объясняя причин. Это было тоже плохо. Тем не менее Рузский ехал в штаб, уверенный, что через день, когда в столицах узнают о манифесте, императорский поезд пойдет в Царское Село, уже занятое ген. Ивановым, и в несколько дней все успокоится, а происшествие с бригадой, двинутой в Кугу, объяснится недоразумением. Мнение о магическом действии манифеста разделя-

лось, повидимому, и Ставкой, ибо в ночь пришла телеграмма, спрашивающая, не следует ли задержать в пути эшелоны, шедшие с других фронтов.

Таковы были мысли всех военных властей на фронте — они не знали, что происходит в Петрограде, насколько Временный Комитет Государственной Думы бессилен перед захватившим революционным движением, энергичным Советом рабочих депутатов, уже ставшим Советом солдатских и рабочих депутатов. Военные власти в Ставке и в Пскове не знали о роли Совета, не знали, что кровь офицеров, жандармов и городовых лилась на улицах Петрограда и боялись пролития крови в междуусобном столкновении верных и мятежных частей. Последняя мысль казалась Н. В. Рузскому чудовищной: еще не бывало этого в истории русской армии, а еще ужаснее было то, что это событие могло быть вызвано им, да еще во время войны. Он сделал все, что говорила ему совесть, чтобы этого избежать, надеясь легальным путем довести дело до благополучного конца.

Разговор Рузского с председателем Государственной Думы начался в три часа тридцать минут ночи на 1-ое марта и продолжался до 7 час. 30 мин. утра. Разговор все время постепенно передавался в Ставку.

Разговор этот так важен, что его анализ мог бы составить предмет обширного исторического исследования. Ограничимся лишь указанием на непоследовательность Родзянки в нем и на твердое желание Рузского избежать отречения. Происходи этот разговор в другое время, когда Рузский был не так утомлен и взволнован, не будь в то же время болен М. В. Алексеев, первый несомненно составил бы себе ясное представление о словах Родзянко, а второй не разослал бы своей циркулярной телеграммы 2-го марта (№ 20).

Но ни в Пскове, ни в Ставке никто не спал уже вторую ночь.

Когда разговор был окончательно передан в Ставку, там сразу решили, что отречение — единственный исход. Это видно из документа № 19.

Н. В. Рузский, измученный и тоже больной, в исходе девятого часа утра прилег, велев разбудить его через час, чтобы итти с докладом о своем разговоре к государю. Он еще надеялся, что манифест сделает свое дело, но в Ставке решили иначе и требовали, чтобы Рузский ни минуты не медлил итти к государю — убеждать его отречься, и уже писали циркулярную телеграмму главнокомандующим, предлагая им «просить» согласия государя на отречение.

Между получением в Ставке окончания разговора Рузского с Родзянко и посылкой циркулярной телеграммы прошло 2 час. 45 мин.

Раньше чем перейти к этой телеграмме и к рассказу о том докладе, который Рузский имел в 10 час. утра 2-го марта, вернемся к злосчастному разговору.

Ген. Рузский спокойно осведомляет председателя Государственной Думы о прибытии государя и высказывает огорчение, что Родзянко не приехал, желает знать причину этому, прежде чем говорить о событиях минувшего вечера.

Причин неприбытия три, по словам Родзянко — 1) взбунтовался эшелон, шедший с Северного фронта, и решил не пропускать поезда , 2) Родзянко получил сведение, что его отъезд может вызвать нежелательные (кому) последствия, 3) невозможность покинуть разбунтовавшийся Петербург, так как «только ему верят, только его приказания исполняют».

Рузский делает вывод, что Родзянко держит власть в руках и не изменил. С ним можно говорить. Он говорит о манифесте, как о акте состоявшемся, и только спрашивает, согласен ли Родзянко стать во главе первого кабинета. Родзянко в ответ интересуется текстом манифеста, но объясняет, что в Пскове не отдают себе отчета о творящемся в Петербурге (мы знаем, что и Родзянко себе в этом отчета не отдавал), и сразу начинает объяснять, что он два с половиной года предсказывал революцию, но его не слушали. В результате — стушевавшееся правительство, братающиеся с народными толпами войска, анархия и решение принятое им возглавить революцию и арестовать министров. Все это, с одной стороны, сопровождается выпадами против государыни, а с другой — признанием, что он, «которого все слушают и приказания исполняют», чувствует себя на волоске от заточения в Петропавловскую крепость, куда он сам отправил министров. Наконец, следует сообщение, что манифест опоздал. — Он еще не знает, какой манифест, но знает, что манифест не годится.

Н. В. Рузский не замечает противоречий; ему важно провести манифест и успокоить Родзянко. Он не отвечает на слова Родзянко, но задает вопрос, что значит слово Родзянко — «что династический вопрос поставлен ребром».

Родзянко не успокаивается; он упоен разговорами с толпами и гарнизоном, примкнувшим к Государственной Думе, а его впечатление: «все решили довести войну до конца, но государь должен отречься».

Кто это все? Кто грозно требует отречения? Не те ли, «кто агитирует против всего умеренного» и победы которых Родзянко боится, несмотря на то, что за ним весь гарнизон и весь народ и только ему верят и его слушаются.

Родзянко перечисляет вины правительства; опять делает выпад против государыни и просит остановить присылку войск с фронта во избежание кровопролития.

Рузский опять старается образумить Родзянко, указывает, что ошибки — уже в области прошлого, а теперь есть манифест, т. е. легальный способ прекратить смуту и избежать новых ошибок. Он указывает, что внутренний кризис надо прекратить возможно скорее и безболезненнее, ибо он уже видит, что армия начинает прислушиваться с тревогой к событиям в тылу (ведь всюду проникают со вчерашнего дня телеграммы от Временного Комитета и их скрыть нельзя). Он указывает, что уже войска, отправленные по распоряжению от 27 февраля с генералом Ивановым, получили новые директивы; указывает, что государем приняты меры, которые ему представили, как клонящиеся ко благу родины; он требует и надеется, что в Петрограде поймут величие порыва государя, и поймут, что перед лицом врага надо немедленно потушить пожар внутри. — Передается текст манифеста. — Рузский опять подходит к аппарату и вновь говорит об ответственности перед родиной, перед союзниками, о невозможности и преступности длить кризис или обострять его.

В ответ на это Родзянко снова говорит об анархии, говорит, что «висит на волоске» и сознается, что он «вынужден» был сегодня ночью «назначить» Временное Правительство. И тут следуют гордые слова: «манифест запоздал, его надо было издать после моей первой телеграммы 26 февраля». Цинизм невероятный! По мнению Родзянко, государь по его телеграмме должен был сразу перевернуть весь порядок государственного управления, ибо Родзянко доносил, что в столице анархия, правительство парализовано, транспорт пришел в полное расстройство

Родзянко забыл, что государь после его телеграммы выехал в Петроград, желая убедиться сам, в чем дело, но не мог доехать по вине его, Родзянко, подписавшего воззвание к железнодорожникам, что государь вызвал Родзянко в Псков для переговоров, а он, Родзянко, не поехал.

«Время упущено, возврата нет», говорит Родзянко.

Кто в этом виноват непосредственно? Тот ли, кто по телеграмме своего советника выехал сам в охваченную анархией столицу, где было все его правительство, где была столько раз заявлявшая о своей лойяльности Государственная Дума, где войска, не видавшие фронта, были в волнении и куда он для восстановления порядка двинул отряды испытанных в боях войск — или тот, кто — бывший кавалергард, нося звание камергера, будучи председателем Государственной Думы, которому все взбунтовавшиеся верили и подчинялись даже среди «анархии», кто не упустил времени, но упоенный жаждой стать правителем России, не заметил, что крайние элементы того времени не упу-

стили и уже властвовали над ним, его Временным Комитетом и «назначенным им» правительством.

Родзянко не отвечает на уговоры Рузского, он декламирует о благополучии, которое водворится, если только отречется государь, и пробует громкими фразами задобрить Рузского лично.

Да, для Родзянко «возврата нет». Если бы удалось успокоить бунт, всем стала бы ясна его роль за эти дни и ему было бы не сдобровать. Он должен был спасать себя.

Рузский, однако, не кончает разговора, хотя Родзянко пожелал ему «спокойной ночи». Он опять пытается убедить Родзянко, в необходимости использовать манифест, ибо «конечная цель» — ответственное министерство — достигнута. Он сомневается в идиллической картине снабжения армии, нарисованной Родзянко, и указывает, что всякий насильственный переворот не может пройти бесследно и для армии. Он как бы предугадывает ее развал.

В ответ на это Родзянко указывает, что переворот может быть «добровольным» и все тогда кончится в несколько дней. И следуют удивительные слова того, кто «висит на волоске» и боится сесть в Петропавловскую крепость — «ни кровопролития, ни ненужных жертв не будет. Я этого не допущу».

Рузский все же сомневается, предостерегает и спрашивает, в минуту сомнений, нужно ли выпускать манифест. Ответ Родзянко таков, что Рузский понимает, что Родзянко уже не имеет фактической власти, а плывет на волнах разбушевавшегося моря. Рузский смущен и сухо заявляет, что передаст манифест в Ставку для напечатания и распубликования, ибо получил на это повеление государя.

Таков разговор, который, с соизволения государя, вел генерал Рузский.

Когда события прошли и Н. В. Рузский перечитывал разговор, он сам себя обвинял, что недостаточно твердо говорил с Родзянко и не отдал себе сразу отчета в его сбивчивых противоречивых словах. На него, утомленного и возбужденного долгой и трудной аудиенцией у государя, усталого физически и нравственно, главное впечатление произвело то, что волнение в столице продолжало разгораться. Кроме того, он все еще полагал, что Родзянко, верный присяге, видный член партии октябристов, крупный помещик, отнюдь не революционер; он не понимал, что Родзянко уже три дня стоит во главе революци, а вовсе не во главе людей, желающих восстановить порядок. Враги Рузского говорят, что он должен был прервать разговор, указать Родзянке, что он изменник, и двинуться вооруженной силой подавить бунт. Это, как мы теперь знаем, несомненно бы удалось,

ибо гарнизон Петрограда был не способен к сопротивлению, Советы были еще слабы, а прочных войск с фронтов можно было взять достаточно. Все это верно и это признавал впоследствии Рузский, но в тот момент он старался избежать кровопролития — междоусобной, хотя бы и краткой борьбы в тылу, боясь впечатления, на далеко уж не столь прочные в массе фронтовые войска, а что они были непрочны, показали ближайшие дни.

Он вернулся к себе в вагон с надеждой, что опубликование манифеста произведет такое же впечатление на Петроград, как 17 октября 1905 г. Все утихнет, и останется тушить отдельные, чисто революционные вспышки. Если это удалось тогда министрам бюрократизма, то тем более должно было удасться министрам, которым верит вся Россия. Кроме того, Рузский ждал впечатления Ставки о разговоре, чтобы доложить государю с ее поддержкой. Ведь и первый доклад у государя был поддержан авторитетом М. В. Алексеева. Отдав еще несколько срочных распоряжений по фронту, он вернулся в вагон и, падая от усталости, на час заснул, как убитый.

Государь, видимо, тоже не спал всю ночь; его телеграмма (№ 18) носит пометку 5 час. 15 мин. 2 марта. Под утро и он заснул.

Через полтора часа, после окончания разговора Рузского и Родзянко, произошел разговор Данилова с генералом Лукомским (№ 19). Из него видно, что передававшийся в Ставку, одновременно с ведением его, разговор Рузского и Родзянко уже был обсужден и обдуман в Ставке и там принято решение — получить от государя согласие на отречение.

С этим так спешили в Могилеве, что предлагали разбудить государя, «отбросив всякие этикеты». Это было личное мнение и требование генерала Алексеева. Это передавалось официально. Личным мнением генерала Лукомского было, что отречение необходимо и возможно скорее, — только это спасет и фронт и родину и династию.

Генерал Данилов тоже не спал всю ночь, но был спокойнее. Он решает дать хоть час сна главнокомандующему и считает, что этот час значения иметь не может, но он опасается, что задержка может выйти из-за нерешительности государя и ссылается на ту трудность, с которой государь согласился вчера на манифест об ответственном министерстве. У Данилова еще есть луч надежды, что дело обойдется без отречения, — на него произвели впечатление доводы Рузского, приведенные им в разговоре с Родзянко, при котором он присутствовал. Он знал, что Рузский не хочет отречения, боится его последствий и полагал, что после

доклада государю Рузский не вынесет из кабинета его величества отречения, ибо сам ему не сочувствовал, а государь естественно будет колебаться. Генерал Лукомский наоборот «молил бога», чтобы Рузскому удалось убедить государя отречься.

Как раз в ту минуту, когда Рузский входил в вагон государя с докладом о ночном разговоре с Родзянко, генерал Алексеев в Ставке подписывал свою циркулярную телеграмму главнокомандующим (№ 20).

Было 10 час. 15 мин. утра, 2 марта.

Еще до этого доклада судьба государя и России была решена генералом Алексеевым.

Ему предстояло два решения, для исполнения которых «каждая минута могла стать роковой», как он справедливо отмечает в своей циркулярной телеграмме. Либо сделать «дорогую уступку» — пожертвовать государем, которому он присягал, коего он был генерал-адъютантом и ближайшим советником по ведению войны и защите России, либо — не колеблясь вырвать из рук самочинного временного правительства захваченные им железные дороги и подавить бунт толпы и Государственной Думы.

Генерал Алексеев избрал первое решение — без борьбы сдать все самочинным правителям, будто бы для спасения армии и России. Сам изменяя присяге, он думал, что армия не изменит долгу защиты родины.

Генерал Рузский спокойно, «стиснув зубы», как он говорил, но страшно волнуясь в душе, положил перед государем ленту своего разговора. Государь молча, внимательно все прочел. Встал с кресла и отошел к окну вагона. Рузский тоже встал. Наступила минута ужасной тишины. Государь вернулся к столу, указал генералу на стул, приглашая опять сесть, и стал говорить спокойно о возможности отречения. Он опять вспомнил, что его убеждение твердо, что он рожден для несчастия, что он приносит несчастие России; сказал, что он ясно сознавал вчера уже вечером, что никакой манифест не поможет. «Если надо, чтобы я отошел в сторону для блага России, я готов на это», — сказал государь, «но я опасаюсь, что народ этого не поймет: мне не простят старообрядцы, что я изменил своей клятве в день священного коронования; меня обвинят казаки, что я бросил фронт». После этого государь стал задавать вопросы о подробностях разговора с Родзянко, стал обдумывать, как бы в слух, возможное решение. Рузский высказал еще свою надежду, что манифест все успокоит, и просил обождать совета и мнения генерала Алексеева, хотя и не скрыл, что, судя по словам генерала Лукомского, видимо в Ставке склоняются к мнению о необходимости отречения. В это

время подали срочно дошедшую телеграмму Алексеева (№ 20). Рузский, бледный, прочел вслух ее содержание. «Что же вы думаете, Николай Владимирович», спросил государь. — Вопрос так важен и так ужасен, что я прошу разрешения вашего величества обдумать эту депешу, раньше чем отвечать. Депеша циркулярная. Посмотрим, что скажут главнокомандующие остальных фронтов. Тогда выяснится вся обстановка, — ответил Рузский. Государь встал, внимательно и грустно взглянул на Рузского и, сказав: «Да, и мне надо подумать», отпустил его до завтрака.

Перед завтраком Государь вышел из вагона и некоторое время гулял один на платформе. В два часа дня Государь потребовал Рузского к себе. В это время уже состоялся разговор генерала Клембовского с генералом Болдыревым (№ 21) и пришла телеграмма М. В. Алексеева (№ 30), содержавшая ответы всех главнокомандующих, кроме Сахарова и адмирала Колчака.

Рузский, в виду чрезвычайной важности момента, просил у государя разрешения явиться к докладу вместе с генералом Даниловым и Саввичем. Подробности этого доклада, очевидно, хорошо памятны этим обоим, единственным еще живым свидетелям трагической минуты. Государь принял окончательное решение, когда ознакомился с текстами телеграмм всех главнокомандующих; впрочем, еще перед завтраком, встретя Рузского на платформе, он высказал ему, что решил отречься. Государь взял блок с телеграфными бланками и написал несколько черновиков (№ 24, 25).

Было три часа дня. Государь дополнил текст одной телеграммы, согласив с текстом другой, и передал листки Рузскому. Тот вышел из вагона в 3 часа 10 минут дня и тут же ему вручили телеграмму о предстоящем приезде Гучкова и Шульгина. Рузский вернулся в вагон и доложил ее. Государь тогда приказал телеграмму (№ 24) задержать до прибытия этих лиц, а телеграмму (№ 25) взял обратно из рук генерала. В три часа 45 мин. государь прислал и за другой телеграммой. Рузский пошел с нею в императорский поезд и, встретив государя на платформе, предложил ее оставить у него до прибытия Гучкова и Шульгина. Соображая обстановку и видя глубокое волнение государя, генерал Рузский, все еще не теряя надежды, что можно избежать отречения, надеялся теперь, что прибытие таких умных людей, как Гучков, — хотя и явный недоброжелатель государя, — и преданный династии Шульгин, даст возможность при личном разговоре тотчас по прибытии их еще убедить их в ненужности отречения и также выяснить себе, наконец, что произошло в Петрограде, уже от очевидцев и участников событий.

Поэтому Рузский приказал, как только подойдет поезд с депутатами, доложить ему и просить обоих прибывших пройти ранее, чем к государю, к нему, желая с ними переговорить, имея в руках и черновик телеграммы об отречении. Он хотел сообщить им все свои сомнения в основательности оценки момента Родзянкой, на основании которой генерал Алексеев и все главнокомандующие привели впечатление колебания государя не в вопросе об отречении, а его видимое волнение и страдание в решении вопроса, как отрекшись в пользу сына, не быть с ним разлученным. Разлука с сыном была для государя явственно тяжелее, чем сложение тяжкого бремени власти. Ответы главнокомандующих и последняя фраза телеграммы Алексеева (№ 22) «ожидаю повеления», вызвали в государе чувство горечи, которого он, несмотря на всю свою выдержку, не мог скрыть. Тут государь, видимо, почувствовал себя всеми покинутым и у него не хватило духу обречь на подобные уже перенесенные им страдания своего единственного сына. К вечеру в уме государя созрела мысль отречься за себя и за сына.

Депутаты ожидались в 7 час. вечера, но прибыли только после 10 час. В силу каких-то соображений, а может быть, просто для ускорения, государь приказал, как только придет их поезд, привести депутатов немедленно к нему. Генерала Рузского об этом приказании не уведомили и он не видел Гучкова и Шульгина до того момента, когда вошел в вагон государя, где они уже находились в течение нескольких минут.

Между тем, в Ставке теряли терпение и ежеминутно требовали генерала Данилова к аппарату, передавая ему все более тревожные сведения из Петрограда, требуя доклада о решении, принятом государем (№№ 26, 27 и сл.), упрекали Данилова, что он не сообщает, отмалчивается, не держит Ставку в курсе дела. Видимо, в Ставке считали, что государь обязан подчиниться полученной в два часа телеграмме без размышления, как Родзянко считал, что его величество должен был моментально ответить 26 февраля на его телеграмму манифестом.

Проходили часы, по мнению Ставки, столь дорогие для спасения России, а «бесхарактерный» государь не решался и «болезненный» Рузский не находил энергии достичь желательного результата.

Между тем, М. В. Алексеев еще продолжал соблюдать «этикет», он «испрашивал» повелений у государя, как у верховного главнокомандующего. Так, генерал Корнилов и князь Львов были назначены, а генерал Иванов отозван в Могилев — еще державной волей государя по докладу его начальника штаба ген. Алексеева.

Подробности того, что происходило в вагоне государя, с прибытия Шульгина и Гучкова, уже известны, и Рузский на них в своих рассказах мало останавливается. Он отмечал только, что депутаты чувствовали себя очень неловко, были поражены спокойствием и выдержкой государя, а когда он объявил им о решении своем отречься и за сына, растерялись и просили разрешения выйти в другое отделение вагона, чтобы посоветоваться.

У государя к приезду депутатов был уже готов текст манифеста об отречении и ровно в 24 часа на 3-е марта он его подписал, пометив 2-е марта 15 часов, т.-е. тем часом, когда принято было им решение отречься.

Перед этим он подписал и два указа Правительствующему Сенату: о назначении князя Львова и Великого князя Николая Николаевича. Они помечены 2-е марта 14 час.

Гучков и Шульгин тотчас же написали расписку о принятии 2-го марта высочайшего манифеста.

Царствование государя Николая Александровича кончилось.

Для блага России, государь принес в жертву не только себя, но и всю свою семью. Уговорившие его на первый шаг его крестного пути не могли и не съумели сдержать своего обещания — жертва государя пропала даром. Из всех участников события один государь сознавал, что его отречение не только не спасет России, но будет началом ее гибели. Ни генерал Алексеев, ни генерал Рузский, не поняли тогда, что они только пешки в игре политических партий. Силы сторон были неравные. С одной — была многомиллионная армия, предводимая осыпанными милостями государя генералами, а с другой — кучка ловких, убежденных и энергичных революционных агитаторов, опиравшихся на небоеспособные гарнизоны столицы. Ширмой этой кучке служил прогрессивный блок Государственной Думы. Победила несомненно слабейшая сторона. Поддержи генерал Алексеев одним словом мнение генерала Рузского, вызови он Родзянку утром 2 марта к аппарату и в два-три дня революция была бы кончена. Он предпочел оказать давление на государя и увлек других главнокомандующих.

Генерал Алексеев понял свою ошибку ровно через семь часов после подписания государем акта отречения.

Уже в 7 час. утра 3-го марта Алексеев разослал новую циркулярную телеграмму, в которой сознавал, что «на Родзянку левые партии и рабочие депутаты оказывают мощное давление и в сообщениях Родзянко нет откровенности и искренности».

На основании одного такого сообщения Родзянко, генерал Алексеев решил 24 часа перед тем свести русского царя с престола.

Теперь Алексееву стали ясны и цели «господствующих над Председателем Государственной Думы партий». Стало ясно и «отсутствие единодушия Государственной Думы и влияние левых партий, усиленных Советами рабочих депутатов».

Генерал Алексеев прозрел и увидел «грозную опасность расстройства боеспособности армии бороться с внешним врагом» и перспективу гибели России.

Он теперь уже считал, что «основные мотивы Родзянко не верны», не желал быть поставленным перед «совершившимся фактом», не желал капитулировать перед крайними левыми элементами и предлагал созыв совещания главнокомандующих, для объявления воли армии правительству.

Что же случилось за эту несчастную ночь? Что показало генералу Алексееву, что он совершил непоправимую ошибку, не поддержав своего государя.

В пятом часу утра Родзянко и князь Львов вызвали к аппарату Рузского и объявили ему, что нельзя опубликовывать манифеста об отречении в пользу великого князя Михаила Александровича, пока они этого не разрешат сделать — государь опять поступил не по указке Родзянко, отрекшись и за сына, а для успокоения России царствование Михаила Александровича «абсолютно не приемлемо». Рузский был удивлен, но согласился сделать возможное, т.-е. приостановить распубликование и выразил сожаление, что Гучков и Шульгин не знали, что для России «абсолютно неприемлемо». Родзянко пытался объяснить это невиданным бунтом («а кто раньше видел», отметил, перечитывая ленту, Рузский). Этот бунт сделан гарнизоном, который сам Родзянко уже не считает солдатами, а «взятыми от сохи мужиками, которые кричат «Земли и Воли», «долой династию», «долой офицеров». И с этой толпой Родзянко и князь Львов переговариваются и ей подчиняются, считая ее мнение уже за мнение всей России. И что для этой толпы «абсолютно неприемлемо», то «абсолютно неприемлемо» и для гордого Временного Правительства, составленного из людей, коим «верит вся Россия». Родзянко, однако, «вполне уверен», что если теперь и великий князь Михаил Александрович отречется, то все пойдет прекрасно. До окончания войны будет действовать Верховный Совет и Временное Правительство, несомненно произойдет подъем патриотического чувства, все заработает в усиленном темпе, и победа может быть обеспечена.

Все эти слова показались Рузскому просто нелепыми, как он это отметил на ленте, перечитывая ее. «Если бог захочет наказать, то прежде всего разум отнимет», — прибавил еще Рузский. Во время разговора, он испытывал то же чувство и нашел, что люди, взявшиеся возглавить революцию, были даже не осведомлены о настроении населения. (Это видно из его пометки на ленте: «когда Петроград был в моем ведении, я знал настроение народа»).

При таких обстоятельствах Рузский решил дать князю Львову и Родзянко, в их беспомощности, хоть практические указания, как и с кем сноситься далее, ибо сам с уходом императорского поезда, уже становился опять в положение лишь главнокомандующего одного из фронтов.

Родзянко обещает все исполнить, но главное, беспокоится, как бы манифест не «прорвался в народ». В конце разговор принимает прямо анекдотичный оттенок: на вопрос Рузского, верно ли он понял намеченный порядок Верховного государственного правления, Родзянко поясняет: «Верховный Совет, ответственное Министерство, действие законодательных палат до решения вопроса о конституции в Учредительном собрании». Рузский спрашивает, «кто во главе Верховного Совета». Родзянко отвечает: «Я ошибся, не Верховный Совет, а Временный Комитет Государственной Думы под моим председательством». Рузский понял. Он заканчивает разговор сразу словами: «Хорошо, до свидания» и просьбой не забыть, что дальнейшие переговоры надо вести со Ставкой, а ему только сообщать о ходе дел.

Этот классический второй разговор был также, как и имевший место в предшествующую ночь, тотчас передан в Ставку. Этот разговор, увы, поздно выяснил в Ставке, как она поторопилась.

Едва ушел к Двинску императорский поезд с отрекшимся императором и к Петрограду поезд с Гучковым и Шульгиным, едва князь Львов и Родзянко узнали текст высочайшего манифеста, как он уже оказался «абсолютно неприемлемым» и его надо было скрыть. Отречение, которое должно было спасти порядок в России, оказалось недостаточным для людей, вообразивших себя способными управлять Россией, справиться с им-же вызванной революцией и вести победоносную войну. Безвластие теперь действительно наступило. Это была уже не анархия, что проявилась в уличной толпе, это была анархия в точном значении слова — власти вовсе не было. Ничто «не заработало в усиленном темпе», кроме машины, углублявшей революцию, не наступило «быстрого успокоения», не произошло подъема патриотического чувства и решительная победа не оказа-

лась обеспеченной, как это обещали князь Львов и Родзянко в ночь на 3-ье марта.

Генерал Алексеев в своей телеграмме (№ 34) сделал намек на необходимость взять власть в руки совещания главнокомандующих, но, как выяснил ему в своем ответе (№ 35) Рузский, это явилось бы попыткой несвоевременной и уже несомненно привело к междоусобице. Рузский теперь уже предложил Алексееву настаивать на объявлении манифеста и на полном контакте Начальника штаба Верховного главнокомандующего с правительством, желая продолжать действовать легальными путями, и предвидел, что из совещания могла образоваться еще одна власть, которая несомненно оказалась-бы в конфликте не только с Советами, но и с Временным Комитетом Государственной Думы.

Одновременно Рузский посылает телеграмму командующим армиями Северного фронта, ориентируя их в создавшейся обстановке.

В Ставке вторые сутки царила растерянность и начались недоразумения по вопросу об опубликовании и неопубликовании обоих манифестов (государя и великого князя Михаила Александровича) и приказа нового верховного главнокомандующего. И в штабе северного фронта и в штабе западного фронта, просили разъяснения. Весь разговор, изложенный в этом документе, отражает как в зеркале путаницу, суету, спешку в ставке. Главнокомандующие уже сбиты сами с толку и не успеет Ставка принять одно решение, как обстановка в столице требует принятия нового. Генерал Данилов смущен всеми противоречиями в важнейших документах и считает долгом отметить, для доклада М. Н. Алексееву, насколько опасно такие несверенные и несогласованные документы объявлять, несомненно взволнованным событиями войскам.

Вслед за этими первыми, не особенно приятными сношениями между Ставкой и штабом Рузского, наступает период все усиливающихся разногласий. Уж 5-го марта Ставка предлагает ряд мер для охранения армии от пропаганды из недр столичного Совета и для прекращения начавшихся в фронтовых и тыловых районах убийств офицеров. Рузский эти меры уже принял, но не ожидает от них успеха и просит Ставку снестись с правительством, чтобы оно и Совет рабочих депутатов осудили выступление против вооруженных команд и офицеров. Рузский не знал, что революция уже была правительством объявлена «великою и бескровною», а все жертвы эксцессов толпы надлежало во имя идеалов свободы замалчивать и скрывать.

Рузский уже видит, что обещанного Родзянкой подъема духа и наступления успокоения нет. Наоборот, части вол-

нуются, офицеры гибнут на фронте и в тылу от русских пуль и штыков, но он еще надеется, что правительство пользуется доверием народным и, не допуская мысли дать на фронте врагам и союзникам зрелища междуусобных сражений, предлагает вызвать авторитетных правительственных комиссаров для успокоения войск. Мера, чреватая печальными последствиями. Рузский объяснил ее принятие тем, что офицерство само слишком взволновано и сбито с толку, чтобы спокойно и объективно разъяснять солдатам положение, и искал лиц — очевидцев, лиц гражданских, которые выяснили-бы, что раз все офицерство подчинилось новому правительству, то нет оснований его подозревать в стремлении ему изменить.

В ночь на 6-е марта, генерал Рузский обращается с телеграммой к генералу Алексееву, Гучкову, Керенскому и князю Львову, указывает на безобразное явление ареста и обезоружения офицеров и, выясняя грозное значение этих явлений, требует немедленного и «авторитетного разъяснения недопустимости сего центральной властью», без чего развал неизбежен.

На все свои ходатайства Рузский не получает ответа и вместо того на фронт летят знаменитые приказы Совета солдатских и рабочих депутатов и прибывают агитационные делегации и депутации. 18 марта Рузский еще раз говорит с Родзянко, желая выяснить, что делается в столице и что делает Временный Комитет Государственной Думы. Путаница в словах «Совет Министров» и «Временное Правительство», по его мнению была вредна и производила впечатление неустойчивости. Родзянко пытался разъяснить сомнения генерала, но не убедил его и поспешил закончить разговор банальными любезностями. «Не стоило с ним говорить» вспоминал об этом разговоре впоследствии Рузский.

Через день произошел у него обмен телеграмм с военным министром Гучковым.

Телеграмма того, кто носил звание военного министра и пока выказывал себя лишь тем, что допустил издание приказа номер первый Совета солдатских и рабочих депутатов и запретил опубликование прощального приказа по армии отрекшегося Государя — Верховного главнокомандующего, — телеграмма эта глубоко возмутила военную душу Рузского. Он понял, что Гучков может быть прекрасным оратором, отличным критиком военного бюджета, но руководить обороной государства во время войны не может. В нем не было чувства дисциплины, он не понимал основ воинского духа.

Еще через два дня пришла длинная телеграмма из Ставки. Критические пометки на ней Рузского и горькие

заключительные фразы этих пометок показывают, что Рузский потерял окончательно веру в новое правительство и не одобрял оптимизма Ставки. Его присутствие во главе Северного фронта стало для него невозможным.

Н. В. Рузский мало знал государя, и, случалось, порицал его. Еще меньше он знал государыню. Но он был справедлив, глубоко любил Россию, был убежденный монархист, весь проникнутый чувством долга, прямолинеен и честен. Он не скрывал своих мнений, но умел слушать и был, хотя и либеральных взглядов, но беззаветно преданный престолу человек и солдат. Он не отделял трона от России. Он с первых минут революции предвидел, к чему она приведет, и обвинял в отречении, которое считал ошибкой, больше всего генерала Алексеева, как обвинял его и в разных военных неудачах.

В трагические дни стоянки императорского поезда в Пскове, Н. В. Рузский считал, что далеко не все потеряно, но был глубоко убежден в пользе ответственного перед палатами министерства и считал своим долгом настаивать на нем перед государем. Это ему удалось. Родзянко нашел что, однако, государь промедлил два дня, и, скрывая свое бессилие справиться с анархией в Петрограде, он решил пожертвовать государем.

М. В. Алексеев, сгоряча поверил Родзянке, принял решение, посоветовал государю отречься от престола и увлек к тому остальных главнокомандующих. Вот основное мнение покойного Н. В. Рузского о днях 1 и 2 марта 1917 года.

а) Подробности отречения.

В. В. Шульгин, ездивший вместе с А. И. Гучковым в Псков для переговоров с бывшим императором Николаем II, передает следующие подробности об обстоятельствах, при которых произошло отречение:

— Необходимость отречения, — рассказывает В. В. Шульгин, — была единогласно принята всеми, и только исполнение этого решения затягивалось. А. И. Гучков и я решили отправиться в Псков, где по полученным Исполнительным Комитетом Гос. Думы сведениям, в это время находился царь. Мы выехали 2-го марта, в 3 часа дня, с Варшавского вокзала. Высшие служащие дороги оказали нам полное содействие. Поезд был немедленно составлен и было отдано распоряжение, чтобы он следовал с предельной скоростью. К нам в вагон сели два инженера и мы поехали. Однако, мы задержались довольно долго в Гатчине, где дожидались генерал-адъютанта Н. И. Иванова, который стоял где-то около Вырицы с эшелоном, посланным на усмирение Петрограда. Но с Ивановым не удалось видеться. В Луге нас опять задержали, ибо собравшиеся толпы войска и народа просили А. И. Гучкова сказать несколько слов.

Около 10 часов вечера мы приехали в Псков, где предполагали первоначально переговорить с генералом Н. В. Рузским, который был извещен о нашем приезде. Но, как только поезд остановился, в вагон вошел один из адъютантов государя и сказал нам: «Его величество вас ждет». По выходе из вагонов, нам пришлось сделать несколько шагов до императорского поезда. Мне кажется, я не волновался. Я дошел до того предела утомления и нервного напряжения одновременно, когда уже ничто, кажется, не может ни удивить, ни показаться невозможным. Мне было только все-таки немного неловко, что я явился к царю в пиджаке, грязный, немытый, четыре дня не бритый, с лицом каторжника, выпущенного из только-что сожженых тюрем.

Мы вошли в салон-вагон, ярко освещенный, крытый чем-то светло-зеленым. В вагоне был Фредерикс (министр

двора), и еще какой-то генерал, фамилию которого я не знаю. Через несколько мгновений вошел царь. Он был в форме одного из кавказских полков. Лицо его не выражало решительно ничего больше, чем когда приходилось видеть в другое время. Поздоровался он с нами скорее любезно, чем холодно, подав руку. Затем сел и просил всех сесть, указав место А. И. Гучкову рядом с собой, около маленького столика, а мне — напротив А. И. Гучкова. Фредерикс сел немного поодаль, а в углу вагона за столиком, сел генерал, фамилию которого я не знал, приготовляясь записывать. Кажется, в это время вошел Рузский и, извинившись перед государем, поздоровался с нами и занял место рядом со мною — значит, против царя.

При таком составе (царь, Гучков, я, Рузский, Фредерикс и генерал, который писал) началась беседа. Стал говорить Гучков. Я боялся, что Гучков скажет царю что-нибудь злое, безжалостное, но этого не случилось. Гучков говорил довольно долго, гладко, даже стройно в расположении частей своей речи. Он совершенно не коснулся прошлого. Он изложил современное положение, стараясь выяснить, до какой бездны мы дошли. Он говорил, не глядя на царя, положив правую руку на стол и опустив глаза. Он не видел лица царя и, вероятно, так ему было легче договорить все до конца. Он и сказал все до конца, закончив тем, что единственным выходом из положения было бы отречение царя от престола в пользу маленького Алексея, с назначением регентом великого князя Михаила. Когда он это сказал, генерал Рузский наклонился ко мне и шепнул:

— Это уже дело решенное.

Когда Гучков кончил, царь заговорил, при чем его голос и манеры были гораздо спокойнее и как-то более просто деловиты, чем взволнованная величием минуты несколько приподнятая речь Гучкова. Царь сказал совершенно спокойно, как-будто о самом обыкновенном деле:

— Я вчера и сегодня целый день обдумывал и принял решение отречься от престола. До 3 часов дня я готов был пойти на отречение в пользу моего сына, но затем я понял, что расстаться со своим сыном я не способен.

Тут он сделал очень коротенькую остановку и прибавил, но все также спокойно:

— Вы это, надеюсь, поймете.

Затем он продолжал:

— Поэтому я решил отречься в пользу моего брата.

После этих слов он замолчал, как бы ожидая ответа. Тогда я сказал:

— Это предложение застает нас врасплох. Мы предвидели только отречение в пользу цесаревича Алексея. По-

этому я прошу разрешения поговорить с Александром Ивановичем (Гучковым) четверть часа, чтобы дать согласный ответ.

Царь согласился, но, не помню уж как разговор снова завязался и мы очень скоро сдали ему позицию. Гучков сказал, что он не чувствует себя в силах вмешиваться в отцовские чувства и считает невозможным в этой области какое бы то ни было давление. Мне показалось, что в лице царя промелькнуло слабо выраженное удовлетворение за эти слова. Я, с своей стороны, сказал, что желание царя, насколько я могу его оценить, хотя имеет против себя то, что оно противоречит принятому решению, но за себя имеет также многое. При неизбежной разлуке создастся очень трудное, щекотливое положение, так как маленький царь будет все время думать о своих отсутствующих родителях, и, быть может, в душе его будут расти недобрые чувства по отношению к людям, разлучившим его с отцом и матерью. Кроме того, большой вопрос, может ли регент принести присягу на верность конституции за малолетнего императора. Между тем, такая присяга при настоящих обстоятельствах совершенно необходима для того, чтобы опять не создалось двойственного положения. Это препятствие при вступлении на престол Михаила Александровича будет устранено, ибо он может принести присягу и быть конституционным монархом. Таким образом, мы выразили согласие на отречение в пользу Михаила Александровича. После этого царь спросил нас, можем ли мы принять на себя известную ответственность, дать известную гарантию в том, что акт отречения действительно успокоит страну и не вызовет каких-нибудь осложнений. На это мы ответили, что насколько мы можем предвидеть, мы осложнений не ждем. Я не помню точно, когда царь встал и ушел в соседний вагон подписать акт. Приблизительно около четверти двенадцатого царь вновь вошел в наш вагон, — в руках он держал листочки небольшого формата. Он сказал:

— Вот акт отречения, прочтите.

Мы стали читать вполголоса. Документ был написан красиво, благородно. Мне стало совестно за тот текст, который мы однажды набросали. Однако, я просил царя, после слов: заповедаем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях на тех началах, кои будут установлены», — вставить: «принеся в том всенародную присягу».

Царь сейчас же согласился и тут же приписал эти слова, изменив одно слово, так что вышло: «принеся в том ненарушимую присягу». Таким образом Михаил Александрович

должен был бы принести присягу на верность конституции и был бы строго конституционным монархом. Мне казалось, что этого совершенно достаточно, но события пошли дальше... Акт был написан на двух или трех листочках небольшого формата с помощью пишущей машинки. На заглавном листе стояло слева слово: «Ставка», а справа «Начальнику штаба». Подпись была сделана карандашом.

Когда мы прочли и одобрили акт, мне кажется, произошел обмен рукопожатий, как-будто имевший сердечный характер. Впрочем, в это время я уже безусловно был взволнован и потому могу ошибаться. Может быть, этого и не было. Я помню, что, когда я в последний раз взглянул на часы, было без 12 минут 12. Поэтому, надо думать, что все это событие огромной исторической важности произошло между 11 и 12 часами в ночь со 2-го на 3-е марта. Я помню, что, когда это случилось, у меня мелькнула мысль: «Как хорошо, что было 2-е марта, а не 1-е». После этого было прощание. Мне кажется, что злых чувств ни с той, ни с другой стороны в это мгновение не было. У меня в душе была скорее жалость к человеку, который в это мгновение искупал свои ошибки благородством мыслей, осветивших отказ от власти. С внешней стороны царь был совершенно спокоен, но скорее дружественен, чем холоден.

Я забыл сказать, что мы условились с ген. Рузским, что будет два экземпляра акта, собственноручно подписанных, потому что мы опасались, что при бурных обстоятельствах Петрограда, акт, который мы привезем, может быть легко утрачен. Таким образом, первый подписанный акт на листочках небольшого формата должен был остаться у ген. Рузского. Мы же привезли второй экземпляр, также написанный на машинке, но на листочке большого формата. Подпись царя справа сделана также карандашом, а с левой стороны — пером скрепил министр двора Фредерикс. В получении этого экземпляра, который был нам вручен в вагоне ген. Рузского, мы т.-е. Гучков, и я, выдали расписку. Этот экземпляр мы привезли в Петроград, и его удалось передать в надежные руки.

Была минута, когда документ подвергался опасности.

б) «Д Н И».

1-го марта 1917 г. В Государственной Думе.

В сотый раз вернулся Родзянко... Он был возбужденный, более того — разъяренный... Опустился в кресло.

— Ну, что? Как?

— Как? Ну и мерзавцы же эти...

Он вдруг оглянулся.

— Говорите, их нет...

«Они» — это был Чхеидзе и еще кто-то, словом, левые...

— Какая сволочь! Ну, все было очень хорошо... Я им сказал речь... Встретили меня как нельзя лучше... Я сказал им патриотическую речь, — как-то я стал вдруг в ударе... Кричат «ура». Вижу — настроение самое лучшее. Но только я кончил, кто-то из них начинает...

— Из кого?

— Да из этих... как их... собачьих депутатов... От Исполкома, что ли — ну, словом, от этих мерзавцев...

— Что же они?

— Да вот именно, что же?.. «Вот председатель Государственной Думы все требует от вас, чтобы вы, товарищи, русскую землю спасали... Так ведь, товарищи, это понятно... У господина Родзянко есть что спасать... не малый кусочек у него этой самой русской земли в Екатеринославской губернии, да какой земли!.. А, может быть, и еще в какой-нибудь есть?.. Например, в Новгородской?.. Там, говорят, едешь лесом, что ни спросишь: чей лес? — отвечают: Родзянковский... Так вот, Родзянкам и другим помещикам Государственной Думы есть что спасать... Эти свои владения, княжеские, графские и баронские... они и называют русской землей... Ее и предлагают вам спасать, товарищи... А вот вы спросите председателя Государственной Думы, будет ли он также заботиться о спасении Государственной Думы, будет ли он также заботиться о спасении русской земли, если эта русская земля... из помещичьей... станет вашей, товарищи?» Понимаете, вот скотина!

— Что же вы ответили?

— Что я ответил? Я уже не помню, что я ответил... Мерзавцы!..

Он так стукнул кулаком по столу, что запрыгали под скатертью секретные документы.

— Мерзавцы! Мы жизнь сыновей отдаем своих, а это хамье думает, что земли пожалеем. Да будет она проклята, эта земля, на что она мне, если России не будет? Сволочь подлая. Хоть рубашку снимите, но Россию спасите. Вот что я им сказал.

Его голос начинал переходить пределы...

— Успокойтесь, Михаил Владимирович.

***

Но он долго не мог успокоиться... Потом...

Потом поставил нас в «курс дела». Он все время ведет переговоры со Ставкой и с Рузским... Он, Родзянко, все время по прямому проводу сообщает, что происходит здесь, сообщает, что положение вещей с каждой минутой ухудшается; что правительство сбежало; что временно власть принята Государственной Думой, в лице ее Комитета, но что положение ее очень шаткое, во-первых, потому, что войска взбунтовались — не повинуются офицерам, а, наоборот, угрожают им, во-вторых, потому, что рядом с Комитетом Государственной Думы вырастает новое учреждение — именно «исполком», который, стремясь захватить власть для себя, — всячески подрывает власть Государственной Думы, в-третьих, вследствие всеобщего развала и с каждым часом увеличивающейся анархии; что нужно принять какие-нибудь экстренные, спешные меры; что вначале казалось, что достаточно будет ответственного министерства, но с каждым часом промедления становится хуже; что требования растут... Вчера уже стало ясно, что опасность угрожает самой монархии... возникла мысль, что все сроки прошли и что, может быть, только отречение государя-императора в пользу наследника может спасти династию... Генерал Алексеев примкнул к этому мнению...

— Сегодня утром, — прибавил Родзянко, — я должен был ехать в Ставку для свидания с государем-императором, доложить его величеству, что, может быть, единственный исход — отречение... Но эти мерзавцы узнали... и, когда я собирался ехать, сообщили мне, что ими дано приказание не выпускать поезда... Не пустят поезда! Ну, как вам это нравится? Они заявили, что одного меня не пустят, а что должен ехать со мною Чхеидзе и еще какие-то... Ну, слуга покорный, — я с ними к государю не поеду... Чхеидзе дол-

жен был сопровождать батальон «революционных солдат». Что они там учинили бы?.. Я с этим скот...

***

В это время приехал Гучков. Он был в очень мрачном состоянии.

— Настроение в полках ужасное... Я не убежден, не происходит ли сейчас убийств офицеров. Я объезжал лично и видел... Надо на что-нибудь решиться... И надо скорее... Каждая минута промедления будет стоить крови... будет хуже... будет хуже...

Он уехал.

***

Вернувшись, Родзянко без конца читал нам бесконечные ленты с прямого провода. Это были телеграммы от Алексеева из Ставки и Рузского из Пскова. Алексеев находил необходимым отречение государя императора.

***

Эта мысль об отречении государя была у всех, но как-то об этом мало говорили. Вообще же было только несколько человек, которые в этом ужасном сумбуре думали об основных линиях. Все остальные, потрясенные ближайшим, занимались тем, чем занимаются на пожарах: качают воду, спасают погибающих и пожитки, суетятся и бегают.

Мысль об отречении созревала в умах и сердцах как-то сама по себе. Она росла из ненависти к монарху, не говоря о всех прочих чувствах, которыми день и ночь хлестала нам в лицо революционная толпа. На третий день революции вопрос о том, может ли царствовать дальше государь, которому безнаказанно брошены в лицо все оскорбления, был уже, очевидно, решен в глубине души каждого из нас.

Обрывчатые разговоры были то с тем, то с другим. Но я не помню, чтобы этот вопрос обсуждался Комитетом Государственной Думы, как таковым. Он был решен в последнюю минуту.

В эту ночь он вспыхивал несколько раз по поводу этих узеньких ленточек, которые сворачивал в руках Родзянко, читая. Ужасные ленточки! Эти ленточки были нитью, связывавшей нас с армией, с той армией, о которой мы столько заботились, для которой мы пошли на все... Ведь смысл похода на правительство с 1915 года был один: чтобы армия сохранилась, чтобы армия дралась... И вот теперь по этим ленточкам надо было решить, как поступить... Что для нее сделать?..

***

Кажется, в четвертом часу ночи вторично приехал Гучков. Он был сильно расстроен. Только что рядом с ним в автомобиле убили князя Вяземского. Из каких-то казарм обстреляли «офицера».

***

И тут собственно это и решилось. Нас было в это время неполный состав. Были—Родзянко, Милюков, я—остальных не помню... Но помню, что ни Керенского, ни Чхеидзе не было. Мы были в своем кругу. И потому Гучков говорил совершенно свободно. Он сказал приблизительно следующее:

— Надо принять какое-нибудь решение. Положение ухудшается с каждой минутой. Вяземского убили только потому, что он офицер... То же самое происходит, конечно, и в других местах... А если не происходит этой ночью, то произойдет завтра... Идучи сюда, я видел много офицеров в разных комнатах Государственной Думы: они просто спрятались сюда... Они боятся за свою жизнь... Они умоляют спасти их... Надо на что-нибудь решиться... На что-то большое, что могло бы произвести впечатление... что дало бы исход... что могло бы вывести из ужасного положения с наименьшими потерями... В этом хаосе, во всем, что делается, надо прежде всего думать о том, чтобы спасти монархию... Без монархии Россия не может жить... Но, видимо, нынешнему государю царствовать больше нельзя... Высочайшее повеление от его лица — уже не повеление: его не исполнят... Если это так, то можем ли мы спокойно и безучастно дожидаться той минуты, когда весь этот революционный сброд начнет сам искать выхода... И сам расправится с монархией... Меж тем, это неизбежно будет, если мы выпустим инициативу из наших рук.

Родзянко сказал:

— Я должен был сегодня утром ехать к государю... Но меня не пустили... Они объявили мне, что не пустят поезда, и требовали, чтобы я ехал с Чхеидзе и батальоном солдат.

— Я это знаю, — сказал Гучков, — поэтому действовать надо иначе... Надо действовать тайно и быстро, никого не спрашивая... ни с кем не советуясь... Если мы сделаем по соглашению с «ними», то это непременно будет наименее выгодно для нас... Надо поставить их перед свершившимся фактом... Надо дать России нового государя... Надо под этим новым знаменем собрать то, что можно собрать... для отпора... Для этого надо действовать быстро и решительно...

— То есть — точнее? Что вы предполагаете сделать?

— Я предлагаю немедленно ехать к государю и привезти отречение в пользу наследника...

Родзянко сказал:

— Рузский телеграфировал мне, что он уже говорил об этом с государем... Алексеев запросил главнокомандующих фронтами о том же. Ответы ожидаются...

— Я думаю, надо ехать, — сказал Гучков. — Если вы согласны и если вы меня уполномачиваете, я поеду... Но мне бы хотелось, чтобы поехал еще кто-нибудь...

Мы переглянулись. Произошла пауза, после которой я сказал:

— Я поеду с вами...

***

Мы обменялись еще всего несколькими словами. Я постарался уточнить: Комитет Государственной Думы признает единственным выходом в данном положении отречение государя императора, поручает нам двоим доложить об этом его величеству и, в случае его согласия, поручает привезти текст отречения в Петроград. Отречение должно произойти в пользу наследника цесаревича Алексея Николаевича. Мы должны ехать вдвоем, в полной тайне.

***

Я отлично понимал, почему я еду. Я чувствовал, что отречение случится неизбежно, и чувствовал, что невозможно поставить государя лицом к лицу с «Чхеидзе»... Отречение должно быть передано в руки монархистов и ради спасения монархии.

Кроме того, было еще другое соображение. Я знал, что офицеров будут убивать именно за то, что они монархисты, за то, что они захотят исполнить свой долг присяги царствующему императору до конца. Это, конечно, относится к лучшим офицерам. Худшие приспособятся. И вот для этих лучших надо было, чтобы сам государь освободил их от присяги, от обязанности повиноваться ему. Он только один мог спасти настоящих офицеров, которые нужны были как никогда. Я знал, что в случае отречения... революции как бы не будет. Государь отречется от престола по собственному желанию, власть перейдет к регенту, который назначит новое правительство. Государственная Дума, подчинившаяся указу о роспуске и подхватившая власть только потому, что старые министры разбежались, — передаст эту власть новому правительству. Юридически революции не будет.

Я не знал, удастся ли этот план при наличии Гиммеров, Нахамкесов и приказ № 1. Но, во всяком случае, он пред-

ставлялся мне единственным. Для всякого иного нужна была реальная сила. Нужны были немедленно повинующиеся нам штыки, а таковых-то именно и не было...

***

В пятом часу ночи мы сели с Гучковым в автомобиль, который по мрачной Шпалерной, где нас останавливали какие-то посты и заставы, и по неузнаваемой чужой Сергиевской довез нас до квартиры Гучкова. Там А. И. набросал несколько слов.

Этот текст был составлен слабо, а я совершенно был неспособен его улучшить, ибо все силы были на исходе.

2-е марта 1917 г. Во Пскове.

Чуть серело, когда мы подъехали к вокзалу. Очевидно, революционный народ, утомленный подвигами вчерашнего дня, еще спал. На вокзале было пусто.

Мы прошли к начальнику станции. Александр Иванович сказал ему:

— Я — Гучков... Нам совершенно необходимо по важнейшему государственному делу ехать во Псков... Прикажите подать нам поезд...

Начальник станции сказал: «слушаюсь», и через двадцать минут поезд был подан.

***

Это был паровоз и один вагон с салоном и со спальнями. В окна замелькал серый день. Мы, наконец, были одни, вырвавшись из этого ужасного человеческого круговорота, который держал нас в своем липком веществе в течение трех суток. И впервые значение того, что мы делаем, стало передо мной, если не во всей своей колоссальной огромности, которую в то время не мог охватить никакой человеческий ум, то, по крайней мере, в рамках доступности...

***

Тот роковой путь, который привел меня и таких, как я, к этому дню 2 марта, бежал в моих мыслях так же, как эта унылая лента железнодорожных пейзажей, там, за окнами вагона... День за днем наматывался этот клубок... В нем были этапы, как здесь — станции... Но были эти «станции» моего пути далеко не так безрадостны, как вот эти, мимо которых мы сейчас проносились...

***

Станции проносились мимо нас... Иногда мы останавливались... Помню, что А. И. Гучков иногда говорил краткие

речи с площадки вагона... это потому, что иначе нельзя было... На перронах стояла толпа, которая все знала... То-есть она знала, что мы едем к царю... И с ней надо было говорить...

***

Не помню, на какой станции нас соединили прямым проводом с генерал-адъютантом Николаем Иудовичем Ивановым. Он был, кажется, в Гатчине. Он сообщил нам, что по приказанию государя накануне, или еще 28 числа, выехал по направлению к Петрограду... Ему было приказано усмирить бунт... Для этого, не входя в Петроград, он должен был подождать две дивизии, которые были сняты с фронта и направлялись в его распоряжение... В качестве, так сказать, верного кулака ему было дано два батальона георгиевцев, составляющих личную охрану государя. С ними он шел до Гатчины... И ждал... В это время кто-то успел разобрать рельсы, так что он, в сущности, отрезан от Петрограда... Он ничего не может сделать, потому что явились «агитаторы», и георгиевцы уже разложились... На них нельзя положиться... Они больше не повинуются... Старик стремился повидаться с нами, чтобы решить, что делать...

Но надо было спешить... Мы ограничились этим телеграфным разговором...

***

Все же мы ехали очень долго... Мы мало говорили с А. И. Усталость брала свое... Мы ехали, как обреченные... Как все самые большие вещи в жизни человека, и это совершалось не при полном блеске сознания... Так надо было... Мы бросились на этот путь, потому, что всюду была глухая стена... Здесь, казалось, просвет... Здесь было «может быть»... А всюду кругом было — «оставь надежду»...

***

Разве переходы монаршей власти из рук одного монарха к другому не спасали Россию?

Сколько раз это было...

***

В 10 час. вечера мы приехали. Поезд стал. Вышли на площадку. Голубоватые фонари освещали рельсы. Через несколько путей стоял освещенный поезд... Мы поняли, что это императорский...

Сейчас же кто-то подошел...

— Государь ждет вас...

И повел нас через рельсы. Значит, сейчас все это произойдет. И нельзя отвратить?

Нет, нельзя... Так надо... Нет выхода... Мы пошли, как идут люди на все самое страшное, — не совсем понимая... Иначе не пошли бы...

Но меня мучила еще одна мысль, совсем глупая...

Мне было неприятно, что я являюсь к государю небритый, в смятом воротничке, в пиджаке...

***

С нас сняли верхнее платье. Мы вошли в вагон.

Это был большой вагон-гостиная. Зеленый шелк по стенам... Несколько столов... Старый, худой, высокий желтовато-седой генерал с аксельбантами...

Это был барон Фредерикс...

— Государь император сейчас выйдет... Его величество в другом вагоне...

Стало еще безотраднее и тяжелее...

В дверях появился государь... Он был в серой черкеске... Я не ожидал его увидеть таким...

Лицо?

Оно было спокойно...

Мы поклонились. Государь поздоровался с нами, подав руку. Движение это было скорее дружелюбно...

— А Николай Владимирович?

Кто-то сказал, что генерал Рузский просил доложить, что он немного опоздает.

— Так мы начнем без него.

Жестом государь пригласил нас сесть... Государь занял место по одну сторону маленького четырехугольного столика, придвинутого к зеленой шелковой стене. По другую сторону столика сел Гучков. Я—рядом с Гучковым, наискось от государя. Против царя был барон Фредерикс...

Говорил Гучков. И очень волновался. Он говорил, очевидно, хорошо продуманные слова, но с трудом справлялся с волнением. Он говорил негладко... и глухо.

Государь сидел, опершись слегка о шелковую стену, и смотрел перед собой. Лицо его было совершенно спокойно и непроницаемо.

Я не спускал с него глаз. Он изменился сильно с тех пор... Похудел... Но не в этом было дело... А дело было в том, что вокруг голубых глаз кожа была коричневая и вся разрисованная белыми черточками морщин. И в это мгновение я почувствовал, что эта коричневая кожа с морщинками, что это маска, что это не настоящее лицо государя, и что настоящее, может быть, редко кто видел, может быть, иные никогда, ни разу не видели... А я видел тогда, в тот первый день, когда я видел его в первый раз, когда он сказал мне:

— Оно и понятно... Национальные чувства на западе России сильнее... Будем надеяться, что они передадутся и на восток...

Да, они передались. Западная Россия заразила восточную национальными чувствами. Но восток заразил запад... властиборством.

И вот результат... Гучков — депутат Москвы, и я, представитель Киева — мы здесь... Спасаем монархию через отречение... А Петроград?

Гучков говорил о том, что происходит в Петрограде. Он немного овладел собой... Он говорил (у него была эта привычка), слегка прикрывая лоб рукой, как бы для того, чтобы сосредоточиться. Он не смотрел на государя, а говорил, как бы обращаясь к какому-то внутреннему лицу, в нем же, Гучкове, сидящему. Как будто бы совести своей говорил.

Он говорил правду, ничего не преувеличивая и ничего не утаивая. Он говорил то, что мы все видели в Петрограде. Другого он не мог сказать. Что делалось в России, мы не знали. Нас раздавил Петроград, а не Россия...

Государь смотрел прямо перед собой, спокойно, совершенно непроницаемо. Единственное, что, мне казалось, можно было угадать в его лице:

— Эта длинная речь — лишняя.

В это время вошел генерал Рузский. Он поклонился государю и, не прерывая речи Гучкова, занял место между бароном Фредериксом и мною... В эту же минуту, кажется, я заметил, что в углу комнаты сидит еще один генерал, волосами черный с белыми погонами... Это был генерал Данилов...

Гучков снова заволновался. Он подошел к тому, что может быть единственным выходом из положения было бы отречение от престола.

Генерал Рузский наклонился ко мне и стал шептать:

— По шоссе из Петрограда движутся сюда вооруженные грузовики... Неужели же ваши?.. Из Государственной Думы?

Меня это предположение оскорбило. Я ответил шопотом, но резко:

— Как это вам могло притти в голову?

Он понял.

— Ну, слава богу, — простите... Я приказал их задержать.

Гучков продолжал говорить об отречении...

Генерал Рузский прошептал мне:

— Это дело решенное... Вчера был трудный день... Буря была...

— ... И, помолясь богу... — говорил Гучков.

При этих словах по лицу государя впервые пробежало что-то... Он повернул голову и посмотрел на Гучкова с таким видом, который как бы выражал:

— Этого можно было бы и не говорить...

***

Гучков окончил. Государь ответил. После взволнованных слов А. И., голос его звучал спокойно, просто и точно. Только акцент был немножко чужой — гвардейский:

— Я принял решение отречься от престола... До трех часов сегодняшнего дня я думал, что могу отречься в пользу сына, Алексея... Но к этому времени я переменил решение в пользу брата Михаила... Надеюсь, вы поймете чувства отца...

Последнюю фразу он сказал тише...

***

К этому мы не были готовы. Кажется, А. И. пробовал представить некоторые возражения... Кажется, я просил четверть часа — посоветоваться с Гучковым... Но это почему-то не вышло... И мы согласились, если это можно назвать согласием, тут же... Но за это время сколько мыслей пронеслось, обгоняя одна другую...

Во-первых, как мы могли «не согласиться?»... Мы приехали сказать царю мнение Комитета Государственной Думы... Это мнение совпало с решением его собственным... а если бы не совпало? Что мы могли бы сделать? Мы уехали бы обратно, если бы нас отпустили... Ибо мы ведь не вступали на путь «тайного насилия», которое практиковалось в XVIII веке и в начале XIX-го...

Решение царя совпало в главном... Но разошлось в частностях... Алексей или Михаил перед основным фактом — отречением — все же была частность. Допустим, на эту частность мы бы «не согласились»... Каков результат? Прибавился бы только один лишний повод к неудовольствию. Государь передал престол «вопреки желанию Государственной Думы»... И положение нового государя было бы подорвано.

Кроме того, каждый миг был дорог. И не только потому, что по шоссе движутся вооруженные грузовики, которых мы достаточно насмотрелись в Петрограде, и знали, что это такое, и которые генерал Рузский приказал остановить (но остановят ли?), но еще и вот почему: с каждой минутой революционный сброд в Петрограде становится наглее, и, следовательно, требования его будут расти. Может быть, сейчас еще можно спасти монархию, но надо думать и о том, чтобы спасти хотя бы жизнь членам династии.

Если придется отрекаться и следующему, — то ведь Михаил может отречься от престола...

Но малолетний наследник не может отречься — его отречение недействительно.

И тогда что они сделают, эти вооруженные грузовики, движущиеся по всем дорогам?

Наверное, и в Царское Село летят — проклятые...

И сделались у меня:

«Мальчики кровавые в глазах»...

***

А кроме того...

Если что может еще утишить волны, — это если новый государь воцарится, присягнув конституции...

Михаил может присягнуть.

Малолетний Алексей — нет...

***

А кроме того...

Если здесь есть юридическая неправильность... Если государь не может отрекаться в пользу брата... Пусть будет неправильность!.. Может быть, этим выиграется время... Некоторое время будет править Михаил, а потом, когда все угомонится, выяснится, что он не может царствовать, и престол перейдет к Алексею Николаевичу...

***

Все это, перебивая одно другое, пронеслось, как бывает в такие минуты... Как будто не я думал, а кто-то другой за меня, более быстро соображающий...

***

И мы «согласились»...

***

Государь встал... Все поднялись...

Гучков передал государю «набросок». Государь взял его и вышел.

***

Когда государь вышел, генерал, который сидел в углу и который оказался Юрием Даниловым, подошел к Гучкову. Они были раньше знакомы.

— Не вызовет ли отречение в пользу Михаила Александровича впоследствии крупных осложнений в виду того, что такой порядок не предусмотрен законом о престолонаследии?

Гучков, занятый разговором с бароном Фредериксом, познакомил генерала Данилова со мною, и я ответил на этот вопрос. И тут мне пришло в голову еще одно соображение, говорящее за отречение в пользу Михаила Александровича.

— Отречение в пользу Михаила Александровича не соответствует закону о престолонаследии. Но нельзя не видеть, что этот выход имеет при данных обстоятельствах серьезные удобства. Ибо, если на престол взойдет малолетний Алексей, то придется решать очень трудный вопрос, останутся ли родители при нем, или им придется разлучиться. В первом случае, т.-е. если родители останутся в России, отречение будет в глазах тех, кого оно интересует, как бы фиктивным... В особенности это касается императрицы... Будут говорить, что она так же правит при сыне, как при муже... При том отношении, какое сейчас к ней, — это привело бы к самым невозможным затруднениям. Если же разлучить малолетнего государя с родителями, то, не говоря о трудности этого дела, это может очень вредно отразиться на нем. На троне будет подрастать юноша, ненавидящий все окружающее, как тюремщиков, отнявших у него отца и мать... При болезненности ребенка это будет чувствоваться особенно остро.

***

Барон Фредерикс был очень огорчен, узнав, что его дом в Петрограде горит. Он беспокоился о баронессе, но мы сказали, что баронесса в безопасности...

***

Через некоторое время государь вошел снова. Он протянул Гучкову бумагу, сказав:

— Вот текст...

Это были две или три четвертушки — такие, какие, очевидно, употреблялись в Ставке для телеграфных бланков. Но текст был написан на пишущей машинке.

Я стал пробегать его глазами, и волнение, и боль и еще что-то сжало сердце, которое, казалось, за эти дни уже лишилось способности что-нибудь чувствовать... Текст был написан теми удивительными словами, которые теперь все знают...

***

Каким жалким показался мне набросок, который мы привезли. Государь принес его и положил на стол.

***

К тексту отречения нечего было прибавить... Во всем этом ужасе на мгновение пробился светлый луч... Я вдруг

почувствовал, что с этой минуты жизнь государя в безопасности... Половина шипов, вонзившихся в сердце его подданных, вырывались этим лоскутком бумаги. Так благородны были эти прощальные слова... И так почувствовалось, что он так же, как и мы, а может быть гораздо больше, любит Россию...

***

Почувствовал ли государь, что мы растроганы, но обращение его с этой минуты стало как-то теплее...

***

Но надо было делать дело до конца... Был один пункт, который меня тревожил... Я все думал о том, что, может быть, если Михаил Александрович прямо и до конца объявит «конституционный образ правления», ему легче будет удержаться на троне... Я сказал это государю... И просил его в том месте, где сказано: «... с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены...» приписать: «принеся в том всенародную присягу».

Государь сейчас же согласился.

— Вы думаете, это нужно!

И присев к столу, приписал карандашом: «принеся в том ненарушимую присягу».

Он написал не «всенародную», а «ненарушимую», что, конечно, было стилистически гораздо правильнее.

Это единственное изменение, которое было внесено.

***

Затем я просил государя:

— Ваше величество... Вы изволили сказать, что пришли к мысли об отречении в пользу великого князя Михаила Александровича сегодня в 3 часа дня. Было бы желательно, чтобы именно это время было обозначено здесь, ибо в эту минуту вы приняли решение...

***

Я не хотел, чтобы когда-нибудь, кто-нибудь мог сказать, что манифест «вырван»... Я видел, что государь меня понял и, повидимому, это совершенно совпало и с его желанием, потому что он сейчас же согласился и написал: «2 марта, 15 часов», то-есть 3 часа дня... Часы показывали в это время начало двенадцатого ночи...

***

Потом мы, не помню по чьей инициативе, начали говорить о верховном главнокомандующем и о председателе совета министров.

Тут память мне изменяет. Я не помню, было ли написано назначение великого князя Николая Николаевича верховным главнокомандующим при нас, или же нам было сказано, что это уже сделано...

Но я ясно помню, как государь написал при нас указ правительствующему сенату о назначении председателя совета министров...

Это государь писал у другого столика и спросил:

— Кого вы думаете?..

Мы сказали: — князя Львова...

Государь сказал какой-то особой интонацией, — я не могу этого передать:

— Ах, — Львов? Хорошо — Львова...

Он написал и подписал...

Время, по моей же просьбе, было поставлено для действительности акта двумя часами раньше отречения, т.-е. 13 часов.

***

Когда государь так легко согласился на назначение Львова, — я думал: «Господи, господи, ну не все ли равно,— вот теперь пришлось это сделать — назначить этого человека «общественного доверия», когда все пропало... Отчего же нельзя это было сделать несколько раньше... Может быть, этого тогда бы и не было»...

***

Государь встал... Мы как-то в эту минуту были с ним вдвоем в глубине вагона, а остальные были там — ближе к выходу... Государь посмотрел на меня и, может быть, прочел в моих глазах чувства, меня волновавшие, потому что взгляд его стал каким-то приглашающим высказать... И у меня вырвалось:

— Ах, ваше величество... Если бы вы это сделали раньше, ну хоть до последнего созыва Думы, может быть, всего этого...

Я не договорил...

Государь посмотрел на меня как-то просто и сказал еще проще:

— Вы думаете — обошлось бы?

***

Обошлось бы. Теперь я этого не думаю. Было поздно, в особенности после убийства Распутина. Но если бы это было сделано осенью 1915 года, то-есть, после нашего великого отступления, — может быть и обошлось бы...

***

Государь смотрел на меня, как будто бы ожидая, что я еще что-нибудь скажу. Я спросил:

— Разрешите узнать, ваше величество, ваши личные планы? Ваше величество поедете в Царское?

Государь ответил:

— Нет... Я хочу сначала проехать в Ставку... проститься... А потом я хотел бы повидать матушку... Поэтому я думаю или проехать в Киев, или просить ее приехать ко мне... А потом — в Царское...

***

Теперь, кажется, было уже все сделано. Часы показывали без двадцати минут двенадцать. Государь отпустил нас. Он подал нам руку, с тем характерным коротким движением головы, которое ему было свойственно. И было это движение, может быть, даже чуточку теплее, чем то, когда он нас встретил...

***

Около часу ночи, а может быть двух, принесли второй экземпляр отречения. Оба экземпляра были подписаны государем. Их судьба, насколько я знаю, такова. Один экземпляр мы с Гучковым тогда же оставили генералу Рузскому. Этот экземпляр хранился у его начальника штаба, генерала Данилова. В апреле месяце 1917 года этот экземпляр был доставлен генералом Даниловым главе временного правительства князю Львову.

Другой экземпляр мы повезли с Гучковым в Петроград. Впрочем, обгоняя нас, текст отречения побежал по прямому проводу и был известен в Петрограде ночью же...

Мы выехали. В вагоне я заснул свинцовым сном. Ранним утром мы были в Петрограде...

А. И. ГУЧКОВ.

В царском поезде.

... Для меня было ясно, что со старой властью мы расстались и сделали именно то, что должна была сделать Россия. Но для меня были не безразличны те формы, в которых происходил разрыв, и те формы, в которые облекалась новая власть. Я имел в виду этот переход от старого строя к новому произвести с возможным смягчением, мне хотелось поменьше жертв, поменьше кровавых счетов, во избежание смут и обострений на всю нашу последующую жизнь. К вопросу об отречении государя я стал близок не только в дни переворота, а задолго до этого. Когда я и некоторые мои друзья в предшествовавшие перевороту месяцы искали выхода из положения, мы полагали, что в каких-нибудь нормальных условиях, в смене состава правительства и обновлении его общественными деятелями, обладающими доверием страны, в этих условиях выхода найти нельзя, что надо итти решительно и круто, итти в сторону смены носителя верховной власти. На государе и государыне и тех, кто неразрывно был связан с ними, на этих головах накопилось так много вины перед Россией, свойства их характеров не давали никакой надежды на возможность ввести их в здоровую политическую комбинацию; из всего этого для меня стало ясно, что государь должен покинуть престол. В этом направлении кое-что делалось до переворота, при помощи других сил и не тем путем, каким в конце концов пошли события, но эти попытки успеха не имели или, вернее, они настолько затянулись, что не привели ни к каким реальным результатам. Во всяком случае, самая мысль об отречении была мне настолько близка и родственна, что с первого момента, когда только-что выяснилось это шатание и потом развал власти, я и мои друзья сочли этот выход именно тем, чего следовало искать. Другое соображение, которое заставило меня на этом остановиться, состояло в том, что при учете сил, имевшихся на фронте и в стране, в случае, если бы не состоялось добровольного отречения, можно было опасаться гражданской войны или, по крайней мере, некоторых ее вспышек, новых жертв и затем всего того, что гражданская война несет за собой в последующей истории народов, — тех взаимных счетов, которые не скоро прекращаются. Гражданская война, сама по себе, — страш-

ная вещь, а при условиях внешней войны, когда тем несомненным параличем, которым будет охвачен государственный организм, и, главным образом, организм армии, этим параличем пользуются наши противники для нанесения нам удара, при таких условиях гражданская война еще более опасна. Все эти соображения с самого первого момента с 27-го, 28-го февраля, привели меня к убеждению, что нужно, во что бы то ни стало, добиться отречения государя, и тогда же, в думском комитете, я поднял этот вопрос и настаивал на том, чтобы председатель думы Родзянко взял на себя эту задачу; мне казалось, что ему это как-раз по силам, потому что он своей персоной и авторитетом председателя государственной думы, мог произвести впечатление, в результате которого явилось бы добровольное сложение с себя верховной власти. Был момент, когда решено было, что Родзянко примет на себя эти миссию, но затем некоторые обстоятельства помешали. Тогда, 1-го марта в думском комитете, я заявил, что, будучи убежден в необходимости этого шага, я решил его предпринять во что бы то ни стало, и, если мне не будут даны полномочия от думского комитета, я готов сделать это за свой страх и риск, поеду, как политический деятель, как русский человек, и буду советовать и настаивать, чтобы этот шаг был сделан. Полномочия были мне даны, при чем вы знаете, как обрисовалась дальнейшая комбинация: государь отречется в пользу своего сына Алексея с регентом одного из великих князей, скорее всего, Михаила Александровича. Эта комбинация считалась людьми совещания благоприятной для России, как способ укрепления народного представительства в том смысле, что при малолетнем государе и при регенте, который, конечно бы, не пользовался, если не юридически, то морально всей властностью и авторитетом настоящего держателя верховной власти, народное представительство могло окрепнуть, и, как это было в Англии, в конце XVIII ст., так глубоко пустило бы свои корни, что дальнейшие бури были бы для него не опасны. Я знал, что со стороны некоторых кругов, стоящих на более крайнем фланге, чем думский комитет, вопрос о добровольном отречении, вопрос о тех новых формах, в которые вылилась бы верховная власть в будущем, и вопрос о попытках воздействия на верховную власть встретят отрицательное отношение. Тем не менее, я и Шульгин, о котором я просил думский комитет, прося командировать его вместе со мной, чтобы он был свидетелем всех последующих событий, — мы выехали в Псков. В это время были получены сведения, что какие-то эшелоны двигаются к Петрограду. Это могло быть связано с именем генерала Иванова, но меня это не осо-

бенно смущало, потому что я знал состояние и настроение армии, и был убежден, что какие-нибудь карательные экспедиции могли, конечно, привести к некоторому кровопролитию, но к восстановлению старой власти они уже не могли привести. В первые дни переворота я был глубоко убежден в том, что старой власти ничего другого не остается, как капитулировать, и что всякие попытки борьбы повели бы только к тяжелым жертвам. Я телеграфировал в Псков генералу Рузскому, о том, что еду; но чтобы на телеграфе не знали цели моей поездки, я пояснил, что еду для переговоров по важному делу, не упоминая, с кем эти переговоры должны были вестись. Затем, послал по дороге телеграмму генералу Иванову, так как желал встретить его по пути и уговорить не принимать никаких попыток к приводу войск в Петроград. Генерала Иванова мне не удалось тогда увидеть, хотя дорогой пришлось несколько раз обмениваться телеграммами; он хотел где-то меня перехватить, но не успел, а вечером, 2-го марта, мы приехали в Псков. На вокзале меня встретил какой-то полковник и попросил в вагон государя. Я хотел сначала повидать генерала Рузского, для того, чтобы немножко ознакомиться с настроением, которое господствовало в Пскове, узнать, какого рода аргументацию следовало успешнее применить, но полковник очень настойчиво передал желание государя, чтобы я непосредственно прошел к нему. Мы с Шульгиным направились в царский поезд.

Там я застал гр. Фредерикса, затем был состоящий при государе ген. Нарышкин, через некоторое время пришел ген. Рузский, которого вызвали из его поезда, а через несколько минут вошел и государь. Государь сел за маленький столик и сделал жест, чтобы я садился рядом. Остальные уселись вдоль стен. Ген. Нарышкин вынул записную книжку и стал записывать. Так что, повидимому, там имеется точный протокол. Я к государю обратился с такими словами: я сказал, что приехал от имени временного думского комитета, чтобы осветить ему положение дел и дать ему те советы, которые мы находим нужным для того, чтобы вывести страну из тяжелого положения. Я сказал, что Петроград уже совершенно в руках этого движения, что всякая борьба с этим движением безнадежна и поведет только к тяжелым жертвам, что всякие попытки со стороны фронта насильственным путем подавить это движение, ни к чему не приведут, что, по моему глубокому убеждению, ни одна воинская часть не возьмет на себя выполнение этой задачи, что как бы ни казалась та или другая воинская часть лойяльна в руках своего начальника, как только она соприкоснется с Петроградским гарнизоном и подышет тем общим возду-

хом, которым дышит Петроград, эта часть перейдет неминуемо на сторону движения, и «поэтому, — прибавил я, — всякая борьба для вас бесполезна». Затем я рассказал государю тот эпизод, который имел место накануне вечером в Таврическом дворце. Эпизод заключался в следующем: я был председателем военной комиссии, и мне заявили, что пришли представители царскосельского гарнизона и желают сделать заявление. Я вышел к ним. Кажется, там были представители конвоя, представители сводного гвардейского полка, железнодорожного полка, несущего охрану поездов и ветки, и представители царскосельской дворцовой полиции, — человек 25—30. Все они заявили, что всецело присоединяются к новой власти, что будут по-прежнему охранять имущество и жизнь, которые им доверены, но просят выдать им документы с удостоверением, что они находятся на стороне движения. Я сказал государю: «Видите, вы ни на что рассчитывать не можете. Остается вам только одно — исполнить тот совет, который мы вам даем, а совет заключается в том, что вы должны отречься от престола. Большинство тех лиц, которые уполномочили меня на приезд к вам, стоят за укрепление у нас конституционной монархии, и мы советуем вам отречься в пользу вашего сына, с назначением в качестве регента кого-нибудь из великих князей, например, Михаила Александровича». На это государь сказал, что он сам в эти дни по этому вопросу думал (выслушал он очень спокойно), что он сам приходит к решению об отречении, но одно время думал отречься в пользу сына, а теперь решил, что не может расстаться с сыном, и потому решил отречься в пользу великого князя Михаила Александровича. Я лично ту комбинацию, на которой я, по поручению некоторых членов думского комитета настаивал, находил более удачной, потому, что, как я уже говорил, эта комбинация малолетнего государя с регентом представляла для дальнейшего развития нашей политической жизни большие гарантии, но, настаивая на прежней комбинации, я прибавил, что, конечно, государю не придется рассчитывать при этих условиях на то, чтобы сын остался при нем и при матери, потому, что никто, конечно, не решится доверить судьбу и воспитание будущего государя тем, кто довел страну до настоящего положения. Государь сказал, что он не может расстаться с сыном и передаст престол своему брату. Тут оставалось только подчиниться, но я прибавил, что в таком случае необходимо сейчас же составить акт об отречении, что должно быть сделано немедленно, что я остаюсь всего час или полтора в Пскове, и что мне нужно быть на другой день в Петрограде, но я должен уехать, имея акт отречения в руках. Накануне был

набросан проект акта отречения Шульгиным, кажется, он тоже был показан и в комитете (не смею этого точно утверждать), я тоже его просмотрел, внес некоторые поправки и сказал, что, не навязывая ему определенного текста, в качестве материала, передаю ему этот акт. Он взял документ и ушел, а мы остались. Час или полтора мы пробыли в вагоне. К тем собеседникам, которых я перечислил, присоединился еще Воейков, и мы ждали, пока акт будет составлен. Затем, через час или полтора, государь вернулся и передал мне бумажку, где на машинке был написан акт отречения, и внизу подписано им «Николай». Этот акт я прочел вслух присутствующим. Шульгин сделал два-три замечания, нашел нужным внести некоторые второстепенные поправки, затем в одном месте государь сам сказал: «не лучше ли так выразить», и какое-то незначительное слово вставил. Все эти поправки были сейчас же внесены и оговорены, и таким образом, акт отречения был готов. Тогда я сказал государю, что этот акт я повезу с собой в Петроград, но так как в дороге возможны всякие случайности, по моему, следует, составить второй акт, и не в виде копии, а в виде дубликата, и пусть он остается в распоряжении штаба главнокомандующего ген. Рузского. Государь нашел это правильным и сказал, что так и будет сделано. Затем, в виду отречения государя, надлежало решить второй вопрос, который отсюда вытекал: в то время государь был верховным главнокомандующим, и надлежало кого-нибудь назначить. Государь сказал, что он останавливается на великом князе Николае Николаевиче. Мы не возражали, быть может, даже подтвердили, не помню; и тогда была составлена телеграмма на имя Николая Николаевича. Его извещали о том, что он назначается верховным главнокомандующим. Затем надо было организовать правительство. Я государю сказал, что думский комитет называет князя Львова. Государь ответил, что он его знает и согласен; он присел и написал указ, кажется, сенату, не помню в какой форме, о назначении князя Львова председателем совета министров, при чем я прибавил, что ему надлежит решить вопрос не о составе правительства, а только о председателе совета министров, который уже от себя, по своему усмотрению, приглашает лиц, на что государь и согласился. Затем, государь спросил относительно судьбы императрицы и детей, потому что дня два не имел тогда известий. Я сказал, что, по моим сведениям, там все благополучно, дети больны, но помощь оказывается. Затем государь заговорил относительно своих планов; он не знал—ехать ли ему в Царское Село или остаться в Ставке. Затем мы расстались.

Ген. А. С. ЛУКОМСКИЙ.

Отречение Николая II.

(Из воспоминаний).

Утром 1/14 марта от председателя Государственной Думы получена была телеграмма, что в Пскове, куда выехал со станции «Дно» государь император, отправляется депутация от имени комитета Государственной Думы в составе А. И. Гучкова и В. В. Шульгина, что им поручено осветить государю всю обстановку и высказать, что единственным решением для прекращения революции и возможности продолжать войну является отречение государя от престола, передача его наследнику цесаревичу и назначение регентом великого князя Михаила Александровича.

Главнокомандующий северным фронтом, генерал Рузский, с которым уже об этом переговорил М. В. Родзянко, обратился к начальнику штаба Верховного Главнокомандующего с просьбой высказать по этому вопросу свое заключение и дать ему данные — как к этому вопросу относятся все главнокомандующие фронтов.

Генерал Рузский заявил, что он должен знать всю обстановку приезда во Псков государя императора.

Он сказал, что государю, вероятно, будет недостаточно высказать мнение только его, генерала Рузского; хотя он лично и думает, что вряд ли есть какой-либо иной выход из создавшегося положения, кроме того, который будет предложен государю выехавшей из Петрограда депутацией, но ему необходимо точно знать, как на это смотрит начальник штаба верховного главнокомандующего и другие главнокомандующие фронтов.

Генерал Рузский закончил заявление, что, так как у государя утеряна в данное время связь с армией, то начальник его штаба, на основании положения о полевом управлении войск, фактически вступил в исполнение обязанностей верховного главнокомандующего и поэтому должен, с точки зрения боевой, дать оценку происходящим событиям.

Генерал Алексеев поручил мне составить телеграмму главнокомандующим фронтов с подробным изложением

всего происходящего в Петрограде, с указанием о том, что ставится вопрос об отречении государя от престола в пользу наследника цесаревича с назначением регентом великого князя Михаила Александровича, и с просьбой, чтобы главнокомандующие срочно сообщили по последнему вопросу свое мнение.

Телеграмма была подписана генералом Алексеевым и по прямому проводу передана всем главнокомандующим.

Через несколько времени меня вызвал к прямому проводу главнокомандующий Западного фронта, генерал Эверт, и сказал, что он свое заключение даст лишь после того, как выскажутся генералы Рузский и Брусилов.

Так как мнение генерала Рузского о том, что выхода, повидимому, нет, кроме отречения от престола государя императора, было известно, то это мнение главнокомандующего Северного фронта я и сообщил генералу Эверту, сказав, что заключение генерала Брусилова будет ему сообщено.

Вслед за этим, из штаба юго-западного фронта передали телеграмму генерала Брусилова, который сообщил, что, по его мнению, обстановка указывает на необходимост государю императору отречься от престола.

Мнение генерала Брусилова было передано генералу Эверту и он ответил, что, как ему ни тяжело это сказать, но и он принужден присоединиться к мнениям, высказанным генералами Рузским и Брусиловым.

Затем была получена из Тифлиса копия телеграммы великого князя Николая Николаевича, адресованной на имя государя.

Великий князь докладывал государю, что, как это ни ответственно перед богом и родиной, но он вынужден признать, что единственным выходом для спасения России и династии и для возможности продолжать войну является отречение государя от престола в пользу наследника.

Главнокомандующий румынского фронта, генерал Сахаров, долго не отвечал на посланную ему телеграмму и требовал, чтобы ему были сообщены заключения всех главнокомандующих.

После посланных ему мнений главнокомандующих он прислал свое заключение.

В первой части своей телеграммы, отзываясь очень резко об образовавшемся комитете Государственной Думы, называя его шайкой разбойников, захвативших в свои руки власть, он указывает, что их надо просто разогнать.

Во второй части телеграммы он говорит, что то, что сказал, подсказывает ему сердце, но разум принужден признать необходимость отречения в пользу наследника.

После приезда государя в Псков генерал Рузский доложил ему все телеграммы.

Поздно вечером 1/14 марта генерал Рузский прислал телеграмму, что государь приказал составить проект манифеста об отречении от престола в пользу наследника с назначением великого князя Михаила Александровича регентом.

Государь приказал проект составленного манифеста передать по прямому проводу генералу Рузскому.

О полученном распоряжении я доложил генералу Алексееву и он поручил мне, совместно с начальником дипломатической части в ставке г. Базили, срочно составить проект манифеста.

Я вызвал г-на Базили срочно и мы с ним, вооружившись Сводом Законов Российской империи, приступили к составлению проекта манифеста.

Затем составленный проект был доложен генералу Алексееву и передан по прямому проводу генералу Рузскому.

По приказанию генерала Алексеева, после передачи проекта манифеста в Псков, об этом было сообщено в Петроград председателю Государственной Думы.

От М. В. Родзянко после этого была получена довольно неясная телеграмма, заставившая думать, что и эта уступка со стороны государя может оказаться недостаточной.

2/15 марта после разговора с А. И. Гучковым и В. В. Шульгиным, государь хотел подписать манифест об отречении от престола в пользу наследника.

Но, как мне впоследствии передавал генерал Рузский, в последнюю минуту, уже взяв для подписи перо, государь спросил, обращаясь к Гучкову, можно ли будет ему жить в Крыму.

Гучков ответил, что это невозможно; что государю нужно будет немедленно уехать заграницу.

«А могу ли я тогда взять с собой наследника?» — спросил государь.

Гучков ответил, что и этого нельзя; что новый государь, при регенте, должен оставаться в России.

Государь тогда сказал, что, ради пользы родины, он готов на какие угодно жертвы, но расстаться с сыном — это выше его сил; что на это он согласиться не может.

После этого государь решил отречься от престола и за себя и за наследника, а престол передать своему брату великому князю Михаилу Александровичу.

На этом было решено и переделанный манифест был государем подписан.

Перед отречением от престола государь написал указ об увольнении в отставку прежнего состава совета министров и о назначении председателем совета министров князя Львова.

Приказом по армии и флоту и указом правительствующему сенату верховным главнокомандующим государь назначил великого князя Николая Николаевича.

Все это с курьером было послано в ставку для немедленного распубликования.

Примечание. Лукомский писал свои воспоминания по памяти и затем сам же, на основании материалов, перепечатываемых в нашем издании, внес исправления. Самое главное вот в чем. В ночь с 1 на 2 марта Рузский убедил царя дать ответственное министерство. В разговоре по прямому проводу с Родзянко от 3 до 7 утра 2 марта Рузский узнал, что ответственное министерство никого уже не удовлетворит и только отречение может дать выход. В 10 час. утра 2 марта Рузский начал убеждать царя пойти на отречение, опираясь на мнение и предложение Алексеева. К 2 часам дня были получены ответы главнокомандующих. Ред.

Ген. С. С. САВВИЧ.

Принятие Николаем II решения об отречении от престола.

... За обедом у себя — Рузский сказал двум генералам: «Я вижу, что государь мне не верит. Сейчас после обеда поедем к нему втроем, пускай он, помимо меня, еще выслушает вас».

Приехали на вокзал около двух с половиной часов дня 1 марта, и все трое немедленно были приняты государем в салон вагоне столовой императорского поезда. Кроме государя и их, никого не было, и все двери были закрыты плотно.

Государь сначала стоял, потом сел и предложил всем сесть, а оба генерала все время стояли на вытяжку. Государь курил и предложил курить остальным. Рузский курил, а генералы не курили, несмотря на повторное предложение государя.

Рузский предложил сначала для прочтения государю полученные телеграммы, а затем обрисовал обстановку, сказав, что для спасения России, династии сейчас выход один: отречение его от престола в пользу наследника. Государь ответил: «Но я не знаю, хочет ли этого вся Россия». Рузский доложил: «ваше величество, заниматься сейчас анкетой, обстановка не представляет возможности, но события несутся с такой быстротой и так ухудшают положение, что всякое промедление грозит непоправимыми бедствиями. Я вас прошу выслушать мнение моих помощников, они оба в высшей степени самостоятельные и притом прямые люди». Это последнее предложение с некоторыми вариациями Рузский повторил один или два раза. Государь повернулся к генералам и, смотря на них, заявил: «Хорошо, но только я прошу откровенного мнения». Все очень сильно волновались. Государь и Рузский очень много курили. Несмотря на сильное волнение государь отлично владел собою. Первый говорил генерал Ю. Н. Данилов о том, что государь не может сомневаться в его верноподданнических чувствах (государь его знал хорошо), но выше всего долг перед родиной и желание

спасти отечество от позора, приняв унизительные предложения от желающего нас покорить ужасного врага, и сохранить династию; он не видит другого выхода из создавшегося тяжкого положения, кроме принятия предложения Государственной Думы.

Государь, обратясь к генералу Саввичу, спросил: «А вы такого же мнения?».

Генерал этот страшно волновался. Приступ рыданий сдавливал его горло. Он ответил:

«Ваше императорское величество, вы меня не знаете, но вы слышали обо мне отзывы от человека, которому вы верили.

Государь: «Кто это?».

Генерал: — «Я говорю о генерале Дедюлине».

Государь: «О, да».

Генерал чувствовал, что он не в силах больше говорить, так как сейчас разрыдается, поэтому он поспешил кончить: «Я человек прямой и поэтому я вполне присоединяюсь к тому, что сказал генерал Данилов».

Наступило общее молчание, длившееся одну-две минуты.

Государь сказал: «Я решился. Я отказываюсь от престола», и перекрестился. Перекрестились генералы.

Обратясь к Рузскому, государь сказал: «Благодарю вас за доблестную и верную службу», и поцеловал его. Затем государь ушел к себе в вагон. Вошел дворцовый комендант, свиты генерал-майор Воейков, которого присутствовавшие считали одним из главных виновников переживаемой катастрофы.

На вопросы Воейкова генералы отвечали неохотно и недружелюбно. Рузский очень небрежно напомнил Воейкову, как в Петрограде его «Куваку» употребляли в качестве шумих против конной полиции.

Затем вошел министр граф Фредерикс. Воейков сейчас-же вышел. Фредерикс был страшно расстроен. Он заявил, что государь ему передал свой разговор с присутствующими и спросил его мнения, но раньше, чем ответить на такой ужасный вопрос, он, Фредерикс, хочет выслушать присутствующих.

Фредериксу повторили то, что было сказано государю. Старик был страшно подавлен и сказал: «Никогда не ожидал, что доживу до такого ужасного конца. Вот, что бывает, когда переживешь самого себя».

Здесь-же был обсужден вопрос о назначении великого князя Николая Николаевича верховным главнокомандующим. Это мнение было единогласное. На вопрос Фредерикса, как оформить детали, связанные с актом отречения,

ему ответили, что присутствующие в этом не компетентны, что лучше всего государю ехать в Царское Село и там все оформить со сведущими лицами. Фредерикс с этим согласился.

В это время была получена телеграмма, что из Петрограда в Псков к государю выехали член Государственного Совета А. И. Гучков и член Государственной Думы В. В. Шульгин.

Вошел государь и вынес собственноручно написанную им телеграмму к Родзянко о том, что нет той жертвы, которую он не принес-бы на благо родной матушки России, что для ее блага он отказывается от престола в пользу своего сына с тем, чтобы он до совершеннолетия оставался при нем. Государю было доложено Фредериксом о назначении верховным главнокомандующим великого князя Николая Николаевича, на что государь охотно согласился. Затем государь снова ушел писать телеграмму в ставку, Алексееву, о назначении верховного главнокомандующего и о своем отречении. По уходе государя было обращено внимание Фредерикса на то, что в телеграмме на имя Родзянко государь ничего не упомянул о великом князе Михаиле Александровиче. Рузский написал на клочке бумаги, как необходимо дополнить телеграмму, и передал это Фредериксу, который понес государю. Государь, вынося дополненную телеграмму Родзянко и телеграмму Алексееву заявил, что он дождется в Пскове Гучкова и Шульгина. Затем он распрощался с присутствующими, поблагодарив генералов за откровенный ответ. Это было в 3 ч. 45 минут дня.

В виду ожидавшегося прибытия Гучкова и Шульгина, Рузский решил не отправлять телеграмм государя до их приезда.

Через 20 минут государь потребовал эти телеграммы к себе. Рузский лично понес их и уговорил государя оставить их у него (Рузского), дав слово не отправлять их до выяснения цели прибытия Гучкова и Шульгина.

Герцог Н. Н. ЛЕЙХТЕНБЕРГСКИЙ

Беседа с журналистом Л. Ганом о последних днях Николая II в ставке.

Герцог Н. Н. Лейхтенбергский при низложенном императоре Николае II нес обязанности флигель-адъютанта в дни государственного переворота. Он дежурил в последние две недели при царе и был свидетелем всего происходившего, как в ставке верховного главнокомандующего, так и в Пскове в момент отречения царя от престола.

Н. Н. Лейхтенбергский сопровождал Николая II до царского павильона, и его впечатления представляют несомненно большой интерес.

Герцог Лейхтенбергский до сих пор не может опомниться от всего пережитого. Отдельные его фразы хаотичны, цельности в его рассказе нет.

Он говорит:

— Для меня, по крайней мере, с первого дня революции все было ясно; я чувствовал, что без тяжелых последствий для царствующего дома возникшие события не закончатся. Все, что я вам скажу, верьте, это правда, чего я лично не видел и не слышал, об этом говорить не стану.

Когда были получены в ставке первые совсем еще смутные сведения о возникших в Петрограде беспорядках на почве недостатка хлеба, в свите считали, что событие это носит лишь прискорбный характер, оно не опасно и не грозит тяжелыми последствиями царствующему дому.

Я не знаю, что говорил государь о первом дне революции, но лица свиты считали, что возникшие беспорядки — это типичный бунт, что при известной энергии его можно прекратить.

На царских завтраках и обедах, на которых я, как флигель-адъютант, присутствовал, я ничего не слышал, какие меры вырабатываются для водворения порядка в столице и для восстановления спокойствия.

Среди же свиты высказывались соображения, что надо послать в Петроград генерала с диктаторскими полномочиями, предоставив в его распоряжение отряд войск для усмирения восставших.

Из Могилева в Петроград выехал ген. Иванов с эшелоном георгиевских кавалеров. Как я слышал, затем, уже в пути, по мере приближения георгиевского баталиона к Петрограду, среди георгиевцев возникло брожение. Они говорили, рили, что напрасно их посылают в Петроград, так как в народ и народные войска стрелять они не будут.

Дальнейшие события шли, однако, с такой лихорадочной быстротой, что трудно было остановиться на определенной линии действий. Проектировалось осуществить эту меру, но через час намеченный план уже не годился, так как народные требования шли не эволюционным, а революционным темпом.

Был момент, когда казалось, что положение, может быть, в значительной степени спасено, если послать в Петроград популярного генерала из фронта, хотя бы генерала Брусилова, снабдив его диктаторскими полномочиями и дав вместе с тем возможность объявить народу, что государь согласен на образование ответственного министерства.

Генералу Воейкову приписывается страшная, задуманная им мысль, будто бы он, при обмене мнениями о создавшемся положении, сказал:

— Что ж, надо открыть двинский фронт, революция немедленно будет тогда потушена.

Лично я этой фразы не слышал, как не слышал ее от царя и других членов свиты и мне кажется, что если и была такая фраза, то она была произнесена в совершенно ином смысле.

Фраза эта могла быть произнесена так:

— Революцию можно подавить силой оружия, но откуда взять войска. С севера, тогда ведь будет открыт двинский фронт.

Герцог Лейхтенбергский продолжает:

— Мне кажется, если бы царь все время продолжал находиться в Могилеве и вел бы оттуда переговоры с исполнительным комитетом Гос. Думы, он бы не очутился в таком положении, в каком находится теперь. Ведь в пути царь не имел возможности установить правильных и срочных сношений по телеграфу с М. В. Родзянко. Все переговоры пришлось вести через ген. Алексеева, а последний, сносясь с исполнительным комитетом Гос. Думы, передавал царю народные требования и желания.

— Если это так, то тогда зачем понадобилось царю ехать в Псков? Отчего сразу он не возвратился в Могилев? Ведь там он имел бы полную возможность установить нормальные сношения в переговорах с Г. Думой?

— Я тоже не понимаю, — ответил герцог. — Имелось, очевидно, в виду выяснить настроение войск на фронте и в зависимости от этого принять дальнейшие шаги. Были разговоры, что поездкой в Псков, может быть, удастся

через Лугу и Гатчину проехать в Царское Село. На деле же оказалось обратное. Царь приехал в Псков и из первых же слов ген. Рузского он убедился, что все его ставки проиграны.

Мы приехали в Псков 1-го марта. Сейчас же по приезде в царский поезд пришел ген. Рузский с докладом. Я нес тогда дежурство. В момент прихода Рузского в свитском вагоне был ген. Воейков. Насколько я припоминаю, здесь кажется больше никого не было. Ген. Рузский был взволнован, говорил нервным, повышенным тоном, и я понял, что восставшее столичное население и Гос. Дума не пойдут на компромиссы.

Ген. Рузский говорил:

— Вся политика последних лет — это тяжелый сон и сплошное недоразумение. Гнев народный не простит этого. Ген. Рузский, называя имена Щегловитова, Сухомлинова, Протопопова, говорил о них с чувством презрения. Он говорил о возмутительном протекционизме, практиковавшемся при всех назначениях, и намекал на некоторых влиятельных членов свиты, окружавших государя и умевших распространять на него свое влияние.

О чем говорил ген. Рузский затем с государем, мне неизвестно, но, оставшись наедине с ген. Воейковым, я заметил:

— Кажется, и по вашему адресу ген. Рузский прошелся.

Ген. Воейков стал доказывать, что никакого влияния на государя он не имел и не имеет. Все назначения проходили без его посредства и его ведома.

На другой день, после того, как государь подписал акт об отречении, за чаем царь, между прочим, спросил меня:

— Объясните, герцог, отчего так не любят ген. Воейкова?

Я ответил, что не знаю, но объясняю себе это главным образом тем, что в народных массах существует уверенность, что ген. Воейков играет видную роль при дворе и имеет влияние в назначении сановников на высшие государственные посты.

Государь возразил, что он не знает случая, когда бы ген. Воейков хлопотал о назначении того или иного лица на ответственный пост...

Ген. Н. М. ТИХМЕНЕВ.

Последний приезд Николая II в Могилев.

Произошла революция... Все более и более сгущавшиеся телеграммы Родзянко к государю: беспорядки — мятеж — революция... Посылка с войсками генерала Иванова из Могилева в Петроград для подавления бунта...

Я получил приказание экстренно приготовить поездной состав для отправления в Царское Село и Петроград, находившегося в ставке, в качестве ее охраны, Георгиевского батальона и ген.-адъютанта Иванова. Ничтожная с технической стороны, эта перевозка не представляла никакой трудности. Однако, в виду особой ее цели и придававшегося ей значения, начальник штаба ген. Алексеев пожелал лично выслушать от меня доклад об ее организации. Когда я, во время доклада, сидел в кабинете ген. Алексеева, вошел адъютант генерала и доложил о прибытии ген.-ад. Иванова, который немедленно и был приглашен Алексеевым. С своей привычной приветливостью поздоровавшись с ген. Ивановым, Алексеев, не садясь, как-то весь выпрямился, подобрался и внушительным официальным тоном сказал Иванову: «Ваше высокопревосходительство, государь император повелел вам, во главе Георгиевского батальона и частей кавалерии, о движении коих одновременно сделаны распоряжения, отправиться в Петроград для подавления бунта, вспыхнувшего в частях петроградского гарнизона». После этого Алексеев сделал паузу, воспользовавшись которой Иванов ответил, что воля государя императора для него священна, и то он постарается выполнить повеление государя. Алексеев молчал. Понимая, что генералам надо, быть может, переговорить с глазу на глаз и видя, что Алексеев как будто позабыл о моем присутствии в кабинете, я постарался обратить на себя его внимание. Алексеев, как бы спохватившись, распрощался со мной, и я вышел из кабинета. Дальнейшего разговора я не слышал. Думаю, что у Алексеева тогда уже мало было надежды на успех экспедиции Иванова. Иванов, с которым и раньше этого мне

приходилось несколько раз дружески и откровенно беседовать, был очень озабочен, когда через час приехал ко мне, чтобы сговориться о подробностях поездки. Я уговорился с ним, что буду непосредственно осведомлять его о движении прочих частей, направляемых из района северного фронта в его распоряжение, и что он будет телеграфировать непосредственно мне о своем движении. «Только сомневаюсь я, ваше высокопревосходительство, чтобы вы получили мои телеграммы», сказал я ему, «перехватывать их будут». Я оказался прав. Сколько помнится, из нескольких посланных Ивановым телеграмм (о чем я узнал от него уже впоследствии) я получил только одну. А моих телеграмм он не получал вовсе. Зато потом, значительно уже позже, я имел удовольствие прочесть все мои телеграммы напечатанными в книге «Палладиум русской свободы».

Если не ошибаюсь, то часов около 9 вечера, в день разговора моего с ген. Ивановым — 27 февраля, ген. Лукомский (ген.-квартирмейстер штаба) передал мне распоряжение о немедленной подаче литерных поездов (двух царских поездов, в одном из которых обычно ехал государь, в другом — свита), так как государь собрался уезжать в Царское Село. Я был несколько удивлен. Во-первых, я только что получил сведения — и довольно точные, — что государь собирается уезжать не сегодня, а лишь послезавтра утром. Затем, никаких распоряжений о пропуске царских поездов я обычно и не делал, так как всеми царскими поездками ведала инспекция императорских поездов, лишь согласуя, когда это было нужно, график движения с соответственным моим путейским органом. По техническим условиям поезда не могли отойти раньше поздней ночи. Глубокой ночью, вернее ранним утром, 28 февраля, я прямо из своего служебного кабинета поехал на железнодорожную станцию проводить царский поезд, чего я вообще никогда не делал. В полной темноте, без единого огня, с наглухо завешенными окнами стоял поезд около платформы, ожидая отправления. На перроне станции не было никого; не лезла в глаза и обычная охрана. Через несколько минут из поезда вышел кто-то из дворцовой прислуги и, проходя мимо меня и, видимо, признав меня, поклонился и сказал: «Да, вот и едем; и вы приехали, ваше высокопревосходительство?..» Тяжело, видимо, было на душе у этого человека. И мало убедительны были те несколько слов ободрения, которые я сказал ему. Тяжело было на душе у всех...

Прошли два томительных дня. Пожар в Петрограде разгорался. Движение царского поезда по Московско-Виндавско-Рыбинской дороге, переход на восток на Николаевскую дорогу, возвращение на «Дно»; движение на запад на

Северо-Западную дорогу; прибытие в Псков. Пребывание в Пскове. — Отречение. Уже позже узнали мы подробности отречения. Узнали и о том, как впустую пропал весь заряд красноречия человека, поехавшего убеждать царя об отречении. «Я уже решился», т.-е. решился раньше вашей речи, — таков был ответ государя на речь Гучкова. Отречение его было действительно, как сказал он позже нам, — «следствием его решения», принятого под влиянием представлений высшего командного состава армии, но вне всякого влияния речей посланцов Думы.

К вечеру 3 марта государь вернулся из Пскова в Могилев. Перед ген. Алексеевым встал вопрос — как же встретить государя. Обычно, при его приездах на вокзал, собирались для встречи оставшиеся в ставке лица свиты (таких почти никогда не бывало, ибо свита была очень немногочисленна, и все лица свиты уезжали с государем), великие князья и 6—7 человек старших генералов, с ген. Алексеевым во главе. Встретить государя именно так, т.-е. так, как будто бы ничего не случилось, — казалось невозможным. Еще менее возможным было совсем его не встретить, или встретить одному Алексееву. С присущими ген. Алексееву тактом и сердечной деликатностью, он решил обставить встречу государя так, чтобы хотя бы здесь, в бывшем своем штабе, не почувствовал он ослиного копыта. На встречу государя были приглашены все генералы, штаб-офицеры и чиновники соответствующих рангов, т.-е. около половины числа чинов ставки, — всего человек около полутораста. В предвечерние сумерки серого холодного и мрачного мартовского дня собрались мы все в обширном павильоне, выстроенном на военной платформе могилевской станции, специально для приема царских и других парадных поездов. Разбились по кружкам и в ожидании поезда вели разговоры о печальных событиях дня. Так как я первый должен был узнать о приближении поезда, то я и держался ближе к Алексееву. Мы стояли группой в 5—6 человек — Алексеев, вел. кн. Борис Владимирович и Сергей Михайлович, я и еще один-два человека. Только что были получены известия об оставлении царской семьи, оставшейся в Царском Селе, частью государева конвоя, о других печальных подробностях петроградских событий. Новости эти передавались из уст в уста и говорили о них и в нашем кружке. Алексеев больше грустно молчал; был молчалив и вел. кн. Борис Владимирович, за то вел. кн. Сергей Михайлович, с присущей ему злой иронией и остротой языка, называл все вещи настоящими именами. Сумерки сгущались. В дверях показался комендант станции и доложил мне, что царский поезд вышел со ст. Лотва — послед-

ний полустанок верстах в 6—7 от Могилева. Я доложил Алексееву, и все мы следом вышли на платформу, где и выстроились длинной шеренгой по старшинству чинов. Я стоял шестым или седьмым справа и оказался почти против дверей царского вагона при остановке поезда.

Медленно подошел поезд и остановился у платформы. Из поезда, как всегда, выскочили два конвойных казака, подложили трапик к выходу из царского вагона и встали по обе стороны трапа. Из одного из соседних вагонов вышел дежурный флигель-адъютант — герцог Лейхтенбергский и медленно приблизился к вагону государя. Это был первый человек из близких к государю лиц, которого мы увидели после отречения. Вся его походка, лицо, весь его вид являл выражение крайней подавленности и удручения. Мы ждали выхода государя. На платформе была мертвая и какая-то напряженная тишина. Однако, вместо государя в двери вагона показался кто-то из дворцовой прислуги, быстро направился к ген. Алексееву и пригласил его в вагон. Алексеев вошел в вагон, пробыл там не более двух минут, вышел и стал на свое место.

Через несколько мгновений в двери вагона показался государь и сошел на платформу. Он был одет в форму кубанских казаков — в этой форме ходил он и в последние дни пребывания своего в ставке — в пальто, в большой бараньей папахе, сплюснутой спереди и сзади. Он очень сильно изменился за то время, что я его не видел. Лицо сильно похудело, было желто-серого цвета, кожа как-то обтянулась и обсохла на скулах; весь вид государя был очень нервный. Однако, через несколько мгновений он, видимо, овладел собой, улыбнулся своей всегдашней приветливой улыбкой и всем нам отдал честь, слегка поклонившись. В это же время к нему приблизился министр двора ген.-ад. гр. Фредерикс и дворцовый комендант ген.-м. Воейков. Бедный старик Фредерикс, как всегда тщательно одетый, выбритый и причесанный, казался совсем убитым, одряхлевшим и опустившимся. Воейков сохранял свой обычный вздернутый вид, но был явно растерян, и глаза его неуверенно бегали. Государь подошел к правому флангу нашей, жутко молчавшей, шеренги и начал обход, никому не подавая руки, но, или говоря кое-кому по несколько приветливых слов или, большею частью, по своему обыкновению, молча задерживаясь перед каждым на несколько мгновений. Левей меня и рядом со мной стоял свиты его величества ген. Петрово-Соловово, постоянно живший в ставке. За несколько дней до революции он уехал по своим делам в Москву, откуда вернулся в ставку накануне приезда государя. Этот, с хорошим университет-

ским и общим образованием, человек, губернский предводитель дворянства и богатый землевладелец имел в своем лейб-гусарском мундире вид кутилы и беззаботного малого, каковым он, однако, вовсе не был, будучи человеком весьма дельным, острым и умно находчивым на язык, Государь приветливо с ним поздоровался сказал ему: «а, вы вернулись». Петрово-Соловово, как и все мы, подавленный и взволнованный этими минутами встречи государя — отрекшегося государя — в ближайшей свите которого он был, и, видимо, в желании как-нибудь выразить государю наполнявшие его чувства и горя, и сожаления, и любви к нему, — в ответ на полувопрос, полузаявление государя, сразу быстро и много заговорил. Стал рассказывать о причинах своего пребывания в Москве, о болезни своей сестры и о подробностях этой болезни и пр., совершенно не замечая, что государь все время порывается идти дальше. Воспользовавшись секундной паузой в речи генерала, государь перебил его неопределенными словами, сказав нечто вроде «да, ну так, вот так», — и продолжал свой обход.

Окончив обход, государь на минуту зашел в вагон, вышел оттуда и направился к своему автомобилю, который подали ему непосредственно к вагону. Воспользовавшись этой минутой, я подошел к гр. Фредериксу, чтобы выяснить у него один мелочный вопрос. Все мы понимали, что чувство элементарного приличия заставляет нас думать о том, чтобы во время пребывания государя в ставке, — которое, как нам было ясно, будет очень кратковременным, постараться не нарушать тех мелочей сложившихся в ставке повседневного обихода, которые касались личности государя. Одна из этих мелочей заключалась в следующем. Мне, как высшему начальнику почтово-телеграфной части на театре военных действий (у меня в подчинении в числе прочих, было несколько тысяч почтово-телеграфных чиновников), ежедневно приносили прямо с аппарата наклеееенную на телеграфном бланке подлинную ленту агентских телеграмм. Эти депеши я непосредственно от себя сейчас же пересылал Воейкову, а он передавал их государю, который их всегда внимательно и читал. Нарушать этот порядок я, по указанной выше причине, не хотел. С другой же стороны, агентские телеграммы в это время были полны такой безудержной и лакейской ругани, направленной лично против государя и его семьи, что я прямо не решался посылать их. За разрешением этого вопроса я и обратился к гр. Фредериксу: «Как же вы думаете, ваше сиятельство, посылать депеши, или лучше не посылать, — может быть государь и не вспомнит о них». Бедный старик, подавленный и удрученный, ничего не мог мне ответить: «Да, да —

нельзя, не нужно, но и нельзя... Знаете, спросите Воейкова». Воейков на секунду задумался, «А не можете ли вы их как-нибудь подцензуровывать сами», спросил он меня, — «ну, вырезать особенно плохие места». Я сказал, что это совершенно неосуществимо, просто технически. «Да, да. А он (т.-е. государь) непременно спросит», сказал Воейков. «Знаете, присылайте попрежнему. Все равно, что уж теперь — махнул он рукой — он, все равно, знает», т.-е. знает, что его поносят. Я продолжал посылать эти депеши каждый день с новой болью и каждый раз с негодованием. Не знаю, показывались ли эти депеши государю.

Государь уехал во дворец. Разъехались, с тяжелым сердцем, и мы в места ни на секунду не прекращавшейся нашей службы — службы, которая со дня на день делалась все бесполезнее и бесполезнее, ибо все видней и видней было, что никакой войны с надеждой на успех, продолжать мы не можем.

По возвращении своем в ставку, после отречения, государь пробыл в ней, не считая вечера 3 марта и утра 9-го, когда он уехал, четыре полных дня. Внешний обиход его жизни в эти дни не изменился, если не считать того, что всякие приглашения к завтраку и к обеду, за исключением великих князей, были прекращены. Повидимому, в первые, по крайней мере, два дня он продолжал ходить и в то помещение штаба, где Алексеев делал ему доклады о ходе военных действий. Не решаюсь утверждать этого определенно, но помнится, что тогда говорили, что эти посещения вызывали серьезное неудовольствие против Алексеева в Петрограде, где временное правительство и совет рабочих и солдатских депутатов, через своих агентов, преимущественно из писарского населения ставки, были точно осведомлены о всем, что там происходило. На другой день после приезда государя, т.-е. 4 марта, в ставку приехала из Киева вдовствующая императрица, осталась в своем вагоне на станции и пробыла там все время до отъезда государя. Со времени ее приезда государь большей частью обедал и завтракал у нее. Чтобы попасть из дворца, т.-е. из губернаторского дома, стоявшего на самом берегу Днепра, на вокзал, надо было проехать свыше двух верст, при чем большую часть этого пути приходилось делать по главной прямой и широкой улице города. Государь ездил на станцию в закрытом автомобиле. При встречах с быстро едущим автомобилем многие не успевали узнать государя. Из тех, которые узнавали, некоторые — военные и штатские — приветствовали его, или на ходу снимали шляпы и отдавали честь, или останавливались. Были такие, которые узнавали и отворачивались, делая вид, что не замечают. Были и такие, которые

узнавали, не отворачивались, но и не кланялись. Но зато были и такие, которые останавливались, становились на колени и кланялись в землю. Много нужно было иметь в то время душевного благородства и гражданского мужества, чтобы сделать такой поклон. Однако, такие люди нашлись.

Вечером 7 марта, на четвертый день пребывания государя в ставке, вошел ко мне в кабинет ген. К. Толстой, грузный, жирный, рыжий, с широким бледным лицом, молодой, умный, способный и талантливый, но весьма шаткий человек, он занимал в ставке должность высшего представителя министерства путей сообщения, имея свое начальство в Петрограде, в лице министра, а в то время, следовательно, в лице инж. Бубликова (Некрасов, кажется, еще не вступил в должность). К., наш товарищ и сверстник и сослуживец после переворота как-то сразу резко отделился от нас, считая себя членом временного правительства и боясь попасть «под подозрение», в котором до большевистской революции включительно, находилась вся ставка. Впоследствии он, из-за неосмотрительно подписанной во время корниловских дней телеграммы (на что он горько мне жаловался), попал в Быховскую тюрьму вместе с Корниловым, а еще позже был растерзан большевистской толпой в Полтаве, только что взятой тогда добровольческой армией. С Бубликовым и Некрасовым он находился в оживленной и искательной переписке. По взволнованному и недоумевающему лицу К. я увидел, что случилось что-то особенное. «Я пришел к вам по дружески, за советом», сказал он мне; «вот я только что получил шифрованную телеграмму от Бубликова (или, не помню уже, от Некрасова) с известием, что завтра утром приедут в Могилев четыре члена Государственной Думы для того, чтобы арестовать государя и отвезти его в Петроград. Мне воспрещается осведомлять кого-либо об этом и приказано приготовить секретно поезда и паровозы. Так вот я, чорт его знает, и не знаю, что делать». «Видите ли», отвечал я ему, «или Вы должны были уж держать все это в секрете и никому не говорить, или, раз вы пришли ко мне за советом, то вот вам мой ответ: вот у поезда стоит мой автомобиль, садитесь в него и немедленно поезжайте к Алексееву». «Да, как же, ведь телеграмма секретная». «Да ведь понимаете же вы сами, что нужно предупредить, иначе ведь вы ко мне и не пришли бы. Ну, скажите Алексееву, что это секрет, он уж сумеет с этим секретом распорядиться. А коли вы не поедете, так я сам поеду. А если поедете, то никто не будет знать, что я знаю о вашей телеграмме». К. уехал. Позже я узнал, то когда он в разговоре с Алексеевым стал, так сказать, напирать на то, что то, что он ему передает —

секрет, обладанием которого он, К., обязан лишь своему особому положению, то Алексеев весьма сухо его оборвал, сказав, что он сам знает, что ему делать.

Отъезд государя, по приказанию из Петрограда, был назначен утром, помнится, в 9 час., а еще раньше должны были приехать экстренным поездом посланцы временного правительства. Так сказать, на сборы в дорогу времени государю совсем не давалось. Однако, бесконечная болтовня произносимых на промежуточных станциях речей, задержала в дороге послов — двух кадет и двух социалистов (последние — по выбору совета рабочих и солдатских депутатов), и они опоздали.

Около половины одиннадцатого я получил записку, что государь перед отъездом желает попрощаться с чинами ставки, чего, как раз и не желали, повидимому, в Петрограде. Ген. Алексеев просил собраться, по возможности, всех в 11 час. в помещении управления дежурного генерала. Едва успел я дать знать об этом подчиненным мне и расположенным в разных зданиях учреждениям, как наступило уже время итти. «А вы не пойдете?», спросил встретившегося мне ген. К. — «Нет, знаете, что же там», небрежно, ответил он мне. — «Надо, наконец, решить какого берега держаться». Нечего или, вернее, бесполезно было отвечать. Я пришел на место собрания одним из последних. Ген. Алексеев был уже там. Это была довольно большая зала, бывшая в мирное время залой заседания могилевского окружного суда. От середины обеих длинных стен залы отходили на высокие баллюстрады, оставлявшие между собой широкой проход и отделявшие, в былое время, места для публики от судейских мест. Собравшиеся разместились в несколько тесно сбитых рядов по стенам, вокруг всего зала и по обе стороны баллюстрад, образовав, таким образом, как бы восьмерку. В правом верхнем углу этой восьмерки находилась входная дверь. Направо от нее, вдоль по поперечной стене зала стали нижние чины — человек около 50—60 — конвойцы, солдаты Георгиевского батальона, собственного его величества сводного пехотного полка, коекто из писарей. Налево около двери стал ген. Алексеев. Далее помещались поочереди все управления штаба. Мне пришлось стоять в правом нижнем углу весьмерки, а мои многочисленные подчиненные и путейские чины заняли всю внутреннюю короткую стену зала. Левее нас, по длинной стене стояли офицеры конвоя, Георгиевского батальона, сводного полка и другие. Правее меня и рядом со мной стоял полевой интендант ген. Егорьев со своими чинами. Настроение в зале было очень нервное и напряженное. Чувствовалось, что достаточно малейшего толчка, чтобы вывести всю эту толпу из равновесия.

Ровно в 11 час. в дверях показался государь. Поздоровавшись с Алексеевым, он обернулся направо к солдатам и поздоровался с ними негромким голосом, как здоровался в комнатах. «Здравия желаем, ваше императорское величество» — полным, громким и дружным голосом отвечали солдаты. Выслушав ответ нижних чинов, государь быстро направился вглубь залы и остановился в перехвате восьмерки, в нескольких шагах от меня, лицом в мою сторону. Я ясно, и до мельчайших подробностей видел его фигуру и лицо. Он был одет в серую кубанскую черкеску, с шашкой через плечо. Единственное изменение заключалось в том, что все военные союзнические кресты, учрежденные во время войны, которые он носил постоянно, были сняты. На груди висел один лишь георгиевский крест, ярко белевший на темном фоне черкески. Левую руку с зажатой в ней папахой он держал на эфесе шашки. Правая была опущена и сильно, заметно дрожала. Лицо было еще более пожелтевшее, посеревшее и обтянутоо, и очень нервное. Остановившись, государь сделал небольшую паузу и затем начал говорить речь. Первые слова этой речи я запомнил буквально. Он говорил громким и ясным голосом, очень отчетливо и образно, однако, сильно, волнуясь, делая неправильные паузы между частями предложения. Правая рука все время сильно дрожала. «Сегодня... я вижу вас... в последний раз», начал государь, «такова воля божия и следствие моего решения». Далее он сказал, что отрекся от престола, видя в этом пользу России и надежду победоносно кончить войну. Отрекся в пользу брата вел. кн. Михаила Александровича, который, однако, также отрекся от престола. Судьба родины вверена теперь временному правительству. Он благодарит нас за верную службу ему и родине. Завещает нам верой и правдой служить временному правительству и во что бы то ни стало довести до конца борьбу против коварного, жестокого, упорного — и затем следовал еще целый ряд отлично подобранных эпитетов — врага. Государь кончил. Правая рука его уже не дрожала, а как-то дергалась. Никогда не наблюдал я такой глубокой, полной, такой мертвой тишины в помещении, где было собрано несколько сот человек. Никто не кашлянул и все упорно и точно не мигая смотрели на государя. Поклонившись нам, он повернулся и пошел к тому месту, где стоял Алексеев. Отсюда он начал обход присутствующих. Подавая руку старшим генералам и кланяясь прочим, говоря кое-кому несколько слов, он приближался к моему месту. Когда он был в расстоянии нескольких шагов от меня, то напряжение залы, все время сгущавшееся, — наконец, разрешилось. Сзади государя кто-то

судорожно всхлипнул. Достаточно было этого начала, чтобы всхлипывания, удержать которые присутствующие были, очевидно, уже не в силах, раздались сразу во многих местах. Многие просто плакали и утирались. Вместе с всхлипываниями раздались и слова: «тише, тише, вы волнуете государя». Однако, судорожные, перехваченные всхлипывания эти не утихали. Государь оборачивался направо и налево, по направлению звуков, и старался улыбнуться, однако, улыбка не выходила, — а выходила какая-то гримаса, оскаливавшая ему зубы и искажавшая лицо; на глазах у него стояли слезы. Тем не менее он продолжал обход. Подойдя ко мне, он остановился, подал мне руку и спросил: «это ваши?». Я, тоже сильно волнуясь и чувствуя, что губы у меня дрожат, ответил. В эту же минуту я заметил, что стоявший правее меня ген. Егорьев, человек, как я выше сказал, до крайности нервный, очевидно уже не владея собой вовсе, спрятался за меня, и что государь его не видит. Тогда я полуобернулся назад, схватил правой рукой Егорьева за талию, выдвинул его вперед и сказал: «мои... и вот главный полевой интендант». Государь подал ему руку и на секунду задумался. Потом, подняв на меня глаза и, глядя в упор, сказал: «помните же Т., что я говорил вам, непременно перевезите все, что нужно для армии», и, обращаясь к Егорьеву: «а вы непременно достаньте; теперь это нужно больше, чем когда-либо. Я говорю вам, — что я не сплю, когда думаю, что армия голодает». Подав руку мне и Егорьеву, он пошел дальше. Подойдя к офицерам своего конвоя, он никому не подал руки м. б. потому, что он виделся уже с ними утром отдельно. Зато он поздоровался со всеми офицерами Георгиевского батальона,только что вернувшимися из экспедиции в Петроград. Судорожные всхлипывания и вскрики не прекращались. Офицеры Георгиевского батальона — люди, по большей части, несколько раз раненые, — не выдержали: двое из них упали в обморок. На другом конце залы рухнул кто-то из солдат конвойцев. Государь, все время озираясь на обе стороны, со слезами в глазах, не выдержал и быстро направился к выходу. Навстречу ему выступил Алексеев начал что-то говорить. Начала речи я не слышал, так как все бросились за государем и в зале поднялся шум от шаркания ног. До меня долетели лишь последние слова взволнованного голоса Алексеева: «а теперь, ваше величество, позвольте мне пожелать вам благополучного путешествия и дальнейшей, сколько возможно, счастливой жизни». Государь обнял и поцеловал Алексеева и быстро вышел.

Проф. Ю. В. ЛОМОНОСОВ.

Подлинник манифеста об отречении в Петрограде.

Ясное морозное утро, но уже в воздухе чувствуется весна. Измайловский весь увешан флагами. Народа масса, и чем ближе к вокзалу, тем толпа все гуще и гуще. Медленно пробирается автомобиль среди этого живого моря к вокзалу со стороны прибытия поездов. Вдруг мне навстречу слева Лебедев, медленно идущий в своей щегольской шубе с поднятым воротником. Испускаю радостный крик, но он делает мне тревожно отрицательные знаки. Приказываю автомобилю повернуться. Сделать это в толпе не легко. Наконец повернулся и за мостом, там где был убит Плеве, нагоняем Лебедева. Влезает. Вид у него сильно озабоченный.

— Где же акт, где Гучков?

— Акт вот, — хрипло шепчет Лебедев, суя мне в руку какую-то бумагу. — Гучков арестован рабочими.

— Что?.. — спросил я заплетающимся языком, суя в боковой карман тужурки акт отречения.

— В министерстве расскажу.

Молча входим в кабинет к Бубликову; там сидит Добровольский и довольно много служащих.

— Ну что? как?..

— Ничего, но... Александр Александрович, у меня есть к вам сообщение совершенно доверительного характера.

— Выйдите, господа, на минуточку. Никого не пускать.

Остались мы вчетвером: Бубликов, Добровольский, Лебедев и я.

— В чем дело?..

— Гучков арестован... Акт отречения вот...

Как не сенсационна была весть об аресте Гучкова, глаза всех, забывая о нем, впились в положенный мной на стол кусочек бумаги.

«Ставка. Начальнику штаба».

— Достукался — произнес Бубликов после минуты молчания. — Итак, будем присягать Михаилу... Да, а с Гучковым-то что?

Когда поезд его пришел в Петроград, его здесь встретило порядочно народу, — начал Лебедев, — и он еще на вокзале говорил две речи... а затем пошел на митинг в мастерские.

— Старый авантюрист, — пробормотал Бубликов.

— Когда я приехал, он уже был в мастерских, а Шульгин, член Думы Лебедев, который был в Луге, и начальство сидели в кабинете начальника станции. Было известно, что в мастерских не спокойно. Настроение было тревожное. Затем из мастерских передали, что Гучков арестован, что акта у него не нашли и что идут обыскивать других депутатов, чтобы уничтожить акт.

— Зачем?

— Товарищи переплетчики желают низложить царя, да и все остальные, кажется... отречения им мало.

— Ну, а потом?

— Потом депутат Лебедев передал мне акт, я потихонько закоулками, на другую сторону, да и дал тягу.

— А Гучков? А другие депутаты?

— Не знаю.

— Я сейчас буду разговаривать с Родзянко, а вы, господа, узнайте, что с депутатами.

Комиссары заперлись, а мы пошли к себе. Акт отречения не давил даже, а жег мне левый бок. По телефону сообщили, что Гучкова выпустили и что он с Шульгиным и Лебедевым уехали в Думу.

С этим известием я вошел к комиссарам. Они представляют полную противоположность. Спокойный, даже, скажу, безразличный, эпикуреец Добровольский, одетый как модная картинка, рассеянно рассматривал свои ногти. Бубликов, растерянно, неряшливо одетый, с отекшим от бессоницы лицом бегал по комнате, сверкал глазами и произносил проклятия, как язычник.

С их слов, довольно бессвязных, я понял, что в городе положение примерно такое, как на вокзале. Большинство рабочих против отречения. С раннего утра, вернее с ночи, в Думе между Комитетом и Советом идут об этом горячие споры. Совет усилен «солдатскими» депутатами.

— Грамоту ищут по всему городу. Возможно, и сюда придут. Где она? — спросил Добровольский.

— У меня в кармане.

— Это не годится. Надо спрятать.

— Положить в несгораемый шкаф. Приставить караул.

— Нет, положить в самое незаметное место... и не в этой комнате... конечно, сохранение этой грамоты или ее сохранение положения не изменит, но все таки... во первых, отре-

чение освобождает войска от присяги... во вторых, ее уничтожение окрылит черные силы.

— А не снять ли нам, Анатолий Александрович, с акта несколько копий?

— Пожалуй, но только, чтобы никто ничего не знал. Составим Комитет спасения «пропавшей грамоты» из трех.

— Нет, из четырех. Лебедев ее спас.

— Правильно, позовите его сюда.

Пришел Лебедев, ему объявили положение, и мы с ним отправились снимать копию в секретарскую. А комиссары начали принимать доклады разных учреждений министерства. Лебедев диктовал, я писал. Когда копия была готова, я позвал комиссаров в секретарскую. Мы все вчетвером заверили копию, а подлинник спрятали среди старых запыленных номеров официальных газет, сложенных на этажерке в секретарской.

— Ну, теперь по копии можно начать печатание, — сказал я.

— Нет, надо спросить Думу, — возразил Добровольский.

— Зачем? Ведь чем скорее грамота будет напечатана, тем скорее весь этот шум прекратится. Да и при том набор, корректура, печать — все это потребует времени. А кроме того, наборщики ждут.

— Нет, надо спросить.

Через несколько минут последовал приказ: «не печатать, но наборщиков не распускать»...

II.

МАТЕРИАЛЫ И ДОКУМЕНТЫ.

I.

Протокол отречения Николая II.

«2-го марта, около 10 часов вечера приехали из Петрограда во Псков: член Государственного Совета Гучков и член Государственной Думы Шульгин. Они были тотчас приглашены в вагон-салон императорского поезда, где к тому времени собрались: главнокомандующий армиями северного фронта генерал-адъютант Рузский, министр императорского двора граф Фредерикс и начальник военно-походной канцелярии е. и. в. свиты генерал-майор Нарышкин. Его величество, войдя в вагон-салон, милостиво поздоровался с прибывшими и, попросив всех сесть, приготовился выслушать приехаших депутатов.

Член Г. С. Гучков: «Мы приехали с членом Государственной Думы Шульгиным, чтобы доложить о том, что произошло за эти дни в Петрограде и вместе с тем посоветоваться о тех мерах, которые могли бы спасти положение. Положение в высшей степени угрожающее: сначала рабочие, потом войска примкнули к движению, беспорядки перекинулись на пригороды, Москва не спокойна. Это не есть результат какого-нибудь заговора или заранее обдуманного переворота, а это движение вырвалось из самой почвы и сразу получило анархический отпечаток, власти стушевались. Я отправился к замещавшему генерала Хабалова генералу Занкевичу и спрашивал его, есть ли у него какая-нибудь надежная часть или хотя бы отдельные нижние чины, на которых можно было бы рассчитывать. Он мне ответил, что таких нет, и все прибывшие части тотчас переходят на сторону восставших. Так как было страшно, что мятеж примет анархический характер, мы образовали так называемый временный комитет Государственной Думы и начали принимать меры, пытаясь вернуть офицеров к командованию нижними чинами; я сам лично объехал многие части и убеждал нижних чинов сохранять спокойствие. Кроме нас заседает еще комитет рабочей партии, и мы находимся под его властью и его цензурою. Опасность в том, что если Петроград попадет в руки анархии, нас, умеренных, сметут, так как это движение начинает нас уже захлестывать. Их лозунги: провозглашение социальной республики. Это движение захватывает низы и даже солдат, которым обещают дать землю. Вторая опасность, что движение перекинется на фронт, где лозунг: смести начальство и выбрать себе угодных. Там такой же горючий материал, и пожар может перекинуться по всему фронту, так как нет ни одной воинской части, которая, попав в атмосферу движения, тотчас не заражалась бы. Вчера к нам в Думу явились представители: сводного пехотного полка, железнодорожного полка, конвоя вашего величества, дворцовой полиции и заявили, что примыкают к движению. Им сказано, что они должны продолжать охрану тех лиц, которые им были поручены; но опасность все-таки существует, так как толпа теперь вооружена.

В народе глубокое сознание, что положение создалось ошибками власти и именно верховной власти, а потому нужен какой-нибудь акт,

который подействовал бы на сознание народное. Единственный путь, это передать бремя верховного правления в другие руки. Можно спасти Россию, спасти монархический принцип, спасти династию. Если вы, ваше величество, объявите, что передаете свою власть вашему маленькому сыну, если вы передадите регентство великому князю Михаилу Александровичу или от имени регента будет поручено образовать новое правительство, тогда может быть будет спасена Россия, я говорю, может быть, потому, что события идут так быстро, что в настоящее время Родзянко, меня и умеренных членов Думы крайние элементы считают предателями; они, конечно, против этой комбинации, так как видят в этом возможность спасти наш исконный принцип. Вот, ваше величество, только при этих условиях можно сделать попытку водворить порядок. Вот, что нам, мне и Шульгину, было поручено вам передать. Прежде, чем на это решиться вам, конечно следует хорошенько подумать, помолиться, но решиться все-таки не позже завтрашнего дня, потому, что завтра мы не будем в состоянии дать совет и если вы его у нас спросите, то можно будет опасаться агрессивных действий.

Его величество: «Ранее вашего приезда после разговора по прямому проводу генерал-адъютанта Рузскаго с председателем Государственной Думы, я думал в течение утра, и во имя блага, спокойствия и спасения России я был готов на отречение от престола в пользу своего сына, но теперь еще раз обдумав свое положение, я пришел к заключению, что в виду его болезненности, мне следует отречься одновременно и за себя и за него, так как разлучаться с ним не могу».

Член Г. С. Гучков: «Мы учли, что облик маленького Алексея Николаевича был бы смягчающим обстоятельством при передаче власти».

Ген.-адъют. Рузский: «Его величество беспокоится, что если престол будет передан наследнику, то его величество будет с ним разлучен».

Член Г. Д. Шульгин: «Я не могу дать на это категорического ответа, так как мы ехали сюда, чтобы предложить то, что мы передали».

Его величество: «Давая свое согласие на отречение, я должен быть уверенным, что вы подумали о том впечатлении, какое оно произведет на всю остальную Россию. Не отзовется-ли это некоторою опасностью?».

Член Г. Д. Гучков: «Нет, ваше величество, опасность не здесь. Мы опасаемся, что если объявят республику, тогда возникнет междоусобие».

Член Г. Д. Шульгин: «Позвольте мне дать некоторое пояснение, в каком положении приходится работать Государственной Думе: 26-го вошла толпа в Думу и вместе с вооруженными солдатами заняла всю правую сторону, левая сторона занята публикой, а мы сохраняли всего две комнаты, где ютится так называемый комитет. Сюда тащат всех арестованных, и еще счастие для них, что их сюда тащат, так как это избавляет их от самосуда толпы; некоторых арестованных мы тотчас же освобождаем. Мы сохраняем символ управления страной, и только благодаря этому еще некоторый порядок мог сохраниться, не прерывалось движение железных дорог. Вот при каких условиях мы работаем; в Думе ад, это сумасшедший дом. Нам придется вступить в решительный бой с левыми элементами, а для этого нужна какая-нибудь почва. Относительно вашего проекта, разрешите нам подумать хотя бы четверть часа. Этот проект имеет то преимущество, что не будет мысли о разлучении и, с другой стороны, если ваш брат, великий князь Михаил Александрович, как полноправный монарх, присягнет конституции одновременно с вступлением на престол, то это будет обстоятельством, содействующим успокоению».

Член Г. С. Гучков: «У всех рабочих и солдат, принимавших участие в беспорядках, уверенность, что водворение старой власти — это

расправа с ними, а потому нужна полная перемена. Нужен на народное воображение такой удар хлыстом, который сразу переменил бы все. Я нахожу, что тот акт, на который вы решились, должен сопровождаться и назначением председателя совета министров князя Львова».

Его величество: «Я хотел бы иметь гарантию, что вследствие моего ухода и по поводу его не было бы пролито еще лишней крови.»

Член Г. Д. Шульгин: «Может быть, со стороны тех элементов, которые будут вести борьбу против нового строя, и будут попытки, но их не следует опасаться. Я знаю, например, хорошо город Киев, который был всегда монархическим; теперь там полная перемена».

Его величество: «А вы не думаете, что в казачьих областях могут возникнуть беспорядки?».

Член Г. С. Гучков: «Нет, ваше величество, казаки все на стороне нового строя. Ваше величество, у вас заговорило человеческое чувство отца и политике тут не место, так что мы ничего против вашего предложения возразить не можем».

Член Г. Д. Шульгин: «Важно только, чтобы в акте вашего величества было указано, что преемник ваш обязан дать присягу конституции».

Его величество: «Хотите еще подумать?»

Член Г. С. Гучков: «Нет, я думаю, что мы можем сразу принять ваши предложения. А когда бы вы могли совершить самый акт. Вот проект, который мог бы вам пригодиться, если б вы пожелали из него что-нибудь взять».

Его величество, ответив, что проект уже составлен, удалился к себе, где собственноручно исправил заготовленный с утра манифест об отречении в том смысле, что престол передается великому князю Михаилу Александровичу, а не великому князю Алексею Николаевичу. Приказав его переписать, его величество подписал манифест, и, войдя в вагон-салон, в 11 час. 40 мин., передал его Гучкову. Депутаты попросили вставить фразу о присяге конституции нового императора, что тут же было сделано его величеством. Одновременно были собственноручно написаны его величеством указы Правительствующему Сенату о назначении председателем совета министров князя Львова и верховным главнокомандующим Николая Николаевича, что бы ни казалось, что акт совершен под давлением приехавших депутатов, и так как самое решение об отречении от престола было принято его величеством еще днем, то днем, по совету депутатов, на манифесте было поставлено при подписи в 3 часа дня, а на указах Правительствующему Сенату в 2 часа дня. При этом присутствовал, кроме поименованных лиц, начальник штаба армии северного фронта генерал Данилов, который был вызван генерал-адъютантом Рузским.

В заключение, член Думы Шульгин спросил у его величества о его дальнейших планах. Его величество ответил, что собирается поехать на несколько дней в Ставку, может быть в Киев, чтобы проститься с государыней императрицей Марией Феодоровной, а затем останется до выздоровления детей. Депутаты заявили, что они приложат все силы, чтобы облегчить его величество в выполнении его дальнейших намерений. Депутаты попросили подписать еще дубликат манифеста на случай возможности с ними несчастья, который остался бы в руках генерала Рузского. Его величество простился с депутатами и отпустил их, после чего простился с главнокомандующим армиями северного фронта и его начальником штаба, облобызав его и поблагодарив его за сотрудничество. Приблизительно через час дубликат манифеста был преподнесен его величеству на подпись, после чего все четыре подписи его величества, были контрассигнированы министром императорского двора графом Фредериксом».

II

Неосуществленный проект отречения Николая II.

В тяжелую годину ниспосланных тяжких испытаний для России мы, не имея сил [руководить] вывести Империю из тяжкой смуты, [великие неудачи] переживаемой страной перед лицом внешнего врага, за благо сочли, идя на встречу желаниям всего русского народа, сложить бремя [данной] врученной нам от бога власти.

Во имя Величия возлюбленного русского народа и победы над лютым врагом, призываем благословение бога на сына нашего, [которому] в пользу которого отрекаемся от престола нашего. Ему до совершеннолетия регентом брата нашего Михаила Александровича...

III

Манифест отречения Николая II.

Ставка.

НАЧАЛЬНИКУ ШТАБА.

В дни великой борьбы с внешним врагом, стремящимся почти три года поработить нашу родину, господу богу угодно было ниспослать России новое тяжкое испытание. Начавшиеся внутренние народные волнения грозят бедственно отразиться на дальнейшем ведении упорной войны. Судьба России, честь геройской нашей армии, благо народа, все будущее дорогого нашего Отечества требуют доведения войны во что бы то ни стало до победного конца. Жестокий враг напрягает последние силы, и уже близок час, когда доблестная армия наша совместно со славными нашими союзниками сможет окончательно сломить врага. В эти решительные дни в жизни России, почли мы долгом совести облегчить народу нашему тесное единение и сплочение всех сил народных для скорейшего достижения победы и, в согласии с Государственной Думой признали мы за благо отречься от Престола Государства Российского и сложить с себя верховную власть. Не желая расстаться с любимым сыном нашим, мы передаем наследие наше брату нашему великому князю Михаилу Александровичу и благословляем его на вступление на Престол Государства Российского. Заповедуем брату нашему править делами государственными в полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях, на тех началах, кои будут ими установлены, принеся в том ненарушимую присягу. Во имя горячо любимой родины призываем всех верных сынов Отечества к исполнению своего святого долга перед ним, повиновением царю в тяжелую минуту всенародных испытаний и помочь ему, вместе с представителями народа, вывести Государство Российское на путь победы, благоденствия и славы. Да поможет господь бог России.

Николай

Г. Псков.

2 марта 15 час. 5 мин. 1917 г.

Министр императорского двора
Генерал адъютант граф Фредерикс.

IV.

Телеграммы и разговоры по прямому проводу.

1. Телеграмма председателя Государственной Думы Родзянко на имя главнокомандующего северным фронтом генерал-адъютанта Рузского 27 февраля 1917 года.

«Волнения, начавшиеся в Петрограде, принимают стихийные и угрожающие размеры. Основы их — недостаток печеного хлеба и слабый подвоз муки, внушающий панику; но главным образом, полное недоверие власти, неспособной вывести страну из тяжелого положения. На этой почве несомненно разовьются события, сдержать которые можно временно, ценой пролития крови мирных граждан, но которых, при повторении, сдержать будет невозможно. Движение может переброситься на железные дороги и жизнь страны замрет в самую тяжелую минуту. Заводы, работающие на оборону в Петрограде, останавливаются за недостатком топлива и сырого материала, рабочие остаются без дела, и голодная, безработная толпа вступает на путь анархии, стихийной и неудержимой. Железнодорожное сообщение по всей России в полном расстройстве. На юге, из 63 доменных печей работают только 28, ввиду отсутствия подвоза топлива и необходимого материала. На Урале из 92 доменных печей остановились 44, и производство чугуна, уменьшаясь изо-дня в день, грозит крупным сокращением производства снарядов.

Население, опасаясь неумелых распоряжений власти, не везет зерновых продуктов на рынок, останавливая этим мельницы, и угроза недостатка муки встает во весь рост перед армией и населением.

Правительственная власть находится в полном параличе и совершенно беспомощна восстановить нарушенный порядок. России грозит унижение и позор, ибо война при таких условиях не может быть победоносно окончена. Считаю единственным и необходимым выходом из создавшегося положения безотлагательное признание лица, которому может верить вся страна, и которому будет вручено составить правительство, пользующееся доверием всего населения. За таким правительством пойдет вся Россия, одушевленная вполне верой в себя и в своих руководителей. В этот небывалый по ужасающим последствиям и страшный час иного выхода на светлый путь нет, и я ходатайствую перед вашим высокопревосходительством поддержать это мое убеждение перед его величеством, дабы предотвратить возможную катастрофу. Медлить больше нельзя, промедление смерти подобно. Председатель Государственной Думы Родзянко».

Отметка на телеграмме генерала Рузского:

«Очень жаль, что с 24 по 27 февраля неудосужились сообщить о том, что делается в Петрограде. Надо думать, что и до 24 были признаки нарождающегося недовольства, грозящего волнениями, а также и об агитации среди рабочих и гарнизона Петрограда. Об этом тоже не потрудились, может быть и с целью, сообщить на фронт».

2. Телеграмма главнокомандующего северным фронтом генерал-адъютанта Рузского Николаю II 27 февраля.

Ставка. Его императорскому величеству государю императору.

«Почитаю долгом представить на благовоззрение вашему величеству полученную мною от председателя Государственной Думы телеграмму, указывающую на грозное положение в столице и внутри государства, вызывающее тревогу за судьбу родины. Хотя армия остается проникнутой сознанием долга и желания довести войну до победного конца, тем не менее, на ней непосредственно начинают отражаться последствия продовольственной и железнодорожной неурядиц, а доходящие на фронт сведения о тяжелом кризисе, переживаемом населением и о волнениях в Петрограде могут в будущем создать условия весьма неблагоприятные.

Ныне армия заключает в своих рядах представителей всех классов, профессий и убеждений, почему она не может не отразить в себе настроение страны. Поэтому дерзаю всеподданнейше доложить вашему величеству о крайней необходимости принять срочные меры, которые могли бы успокоить население, вселить в него доверие и бодрость духа, веру в себя и в свое будущее. Эти меры, принятые теперь, накануне предстоящего оживления боевой деятельности на фронте, вольют новые силы в армию и народ для проявления дальнейшего упорства в борьбе с врагом; позволю себе думать, что при существующих условиях меры репрессии могут скорее обострить положение, чем дать необходимое, длительное удовлетворение. Генерал-адъютант Рузский».

3. Телеграмма военного министра Беляева начальнику штаба верховного главнокомандующего ген. Алексееву.

Ставка. Начальнику штаба верховного главнокомандующего, копия главнокомандующему Северного фронта.

«Положение в Петрограде становится весьма серьезным; военный мятеж, немногими оставшимися верными долгу частями, погасить пока не удается, напротив того, многие части постепенно присоединяются к мятежникам. Начались пожары, бороться с коими нет средств. Необходимо спешное прибытие действительно надежных частей, притом в достаточном количестве, для одновременных действий в различных частях города. 197. 27 февраля. Беляев.

4. Разговор по аппарату начальника штаба верховного главнокомандующего ген. Алексеева с начальником штаба северного фронта ген. Даниловым. 27 февраля, 21 час.

«У аппарата начальник штаба. Доложите об этом генералу Данилову.

У аппарата генерал Данилов.

Здравствуйте, Юрий Никифорович. Ссылаясь на телеграмму главнокомандующему Северным фронтом военного министра от сегодняшнего числа № 197

Государь император повелел:

Генерал-адъютанта Иванова назначить главнокомандующим Петроградского военного округа; в его распоряжение, возможно скорей, отправить от войск Северного фронта в Петроград два кавалерийских

полка, по возможности из находящихся в резерве 15-й дивизии, два пехотных полка из самых прочных, надежных, одну пулеметную команду Кольта для Георгиевского батальона, который едет из Ставки. Нужно назначить прочных генералов, так как, повидимому, генерал Хабалов растерялся, и в распоряжение генерала Иванова нужно дать надежных, распорядительных и смелых помощников. Войска нужно отправить с ограниченным обозом и организовать подвоз хлеба и припасов распоряжением фронта, так как трудно сказать, что творится сейчас в Петрограде и возможно ли там обеспечить войска заботами местного гарнизона. Обстоятельства требуют скорого прибытия войск, поэтому прошу очень соответствующих распоряжений и сообщите мне, какие полки будут назначены, для уведомления генерала Иванова, который ускоренно отправляется 28 февраля с Георгиевским батальоном. Такой же силы наряд последует от Западного фронта, о чем иду говорить с генералом Квецинским [1]).

Минута грозная и нужно сделать все для ускорения прибытия прочных войск. В этом заключается вопрос нашего дальнейшего будущего. До свидания. Алексеев».

«Могу ли предложить один вопрос. Данилов».

«Если непродолжительный, то слушаю. Алексеев».

«Сколько следует послать генералов в качестве помощников генерала Иванова. Так как я понял, что во главе каждой бригады, пехотной и кавалерийской, нужно иметь по одному генералу, то должны ли быть отправлены бригадные командиры дивизий, или же генералы могли бы быть посланы от других частей; тогда был бы шире выбор и можно было бы отправить особ[о] смелых и решительных. Данилов».

«Конечно, было бы лучше, если бы оба генерала имели под командой свои полки, хорошо им известные и на которые они могли бы иметь нравственное влияние; но решение этого вопроса предоставляю вам, в зависимости от того, кто командует теми частями, кои отправятся в Петроград. Ничего не имею, если поедут начальники дивизий, так как им придется подчинить те запасные части Петроградского гарнизона, которые останутся верными своему долгу. Алексеев».

«Слушаю, понял и будет исполнено. Данилов».

«До свидания, будьте здоровы. Алексеев».

5. Телеграмма начальника штаба верховного главнокомандующего генерала Алексеева, на имя всех главнокомандующих.

«Сообщаю для ориентировки: двадцать шестого, в тринадцать часов сорок минут, получена телеграмма генерала Хабалова о том, что двадцать пятого февраля толпы рабочих, собравшиеся в различных частях города, были неоднократно разгоняемы полицией и воинскими частями. Около семнадцати часов у Гостиного двора демонстранты запели революционные песни и выкинули красные флаги. На предупреждение, что против них будет применено оружие из толпы раздалось несколько револьверных выстрелов, был ранен один рядовой. Взвод драгун спешился и открыл огонь по толпе, при чем убито трое и ранено десять человек. Толпа мгновенно рассеялась. Около восемнадцати часов в наряд конных жандармов была брошена граната, которой ранен один жандарм и лошадь. Вечер прошел относительно спокойно. Двадцать пятого февраля бастовало двести сорок тысяч рабочих. Генералом Хабаловым было объявлено о воспрещении скопления народа на улицах и подтверждено, что всякое проявление беспорядка будет подавляться силой оружия. По донесению генерала Хабалова с утра двадцать шестого февраля в городе спокойно. Двадцать шестого

---

[1]) Был начальником штаба Западного фронта. Ред.

в двадцать два часа получена телеграмма от председателя Государттвенной Думы Родзянко, сообщавшего, что волнения, начавшиеся в Петрограде, а принимают стихийный характер и угрожающие размеры и что начало беспорядков имело в основании недостаток печеного хлеба и слабый подвоз муки, внушающий панику. Двадцать седьмого военный министр всеподданнейше доносит, что начавшиеся с утра в некоторых войсковых частях волнения твердо и энергично подавляются оставшимися верными своему долгу ротами и батальонами. Бунт еще не подавлен, но военный министр выражает уверенность в скором наступлении спокойствия, для достижения коего принимаются беспощадные меры.

Председатель Государственной Думы, двадцать седьмого, около полудня, сообщает, что войска становятся на сторону населения и убивают своих офицеров.

Генерал Хабалов, двадцать седьмого, около полудня, всеподданнейше доносит, что одна рота запасного батальона Павловского полка двадцать шестого февраля заявила, что не будет стрелять в народ. Командир батальона этого полка ранен из толпы. Двадцать седьмого февраля учебная команда Волынского полка отказалась выходить против бунтовщиков, и начальник ее застрелился. Затем эта команда, с ротой этого же полка, направилась в распоряжение двух других батальонов и к ним начали присоединяться люди этих частей.

Генерал Хабалов просит о присылке надежных частей с фронта. Военный министр к вечеру двадцать седьмого февраля сообщает, что баттарея вызванная из Петергофа, отказалась грузиться на поезд для следования в Петроград. Двадцать седьмого февраля, между двадцатью одним часом и двадцатью двумя, дано указание главнокомандующим Северного и Западного фронтов отправить в Петроград с каждого фронта по два кавалерийских и по два пехотных полка с энергичными генералами во главе бригад и по одной пулеметной команде Кольта для Георгиевского батальона, который приказано направить двадцать восьмого февраля в Петроград из Ставки.

По высочайшему повелению, главнокомандующим Петроградским округом с чрезвычайными полномочиями и подчинением ему всех министров назначен генерал-адъютант Иванов.

Двадцать восьмого, около двадцати четырех часов, мною сообщено главнокомандующим о необходимости подготовить меры к тому, чтобы обеспечить во что бы то ни стало работу железных дорог.

Двадцать седьмого, после девятнадцати часов, военный министр сообщает, что положение в Петрограде становится весьма серьезным. Военный мятеж немногими верными долгу частями погасить не удается, и войсковые части постепенно присоединяются к мятежникам. Начались пожары. Петроград объявлен в осадном положении. Двадцать восьмого, в два часа, послана телеграмма от меня главнокомандующим Северного и Западного фронтов о направлении в Петроград, сверх уже назначенных войск, еще по одной пешей и конной батарее от каждого фронта.

Двадцать восьмого, в три часа, мною послана телеграмма командующему войсками Московского округа о принятии необходимых мер на случай, если беспорядки перекинуться в Москву, и об обеспечении работы железнодорожного узла и прилива продовольствия.

Двадцать восьмого февраля, в час, от генерала Хабалова получена телеграмма на высочайшее имя, что он восстановить порядка в столице не мог. Большинство частей изменило своему долгу и многие перешли на сторону мятежников. Войска, оставшиеся верными долгу, после борьбы в продолжении всего дня, понесли большие потери.

К вечеру мятежники овладели большей частью столицы, и оставшиеся верными присяге небольшие части разных полков стянуты у Зимнего дворца.

Двадцать восьмого февраля, в два часа, военный министр сообщает, что мятежники заняли Мариинский дворец и там находятся члены революционного правительства. Двадцать восьмого февраля, в восемь часов двадцать пять минут, генерал Хабалов доносит, что число оставшихся верными долгу уменьшилось до шестисот человек пехоты и до пятисот всадников при пятнадцати пулеметах и двенадцати орудиях, имеющих всего восемнадцать патронов, и что положение до чрезвычайности трудное.

Головной эшелон пехотного полка, отправляемый с Северного фронта, подойдет к Петрограду, примерно, к утру первого марта.

Государь император, в ночь с 27 на 28 февраля, изволил отбыть в Царское Село. По частным сведениям революционное правительство вступило в управление Петроградом, объявив в своем манифесте переход на его сторону четырех гвардейских запасных полков, о занятии арсенала, Петропавловской крепости, главного артиллерийского управления.

Только что получена телеграмма военного министра, что мятежники во всех частях города овладели важнейшими учреждениями. Войска под влиянием утомления и пропаганды бросают оружие, переходят на сторону мятежников или становятся нейтральными. Все время на улицах идет беспорядочная стрельба; всякое движение прекращено; появляющихся офицеров и нижних чинов на улицах разоружают.

Министры все целы, но работа министров, повидимому, прекратилась.

По частным сведениям, председатель Государственного совета Щегловитов, арестован. В Государственной Думе образовался совет лидеров партий для сношения революционного правительства с учреждениями и лицами; назначены дополнительные выборы в Петроградский Совет Рабочих и Солдатских Депутатов от рабочих и мятежных войск.

Только что получена от генерала Хабалова телеграмма, из которой видно, что фактически повлиять на события он больше не может. Сообщая об этом, прибавляю, что на всех нас лег священный долг перед государем и родиной сохранить верность долгу и присяге в войсках действующих армий, обеспечить железнодорожное движение и прилив продовольственных запасов. 28 февраля 1917 г. 1813. Алексеев».

6. Телеграмма помощника начальника штаба верховного главнокомандующего ген. Клембовского, главнокомандующим, с передачей копии телеграммы генерала Алексеева.

«Главнокомандующим. Копия телеграммы генерала Алексеева генерал-адъютанту Иванову в Царское Село: Частные сведения говорят, что 28 февраля Петрограде наступило полное спокойствие, войска примкнули Временному Правительству полном составе, приводятся порядок. Временное Правительство под председательством Родзянко заседает в Государственной Думе; пригласило командиров воинских частей для получения приказаний по поддержанию порядка. Воззвание к населению, выпущенное Временным Правительством, говорит о необходимости монархического начала России и необходимости новых выборов для выбора и назначения Правительства. Ждут с нетерпением приезда его величества, чтобы представить ему изложенное и просьбу, принять эти пожелания народа. Если эти сведения верны, то изменяются способы ваших действий; переговоры приведут умиротворению дабы избежать позорной междуусобицы, столь желанной нашему врагу, дабы сохранить учреждения, заводы и пустить в ход работу.

Воззвание нового министра путей сообщений Бубликова к железнодорожникам, мною полученное кружным путем, зовет к усиленной работе всех, дабы наладить расстроенный транспорт. Доложите его величеству все это и убеждение, что дело можно привести мирно к хорошему концу, который укрепит Россию. 1833. Алексеев. 1846. Клембовский. 28 февраля 1917 года».

7. Телеграмма главнокомандующему Северного фронта ген. Рузскому от председателя Государственной Думы Родзянко.

«Временный комитет членов Государственной Думы сообщает вашему высокопревосходительству, что, ввиду устранений от управления всего состава бывшего совета министров, правительственная власть перешла в настоящее время к временному комитету Государственной Думы. Председатель Государственной Думы Родзянко. 1 марта 1917 г.».

8. Телеграмма дворцового коменданта Воейкова генералу Рузскому.

Из Старой Руссы. Псков. Генерал-адъютанту Рузскому:

«Его величество следует через Дно — Псков. Прошу распоряжения о беспрепятственном проезде. 95. Дворцовый Комендант Воейков. 13 ч. 5 м. 1 марта».

9. Телеграмма на имя генерала Алексеева от начальника штаба Северного фронта ген. Данилова.

«Ввиду ожидающегося через два часа проследования через Псков поезда Литера А, главнокомандующий северного фронта просит ориентировать его срочно, для возможности соответствующего доклада, откуда у начальника штаба верховного главнокомандующего сведения заключающиеся в телеграмме 1833. 1 марта. 14 ч. 45 мин. 1193. Данилов».

10. Телеграмма генерал-квартирмейстера верховного главнокомандующего на имя начальника штаба Северного фронта ген. Данилова:

«По приказанию начальника штаба верховного главнокомандующего, передаю для доклада главнокомандующему Северного фронта с просьбою генерал-адъютанта Алексеева доложить государю.

Первое — в Кронштадте беспорядки. Части ходят по улицам с музыкой. Вице-адмирал Курош доносит, что принять меры к усмирению с тем составом, который имеется в гарнизоне, но не находит возможным, так как не может ручаться ни за одну часть.

Второе — генерал Мрозовский сообщает, что Москва охвачена восстанием и войска переходят на сторону мятежников.

Третье — адмирал Непенин доносит, что он не признал возможным протестовать против призыва временного комитета, и, таким образом, Балтийский флот признал временный комитет Государственной Думы. Сведения, заключающиеся в телеграмме 1833, получены из Петрограда из различных источников и считаются достоверными.

Если будет хоть малейшее сомнение, что литерные поезда могут не дойти до Пскова, надлежит принять все меры для доставления доклада по принадлежности, послав хотя бы экстренным поездом с надлежащим офицером и командой нижних чинов для исправления пути, если бы это имело место.

Генерал Алексеев нездоров и прилег отдохнуть, почему я и подписываю эту телеграмму. 1 марта 1917 г. 17 ч. 15 м. Лукомский».

11. Разговор по прямому проводу помощника начальника штаба верховного главнокомандующего ген. Клембовского с генерал-квартирмейстером штаба Северного фронта ген. Болдыревым.

«Здесь у аппарата генерал Болдырев».

«У аппарата генерал Клембовский».

Начальник штаба верховного главнокомандующего и великий князь Сергей Михайлович просят главнокомандующего всеподданнейше доложить его величеству о безусловной необходимости принятия тех мер, которые указаны в телеграмме генерала Алексеева его величеству, так как им это представляется единственным выходом из создавшегося положения.

Так как главнокомандующий, повидимому, держится тех же взглядов, как и начальник штаба верховного главнокомандующего, то исполнение просьбы их не представит затруднения для него и, быть может, закончится успешно.

Великий князь Сергей Михайлович, с одной стороны, полагает, что наиболее подходящим лицом был бы Родзянко, пользующийся доверием.

Передайте, пожалуйста, все это на вокзал главнокомандующему, по возможности, безотлагательно до прихода поезда. Клембовский».

«Здравия желаю, ваше высокопревосходительство. Приказание ваше будет точно исполнено и беззамедлительно; поезд его величества еще не прибыл. Не будет ли еще каких-либо указаний с вашей стороны. Болдырев».

«Могу лишь прибавить одно — время не терпит, есть много вопросов, которые надлежит разрешить, между тем обращаться не к кому. Клембовский. 1 марта 1917 г. 17 ч. 45 мин.».

12. Телеграмма генерала Алексеева, посланная в Псков на имя Николая II 1-го марта.

«Его императорскому величеству.

Ежеминутно растущая опасность распространения анархии по всей стране, дальнейшего разложения армии и невозможности продолжения войны при создавшейся обстановке настоятельно требуют немедленного издания высочайшего акта, могущего еще успокоить умы, что возможно только путем признания ответственного министерства и поручения составления его председателю Государственной Думы.

Поступающие сведения дают основание надеяться на то, что думские деятели, руководимые Родзянко, еще могут остановить всеобщий развал и что работа с ними может пойти, но утрата всякого часа уменьшает последние шансы на сохранение и восстановление порядка и способствует захвату власти крайними левыми элементами. Ввиду этого усердно умоляю ваше императорское величество соизволить на немедленное опубликование из ставки нижеследующего манифеста:

«Объявляем всем верным нашим подданным:

Грозный и жестокий враг напрягает последние силы для борьбы с нашей родиной. Близок решительный час. Судьбы России, часть геройской нашей армии, благополучие народа, все будущее дорогого нам отечества требует доведения войны во что бы то ни стало до победного конца.

Стремясь сильнее сплотить все силы народные для скорейшего достижения победы, я признал необходимость призвать ответственное перед представителями народа министерство, возложив образование его на председателя Государственной Думы Родзянко, из лиц, пользующихся доверием всей России.

Уповаю, что все верные сыны России, тесно объединившись вокруг престола и народного представительства, дружно помогут доблестной армии завершить ее великий подвиг.

Во имя нашей возлюбленной родины призываю всех русских людей к исполнению своего святого долга перед нею, дабы вновь явить, что Россия столь же несокрушима, как и всегда, и что никакие козни врагов не одолеют ее. Да поможет нам господь бог». 1865. Генерал-адъютант Алексеев. 1 марта 1917 г.» *).

13. Телеграмма начальнику штаба верховного главнокомандующего ген. Алексееву от начальника штаба Северного фронта ген. Данилова.

«Для сведения докладываю: оба литерных поезда в Пскове. Дальнейший их маршрут не выяснен. 1 марта 22 ч. 30 мин. 1213. Данилов».

14. Телеграмма Николая II на имя генерал-адъютанта Иванова в Царское Село.

«Надеюсь прибыли благополучно. Прошу до моего приезда и доклада мне никаких мер не принимать. Николай. 2 марта 0 ч. 20 мин.».

15. Телеграмма генерал-квартирмейстера штаба Северного фронта ген. Болдырева на имя генерал-квартирмейстера верховного главнокомандующего ген. Лукомского.

«Начальник штаба поручил мне сообщить для доклада помощнику начальника штаба верховного главнокомандующего:

Первое, что в два с половиной часа второго марта главнокомандующий Сев. фронта будет говорить по аппарату с председателем Государственной Думы Родзянко по особому уполномочию его величества. Есть надежда на благоприятное разрешение.

Второе — у нас имеются сведения, что гарнизон Луги перешел на сторону комитета. Эшелоны войск, предназначенные распоряжение генерал-адъютанта Иванова, задержались царским поездом между Двинском и Псковом. В виду событий Луге возникает вопрос о их обратном возвращении, о чем главнокомандующий Сев. фронта будет иметь всеподданнейший доклад у государя. Генерал Данилов уехал на вокзал доложить главнокомандующему о времени разговора его по аппарату с председателем Гос. Думы. Псков. 2 марта 0 ч. 50 мин. 1215. Болдырев».

16. Телеграмма начальника штаба Северного фронта ген. Данилова командующему пятой армией, помощнику начальника штаба верховного главнокомандующего и начальнику военных сообщений Северного фронта.

«Ввиду невозможности продвигать эшелоны далее Луги и нежелательности скопления их на линии, особенно Пскове, и разрешении государя императора вступить главнокомандующему Сев. фронтом сношение с председателем Государственной Думы, последовало высочайшее соизволение вернуть войска, направленные станцию Александровскую, обратно Двинский район, где расположить их распоряжением командующего пятой армией. 1 ч. 2 марта. 1216. Данилов».

17. Разговор по прямому проводу генерала Рузского с председателем Государственной Думы Родзянко. Начало разговора 3 ч. 30 мин. 2 марта 1917 г.

«Доложите генералу Рузскому, что подходит к аппарату председатель Гос. Думы Родзянко».

---

[1]) Эта телеграмма была доложена Николаю II генералом Рузским 1/14 марта в 23 часа. *Ред.*

«У аппарата генерал-адъютант Рузский».

«Здравствуйте, Михаил Владимирович, сегодня около 7 час. вечера прибыл в Псков государь император.

Его величество при встрече мне высказал, что ожидает вашего приезда. К сожалению, затем выяснилось, что ваш приезд не состоится, чем я был глубоко огорчен. Прошу разрешения говорить с вами с полной откровенностью — это требует серьезность переживаемого времени. Прежде всего я просил бы вас меня осведомить, сообщив истинную причину отмены вашего прибытия в Псков. Знание этой причины необходимо для дальнейшей беседы. Рузский».

«Здравствуйте, Николай Владимирович, очень сожалею, что не могу приехать; с откровенностью скажу — причины моего неприезда две: во-первых, эшелоны, высланные вами в Петроград, взбунтовались; вылезли в Луге из вагонов; объявили себя присоединяющимися к Государственной Думе; решили отнимать оружие и никого не пропускать, даже литерные поезда; мною немедленно приняты были меры, чтобы путь для проезда его величества был свободен; не знаю, удастся ли это.

Вторая причина — полученные мною сведения, что мой приезд может повлечь за собой нежелательные последствия, так как до сих пор верят только мне и исполняют только мои приказания. Родзянко».

«Из бесед, которые его величество вел со мной сегодня, выяснилось, что государь император сначала предполагал предложить вам составить министерство, ответственное перед его величеством, но затем, идя навстречу общему желанию законодательных учреждений и народа, отпуская меня, его величество выразил окончательное решение и уполномочил меня довести до вашего сведения, об этом, — дать ответственное перед законодательными палатами министерство, с поручением вам образовать кабинет. Если желание его величества найдет в вас отклик, то спроектирован манифест, который я сейчас же передам вам. Манифест этот мог бы быть объявлен сегодня 2 марта с пометкой «Псков». Не откажите в ваших соображениях по всему изложенному. Рузский».

«Я прошу вас проект манифеста, если возможно, передать теперь же. Очевидно, что его величество и вы не отдаете себе отчета в том, что здесь происходит; настала одна из страшнейших революций, побороть которую будет не так легко; в течение двух с половиной лет я неуклонно, при каждом моем всеподданнейшем докладе, предупреждал государя императора о надвигающейся грозе, если не будут немедленно сделаны уступки, которые могли бы удовлетворить страну. Я должен вам сообщить, что, в самом начале движения, власти, в лице министров, стушевались и не принимали решительно никаких мер предупредительного характера; немедленно же началось братание войск с народными толпами; войска не стреляли, а ходили по улицам, и толпа им кричала — «ура». Перерыв занятий законодательных учреждений подлил масла в огонь, и мало-по-малу наступила такая анархия, что Госуд. Думе вообще, а мне, в частности, оставалось только попытаться взять движение в свои руки и стать во главе, для того, чтобы избежать такой анархии, при таком расслоении, которое грозило бы гибелью государству.

К сожалению, мне это далеко не удалось; народные страсти так разгорелись, что сдержать их вряд ли будет возможно; войска окончательно деморализованы: не только не слушаются, но убивают своих офицеров; ненависть к государыне императрице дошла до крайних пределов; вынужден был, во избежание кровопролития, всех министров, кроме военного и морского, заключить в Петропавловскую крепость. Очень опасаюсь, что такая же участь постигнет и меня, так как агитация направлена на все, что более умеренно и ограниченно в своих тре-

бованиях; считаю нужным вас осведомить, что то, что предполагается вами — недостаточно и династический вопрос поставлен ребром.

Сомневаюсь, чтобы с этим можно было справиться. Родзянко».

«Ваши сообщения, Михаил Владимирович, действительно рисуют обстановку в другом виде, чем она рисовалась здесь, на фронте. Если страсти не будут умиротворены, то ведь нашей родине грозит анархия надолго и это, прежде всего, отразится на исходе войны; между тем, затратив столько жизней на борьбу с неприятелем, нельзя теперь останавливаться на полдороге и необходимо довести ее до конца, соответствующего нашей великой родине; надо найти средство для умиротворения страны.

Прежде передачи вам текста манифеста не можете ли вы мне сказать, в каком виде намечается решение династического вопроса. Рузский».

«С болью в сердце буду теперь отвечать, Николай Владимирович. Еще раз повторяю — ненависть к династии дошла до крайних пределов, но весь народ, с кем бы я ни говорил, выходя к толпам и войскам, решил твердо — войну довести до победного конца и в руки немцев не даваться.

К Государственной Думе примкнул весь Петроградск. и Царскосельский гарнизоны; то же повторяется во всех городах; нигде нет разногласия, везде войска становятся на сторону думы и народа, и грозные требования отречения в пользу сына, при регентстве Михаила Александровича, становятся определенным требованием.

Повторяю, с страшной болью передаю вам об этом, но что же делать; в то время, когда народ в лице своей доблестной армии проливал свою кровь и нес неисчислимые жертвы — правительство положительно издевалось над нами; вспомните освобождение Сухомлинова, Распутина и всю его клику; вспомните Маклакова, Штюрмера, Протопопова; все стеснения горячего порыва народа помогать по мере сил войне; назначение князя Голицына; расстройство транспорта, денежного обращения, непринятие никаких мер к смягчению условий жизни; постоянное изменение состава законодательной палаты в нежелательном смысле; постоянные аресты, погоня и розыск несуществовавшей тогда революции — вот те причины, которые привели к этому печальному концу.

Тяжкий ответ перед богом взяла на себя государыня императрица, отвращая его величество от народа.

Его присылка генерала Иванова с Георгиевским батальоном только подлила масла в огонь и приведет только к междуусобному сражению, так как сдержать войска, не слушающие своих офицеров и начальников, нет решительно никакой возможности; кровью обливается сердце при виде того, что происходит. Прекратите присылку войск, так как они действовать против народа не будут. Остановите ненужные жертвы. Родзянко».

«Все что вы, Михаил Владимирович, сказали, тем печальней, что предполагавшийся приезд ваш как бы предрешал возможность соглашения и быстрого умиротворения родины; ваши указания на ошибки, конечно, верны, но ведь это ошибки прошлого, которые в будущем повторяться не могут, при предполагаемом способе разрешения переживаемого кризиса; подумайте, Михаил Владимирович, о будущем; необходимо найти такой выход, который дал бы немедленное умиротворение. Войска на фронте с томительной тревогой и тоской оглядываются на то, что делается в тылу, а начальники лишены авторитетного слова сделать им надлежащее разъяснение. Переживаемый кризис надо ликвидировать возможно скорей, чтобы вернуть армии возможность смотреть только вперед, в сторону неприятеля. Войска в направлении Петрограда с фронта были отправлены по общей

директиве из Ставки, но теперь этот вопрос ликвидируеся; генерал-адъютанту Иванову нескорько часов тому назад, государь император дал указание не предпринимать ничего до личного свидания; эти телеграммы посланы через Петроград, и остается только пожелать, чтобы они скорей дошли до генерала Иванова.

Равным образом государь император изволил выразить согласие, и уже послана телеграмма, два часа тому назад, вернуть на фронт все, что было в пути. Вы видите, что со стороны его величества принимаются какие только возможно меры, и было бы в интересах родины и той отечественной войны, которую мы ведем, желательным, чтобы почин государя нашел бы отзыв в сердцах тех, кои могут остановить пожар. Рузский». (Затем передается проект манифеста, предложенного генерал-адъютантом Алексеевым).

«Если будет признано необходимым внести какие-либо частичные поправки, сообщите мне, равно как и об общей схеме такового. В заключение скажу, Михаил Владимирович, я сегодня сделал все, что подсказало мне сердце и что мог для того, чтобы найти выход для обеспечения спокойствия теперь и в будущем, а также, чтобы армиям в кратчайший срок обеспечить возможность спокойной работы; этого необходимо достигнуть в кратчайший срок; приближается весна, и нам нужно сосредоточить все наши усилия на подготовке к активным действиям и на согласование их с действиями наших союзников; мы обязаны думать также о них; каждый день, скажу более, каждый час в деле водворения спокойствия крайне дорог. Рузский».

«Вы, Николай Владимирович, истерзали в конец мое и так растерзанное сердце; по тому позднему часу, в который мы ведем разговор, вы можете себе представить, какая на мне лежит огромная работа, но, повторяю вам, я сам вишу на волоске, и власть ускользает у меня из рук; анархия достигает таких размеров, что я вынужден был сегодня ночью назначить временное правительство.

К сожалению, манифест запоздал; его надо было издать после моей первой телеграммы немедленно, о чем я просил государя императора; время упущено и возврата нет; повторяю вам еще раз: народные страсти разгорелись в области ненависти и негодования; наша славная армия не будет ни в чем нуждаться; в этом полное единение всех партий, и железнодорожное сообщение не будет затруднено; надеемся также, что после воззвания временного правительства крестьяне и все жители повезут хлеб, снаряды (!) и другие предметы снаряжения; запасы весьма многочисленны, так как об этом всегда заботились общественные организации и особое совещание.

Молю бога, чтобы он дал силы удержаться хотя бы в пределах теперешнего расстройства умов, мыслей и чувств, но боюсь, как бы не было еще хуже.

Больше ничего не могу вам сказать; помогай вам бог, нашему славному вождю, в битве уничтожить проклятого немца, о чем в обращении, посланном к армии от комитета государственной думы, говорится определенно в виду пожелания успехов и побед. Желаю вам спокойной ночи, если только вообще в эти времена кто-либо может спать спокойно Глубокоуважающий вас и душевно преданный Родзянко».

«Михаил Владимирович, еще несколько слов; дай, конечно, бог, чтобы ваши предположения в отношении армии оправдались, но имейте в виду, что всякий насильственный переворот не может пройти бесследно; что если анархия, о которой вы говорите, перекинется в армию и начальники потеряют авторитет власти. Подумайте, что будет тогда с родиной нашей. В сущности, конечная цель одна — ответственное перед народом министерство и есть для сего нормальный путь для достижения цели — в перемене порядка управления

государством. Дай бог вам здравия и сил для вашей ответственной работы. Глубоко уважающий вас Рузский».

«Николай Владимирович, не забудьте, что переворот может быть добровольный и вполне безболезненный для всех, и тогда все кончится в несколько дней; одно могу сказать: ни кровопролития, ни ненужных жертв не будет. Я этого не допущу. Желаю всего лучшего. Родзянко».

«Дай бог, чтобы все было так, как вы говорите. Последнее слово: скажите ваше мнение, нужно ли выпускать манифест. Рузский».

«Я, право, не знаю, как вам отвечать; все зависит от событий, которые летят с головокружительной быстротой. Родзянко».

«Я получил указание передать в ставку об его напечатании, а посему это и сделаю, а затем пусть, что будет. Разговор наш доложу государю. Рузский».

«Ничего против этого не имею и даже прошу об этом Родзянко».

Примечание ген. Рузского: Разговор окончен в 7½ часов (утра), 2-го марта, и передан в ставку начальнику штаба верховного главнокомандующего, одновременно с ведением разговора.

18. Телеграмма Николая II генералу Алексееву.

«Начальнику штаба. Ставка.

1865. Можно объявить представленный манифест[1]), пометив его Псковом. 1223. Николай. 2 марта, 5 ч. 15 м.».

19. Разговор по прямому проводу генерал-квартирмейстера верховного главнокомандующего ген. Лукомского с начальником штаба Северного фронта ген. Даниловым. Начало разговора 9 часов, 2 марта 1917 года.

«У аппарата генерал Данилов».

«Здравствуй, Юрий Никифорович, у аппарата Лукомский.

Генерал Алексеев просит сейчас же доложить главнокомандующему, что необходимо разбудить государя и сейчас же доложить ему о разговоре генерала Рузского с Родзянко.

Переживаем слишком серьезный момент, когда решается вопрос не одного государя, а всего царствующего дома и России. Генерал Алексеев убедительно просит безотлагательно это сделать, так как теперь важна каждая минута и всякие этикеты должны быть отброшены.

Генерал Алексеев просит, по выяснении вопроса, немедленно сообщить официально и со стороны высших военных властей сделать необходимое сообщение в армии, ибо неизвестность хуже всего и грозит тем, что начнется анархия в армии.

Это официально, а теперь прошу тебя доложить от меня генералу Рузскому, что, по моему глубокому убеждению, выбора нет и отречение должно состояться. Надо помнить, что вся царская семья находится в руках мятежных войск, ибо, по полученным сведениям, дворец в Царском Селе занят войсками, как об этом вчера уже сообщал вам генерал Клембовский. Если не согласятся, то, вероятно, произойдут дальнейшие эксцессы, которые будут угрожать царским детям, а затем начнется междоусобная война, и Россия погибнет под ударами Германии, и погибнет династия. Мне больно это говорить, но другого выхода нет. Я буду ждать твоего ответа. Лукомский».

---

[1]) Об образовании ответственного министерства. Ред.

«Генерал Рузский через час будет с докладом у государя и поэтому я не вижу надобности будить главнокомандующего, который только что, сию минуту, заснул и через полчаса встанет; выигрыша во времени не будет никакого. Что касается неизвестности, то она, конечно, не только тяжела, но и грозна, однако, и ты, и генерал Алексеев отлично знаете характер государя и трудность получить от него определенное решение; вчера, весь вечер, до глубокой ночи, прошел в убеждении поступиться в пользу ответственного министерства. Согласие было дано только к 2 час. ночи, но, к глубокому сожалению, оно, как это в сущности и предвидел главнокомандующий, явилось запоздалым; очень осложнила дело посылка войск генерал-адъютанта Иванова; я убежден, сожалею, почти в том, что, несмотря на убедительность речей Николая Владимировича и прямоту его, едва что возможно будет получить определенное решение; время безнадежно будет тянуться, вот та тяжелая картина и та драма, которая происходит здесь.

Между тем, исполнительный комитет государственной думы шлет ряд извещений и заявляет, что остановить поток нет никакой возможности. Два часа тому назад главнокомандующий вынужден был отдать распоряжение о том, чтобы не препятствовали распространению заявлений, которые клонятся к сохранению спокойствия среди населения и к приливу продовольственных средств; другого исхода не было.

Много горячих доводов высказал генерал Рузский в разговоре с Родзянко в пользу оставления во главе государя с ответственным перед народом министерством, но, видимо, время упущено и едва ли возможно рассчитывать на такое сохранение.

Вот пока все, что я могу сказать.

Повторяю — от доклада генерала Рузского я не жду определенных решени. Данилов».

«Дай бог, чтобы генералу Рузскому удалось убедить государя. В его руках теперь судьба России и царской семьи. Лукомский».

20. Телеграмма генерала Алексеева на имя главнокомандующих фронтами:

«Его величество находится во Пскове, где изъявил согласие объявить манифест итти навстречу народному желанию учредить ответственное перед палатами министерство, поручив председателю Государственной Думы образовать кабинет.

По сообщению этого решения главнокомандующим северного фронта председателю Гос. Думы, последний, в разговоре по аппарату, в три с половиной часа второго сего марта, ответил, что появление манифеста было бы своевременно 27 февраля; в настоящее же время этот акт является запоздалым, что ныне наступила одна из страшных революций; сдерживать народные страсти трудно; войска деморализованы. Председателю Гос. Думы хотя и верят, но он опасается, что сдержать народные страсти будет невозможно. Что теперь династический вопрос поставлен ребром и войну можно продолжать до победоносного конца лишь при исполнении предъявленных требований относительно отречения от престола в пользу сына при регентстве Михаила Александровича. Обстановка, повидимому, не допускает иного решения, и каждая минута дальнейших колебаний, повысит только притязания, основанные на том, что существование армии и работа железных дорог находится фактически в руках петроградского временного правительства. Необходимо спасти действующую армию от развала; продолжать до конца борьбу с внешним врагом; спасти независимость России и судьбу династии. Это нужно поставить на первом плане, хотя бы ценой дорогих уступок. Если вы раз-

деляете этот взгляд, то не благоволите ли телеграфировать весьма спешно свою верноподданническую просьбу его величеству через сверху. 2 марта 1917 г., 10 ч. 15 м. 1872. Алексеев».

Повторяю, что потеря каждой минуты может стать роковой для существования России и что между высшими начальниками действующей армии нужно установить единство мысли и целей и спасти армию от колебаний и возможных случаев измены долгу. Армия должна всеми силами бороться с внешним врагом, и решение относительно внутренних дел должно избавить ее от искушения принять участие в перевороте, который более безболезненно совершится при решении сверху. 2 марта 1917 г., 10 ч. 15 м. 1872. Алексеев».

21. Разговор по прямому проводу помощника начальника штаба верховного главнокомандующего ген. Клембовского с генерал-квартирмейстером штаба Северного фронта ген. Болдыревым (утром, 2 марта 1917 года):

«Известно ли вам о прибытии сегодня конвоя его величества в полном составе в государственную думу с разрешением своих офицеров и о просьбе депутатов конвоя арестовать тех офицеров, которые отказались принять участие в восстании. Известно ли также о желании государыни императрицы переговорить с председателем исполнительного комитета государственной думы и, наконец, о желании великого князя Кирилла Владимировича прибыть лично в государственную думу, чтобы вступить в переговоры с исполнительным комитетом. Клембовский».

«Нет, эти известия нам неизвестны. Болдырев».

«В Москве по всему городу происходят митинги, но стрельбы нет. Генералу Мрозовскому предложено подчиниться Временному Правительству.

Арестованы Штюрмер, Добровольский Беляев, Войновский—Кригер, Горемыкин, Дубровин, два помощника градоначальника и Климович. Исполнительный комитет Гос. Думы обратился к населению с воззванием возить хлеб, все продукты на станции железных дорог, для продовольствования армии и крупных городов. Петроград разделен на районы, в которые назначены районные комиссары. Представители армии и флота постановили признать власть исполнительного комитета Гос. Думы впредь до образования постоянного правительства. Все изложенное надо доложить главнокомандующему для всеподданнейшего доклада. Клембовский».

Пометка ген. Рузского: Доложено Государю в 2 часа дня 2 марта.

22. Телеграмма генерала Алексеева на имя Николая II, переданная 2 марта 1917 г., в 14 ч. 30 мин.

«Всеподданнейше представляю вашему императорскому величеству полученные мною на имя вашего императорского величества телеграммы:

От великого князя Николая Николаевича:

«Генерал-адъютант Алексеев сообщает мне создавшуюся небывало роковую обстановку и просит меня поддержать его мнение, что победоносный конец войны, столь необходимый для блага и будущности России и спасения династии, вызывает принятие сверхмеры.

Я, как верноподданный, считаю, по долгу присяги и по духу присяги, необходимым коленопреклоненно молить ваше императорское величество спасти Россию и вашего наследника, зная чувство святой любви вашей к России и к нему.

Осенив себя крестным знаменьем, передайте ему — ваше наследие. Другого выхода нет. Как никогда в жизни, с особо горячей молитвой молю бога подкрепить и направить вас. Генерал-адъютант Николай».

От генерал-адъютанта Брусилова:

«Прошу вас доложить государю императору мою всеподданнейшую просьбу, основанную на моей преданности и любви к родине и царскому престолу, что, в данную минуту, единственный исход, могущий спасти положение и дать возможность дальше бороться с внешним врагом, без чего Россия пропадет, — отказаться от престола в пользу государя наследника цесаревича при регентстве великого князя Михаила Александровича. Другого исхода нет; необходимо спешить, дабы разгоревшийся и принявший большие размеры народный пожар был скорее потушен, иначе повлечет за собой неисчислимые катастрофические последствия. Этим актом будет спасена и сама династия в лице законного наследника. Генерал-адъютант Брусилов».

От генерал-адъютанта Эверта.

«Ваше императорское величество, начальник штаба вашего величества передал мне обстановку, создавшуюся в Петрограде, Царском Селе, Балтийском море и Москве и результат переговоров генерал-адъютанта Рузского с председателем государственной думы.

Ваше величество, на армию в настоящем ее составе при подавлении внутренних беспорядков рассчитывать нельзя. Ее можно удержать лишь именем спасения России от несомненного порабощения злейших врагов родины при невозможности вести дальнейшую борьбу. Я принимаю все меры к тому, чтобы сведения о настоящем положении дел в столицах не проникали в армию, дабы оберечь ее от несомненных волнений. Средств прекратить революцию в столицах нет никаких.

Необходимо немедленное решение, которое могло бы привести к прекращению беспорядков и сохранению армии для борьбы против врага.

При создавшейся обстановке, не находя иного исхода, безгранично преданный вашему величеству верноподданный умоляет ваше величество, во имя спасения родины и династии, принять решение, согласованное с заявлением председателя государственной думы, выраженном им генерал-адъютанту Рузскому, как единственно видимо способное прекратить революцию и спасти Россию от ужасов анархии. Генерал-адъютант Эверт».

Всеподданнейше докладываю эти телеграммы вашему императорскому величеству, умоляю безотлагательно принять решение, которое господь бог внушит вам; промедление грозит гибелью России. Пока армию удается спасти от проникновения болезни, охватившей Петроград, Москву, Кронштадт и другие города, но ручаться за дальнейшее сохранение воинской дисциплины нельзя.

Прикосновение же армии к делу внутренней политики будет знаменовать неизбежный конец войны, позор России и развал ее.

Ваше императорское величество горячо любите родину и ради ее целости, независимости, ради достижения победы соизволите принять решение, которое может дать мирный и благополучный исход из создавшегося более чем тяжелого положения.

Ожидаю повелений. 2 марта 1917 г. 1818. Генерал-адъютант Алексеев».

Получено во Пскове в 14 ч. 30 мин.

23. Телеграмма главнокомандующего румынским фронтом генерала Сахарова на имя Главнокомандующего северного фронта ген. Рузского, копия генералу Алексееву:

Генерал-адъютант Алексеев передал мне преступный и возмутительный ответ председателя государственной думы Вам на высокомилостивое решение государя императора даровать стране ответственное министерство и просил главнокомандующего доложить его величеству через вас о решении данного вопроса в зависимости от создавшегося положения. Горячая любовь моя к его величеству не допускает душе моей мириться с возможностью осуществления гнусного предложения, переданного вам председателем Думы. Я уверен, что не русский народ, никогда не касавшийся царя своего, задумал это злодейство, а разбойная кучка людей, именуемая государственная дума, предательски воспользовалась удобной минутой для проведения своих преступных целей. Я уверен, что армии фронта непоколебимо стали бы за своего державного вождя, если бы не были призваны к защите родины от внешнего врага и если бы не были в руках тех же государственных преступников, захвативших в свои руки источники жизни армии. Переходя к логике разума и учтя создавшуюся безвыходность положения, я, непоколебимо верный подданный его величества, рыдая, вынужден сказать, что, пожалуй, наиболее безболезненным выходом для страны и для сохранения возможности биться с внешним врагом является решение пойти навстречу уже высказанным условиям, дабы промедление не дало пищи к предъявлению дальнейших, еще гнуснейших, притязаний. Яссы. 2 марта 33.317. Генерал Сахаров».

Получена в Пскове в 14 ч. 50 мин.

24. Телеграмма Николая II председателю Государственной Думы Родзянко.

«Председателю государственной думы. Петроград. Нет той жертвы, которую я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России. Посему я готов отречься от престола в пользу моего сына с тем, чтобы он оставался при мне до совершеннолетия, при регенстве брата моего великого князя Михаила Александровича. Николай».

25. Телеграмма Николая II начальнику штаба верховного главнокомандующего ген. Алексееву.

«Наштаверх. Ставка.

Во имя блага, спокойствия и спасения горячо любимой России я готов отречься от престола в пользу моего сына.

Прошу всех служить ему верно и нелицемерно. Николай».

26. Телеграмма помощника начальника штаба верховного главнокомандующего ген. Клембовского на имя начальника штаба северного фрота ген. Данилова:

«Телеграмма 1223 об объявлении манифеста не приводится в исполнение в ожидании дальнейших указаний после доклада главнокомандующего Северного фронта.

Очень прошу ориентировать начальника штаба верховного главнокомандующего, в каком положении находится вопрос. Из вашего штаба сообщили, что литерные поезда стоят в Пскове и нет никаких распоряжений относительно отправления. Между тем, получены известия, что начальник штаба эксплоатационного отдела Северо-Запад-

ных железных дорог инженер Гавалов отдал распоряжение по линии об отправлении литерных поездов к Двинску. Прошу сообщить, что известно. 2 марта 1917 г. 1886. Клембовский».

27. Телеграмма начальника штаба северного фронта ген. Данилова на имя ген. Алексеева:

«Около 19 часов его величество примет члена Государственного совета Гучкова и члена Государственной думы Шульгина, выехавших экстренным из Петрограда.

Государь император в длительной беседе с генерал-адъютантом Рузским в присутствии моем и генерала Саввича, выразил, что нет той жертвы, которой его величество не принес бы для истинного блага родины. Телеграммы ваши и главнокомандующих были все доложены. 2 марта 1917 г. 1230. Данилов».

28. Телеграмма начальника штаба северного фронта ген. Данилова на имя ген. Алексеева:

«1886. Литерные поезда стоят в Пскове. Действительно одно время возникло предположение у государя проехать через Двинск в ставку, но вскоре мысль была оставлена в виду вторичной беседы с его величеством генерала Рузского, о которой я уже донес начальнику штаба верховного главнокомандующего, а также ввиду выяснившегося прибытия из Петрограда депутатов. Чтобы не загромождать ставку противоречивыми сведениями, сообщаю только достоверно выяснившееся и в этом отношении прошу мне оказать доверие, что ничего важного не пропущу сообщить.

По поводу манифеста не последовало еще указания главнокомандующего, потому что вторичная беседа с государем обстановку видоизменила, а приезд депутатов заставляет быть осторожным с выпуском манифеста. Необходимо лишь подготовиться к скорейшему выпуску его, если потребуется. Вернее думать, что государь император проследует из Пскова в Царское Село, но окончательное решение будет принято только после выяснения результатов приезда Гучкова и Шульгина. 2 марта 18 часов. 1237. Данилов».

29. Телеграмма генерала Алексеева на имя Николая II:

Получена следующая телеграмма: «Временный комитет государственной думы, образовавшийся для восстановления порядка в столице, принужден был взять в свои руки власть в виду того, что, под давлением войска и народа, старая власть никаких мер для успокоения населения не предпринимала и совершенно устранена. Настоящее время власть будет передана временным комитетом государственной думы временному правительству, образованному под председательством князя Георгия Евгениевича Львова.

Войска подчинились новому правительству, не исключая состоящих в войске, а также находящихся в Петрограде лиц императорской фамилии, и все слои населения признают только новую власть.

Необходимо для установления полного порядка, для спасения столицы от анархии, командировать сюда на должность главнокомандующего Петроградским военным округом доблестного боевого генерала, имя которого было бы популярно и авторитетно в глазах населения. Комитет государственной думы признает таким лицом доблестного, известного всей России героя, командира 25-го армейского корпуса генерал-лейтенанта Корнилова. Во имя спасения родины, во имя победы над врагом, во имя того, чтобы неисчислимые жертвы этой долгой войны не пропали даром накануне победы, необходимо срочно коман-

дировать генерала Корнилова в Петроград. Благоволите срочно снестись с ним и телеграфировать срок приезда генерала Корнилова в Петроград. Председатель вр. комитета гос. думы М. Родзянко. 2 марта. 1582».

Всеподданнейше докладываю эту телеграмму и испрашиваю разрешения вашего императорского величества исполнить ее во имя того, что в исполнении этого пожелания может заключаться начало успокоения столиц и водворение порядка в частях войск, составляющих гарнизон Петрограда и окрестных пунктов. Вместе с сим прошу разрешения отозвать генерал-адъютанта Иванова в Могилев. 2 марта 1917 г 1890. Генерал-адъютант Алексеев».

Николай II на этой телеграмме положил резолюцию: «Исполнить».

30. Телеграмма начальника штаба северного фронта ген. Данилова на имя помощника начальника штаба верховного главнокомандующего ген. Клембовского:

«Поезд с депутатами Гучковым, Шульгиным запаздывает и ожидается не ранее 22 часов. Таким образом, окончательное решение вновь будет откладываться на несколько часов. Как только все выяснится, немедленно будет сообщено для доклада начальнику штаба верховного главнокомандующего. Телеграмма генерал-адъютанта Алексеева о генерале Корнилове в 20 часов 20 мин. отправлена для вручения государю императору. Проект манифеста [1]) отправлен в вагон главнокомандующего.

Есть опасение, не оказался бы он запоздалым, так как имеются частные сведения, что такой манифест, будто бы, опубликован в Петрограде распоряжением временного правительства. Повторяю, последние сведения частного характера. Псков. 2 марта 20 час. 35 мин. 1231. Данилов».

31. Телеграмма вице-адмирала Непенина на имя генералов Алексеева и Рузского для доклада Николаю II:

«С огромным трудом удерживаю в повиновении флот и вверенные войска. В Ревеле положение критическое, но не теряю еще надежды его удержать.

Всеподданнейше присоединяюсь к ходатайствам великого князя Николая Николаевича и главнокомандующих фронтами о немедленном принятии решения, формулированного председателем гос. думы. Если решение не будет принято в течение ближайших часов, то это повлечет за собой катастрофу с неисчислимыми бедствиями для нашей родины. 20 ч. 40 м. 2 марта 1917 г. 2650. Вице-адмирал Непенин».

32. Разговор по прямому проводу ген. Рузского с М. В. Родзянко. и кн. Львовым:

В 5 часов 3 марта генерал Рузский был вызван к прямому проводу председателем государственной думы Родзянко и князем Львовым.

«У аппарата генерал Рузский».

«Здравствуйте, ваше высокопревосходительство; чрезвычайно важно, чтобы манифест об отречении и передаче власти великому князю Михаилу Александровичу не был опубликован до тех пор, пока я не сообщу вам об этом. Дело в том, что с великим трудом удалось удержать более или менее в приличных рамках революционное движение, но положение еще не пришло в себя и весьма возможна гражданская война. С регентством великого князя и воцарением наследника цесаревича помирились бы может быть, но воцарение его, как императора,

[1]) Об отречении от престола, составленный в Ставке по приказанию Николая II. Ред.

абсолютно неприемлемо. Прошу вас принять все зависящие от вас меры, чтобы достигнуть отсрочки. Родзянко».

«Родзянко отошел, у аппарата стоит князь Львов».

«Говорит генерал Рузский. Хорошо. Распоряжение будет сделано, но насколько удастся приостановить распоряжение, сказать не берусь, в виду того, что прошло слишком много времени.

Очень сожалею, что депутаты, присланные вчера, не были в достаточной степени осведомлены с той ролью и вообще с тем, для чего они приезжали. Во всяком случае, будет сделано все, что в человеческих силах в данную минуту. Прошу вполне ясно осветить мне теперь же все дело, которое вчера произошло, и последствия, могущие от этого быть в Петрограде. Рузский».

«У аппарата Родзянко. Дело в том, что депутатов винить нельзя. Вспыхнул неожиданно для всех нас такой солдатский бунт, которому еще подобных я не видел и которые, конечно, не солдаты, а просто взятые от сохи мужики и которые все свои мужицкие требования нашли полезным теперь заявить[1]. Только слышно было в толпе — «земли и воли», «долой династию», «долой Романовых», «долой офицеров» и начались во многих частях избиения офицеров. К этому присоединились рабочие, и анархия дошла до своего апогея. После долгих переговоров с депутатами от рабочих удалось притти только к ночи сегодня к некоторому соглашению, которое заключается в том, чтобы было созвано через некоторое время Учредительное собрание для того, чтобы народ мог высказать свой взгляд на форму правления, и только тогда Петроград вздохнул свободно, и ночь прошла сравнительно спокойно.

Войска мало-по-малу в течение ночи приводятся в порядок, но провозглашение императором великого князя Михаила Александровича подольет масла в огонь, и начнется беспощадное истребление всего, что можно истребить.

Мы потеряем и упустим из рук всякую власть, и усмирить народное волнение будет некому.

При предложенной форме — возвращение династии не исключено, и желательно, чтобы, примерно, до окончания войны, продолжал действовать верховный совет и ныне действующее временное правительство. Я вполне уверен, что, при таких условиях, возможно быстрое успокоение, и решительная победа будет обеспечена, так как несомненно произойдет подъем патриотического чувства, все заработает в усиленном темпе и победа, повторяю, может быть обеспечена. Родзянко».

«Я распоряжения все сделал, но крайне трудно ручаться, что удастся не допустить распространение, так как имелось в виду этой мерой поскорей дать возможность армии перейти к спокойному состоянию в отношении тыла. Вчера императорский поезд, или вернее уже сегодня, так как события протекли ночью, ушел через Двинск в ставку, и, таким образом, центр дальнейших переговоров по этому важному делу должен быть перенесен туда, так как, по закону, начальник штаба, в случае отсутствия верховного главнокомандующего, замещает его должность и действует его именем. Кроме того, необходимо установить аппарат Юза в том месте, где заседает новое правительство в Петрограде, дабы обеспечить вам удобство сношений со ставкой и мною. Прошу также два раза в день, в определенное время, сообщать мне о ходе дел лично, или через доверенных лиц, имена которых желал бы знать. Рузский».

«Я в точности выполню ваше желание и аппарат Юза будет поставлен, но прошу вас, в случае прорыва сведений о манифесте в публику и в армию, по крайней мере, не торопиться с приведением войск

[1] Угловатость фразы вызвана, повидимому, ошибками телеграфиста. Ред.

к присяге. К вечеру сегодня дам вам и всем главнокомандующим дополнительные сведения о ходе дела. Скажите мне пожалуйста, когда выехал Гучков. Родзянко».

«Гучков выехал сегодня ночью из Пскова около трех часов.

О воздержании приведения к присяге в Пскове я сделал еще вчера распоряжение, немедленно сообщу о том армии моего фронта и в ставку.

У аппарата был, кажется, князь Львов. Желает ли он со мной говорит. Рузский».

«Николай Владимирович, все сказано. Князь Львов ничего добавить не может. Оба мы твердо надеемся на божью помощь, на величие и мощь России и на доблесть и стойкость армии и, не взирая ни на какие препятствия, на победный конец войны. До свидания. Родзянко».

«Михаил Владимирович, скажите для верности, так ли я вас понял: значит, пока все остается по-старому, как бы манифеста не было, а равно и о поручении князю Львову сформировать министерство. Что касается великого князя Николая Николаевича (назначенного) главнокомандующим повелением его величества отданным вчера отдельным указом государем императором, то об этом желал бы знать также ваше мнение. Об этих указах сообщено было вчера очень широко по просьбе депутатов, даже в Москву и, конечно, на Кавказ. Рузский».

«Сегодня нами сформировано правительство с князем Львовым во главе, о чем всем командующим фронтами посланы телеграммы. Все остается в таком виде: верховный совет, ответственное министерство, действия законодательных палат до разрешения вопроса о конституции Учредительным собранием.

Против распространения указов о назначении великого князя Николая Николаевича верховным главнокомандующим ничего не возражаем. До свидания. Родзянко».

«Скажите, кто во главе верховного совета. Рузский».

«Я ошибся, не верховный совет, а временный комитет государственной думы под моим председательством. Родзянко».

«Хорошо. До свидания. Не забудьте сообщить в ставку, ибо дальнейшие переговоры должны вестись в ставке, а мне надо сообщить только о ходе и положении дел. Рузский». 3 марта 1917 г. 6 часов.

33. Телеграмма генерала Алексеева на имя всех главнокомандующих фронтами:

«Председатель государственной думы, Родзянко, убедительно просит задержать всеми мерами и способами объявление того манифеста, который сообщен этой ночью, в виду особых условий, которые я вам сообщу дополнительно. Прошу сделать распоряжение ознакомить с манифестом только старших начальствующих лиц. Прошу ответа. 3 марта 1917 г., 6 часов 45 мин. 1913. Алексеев».

34. Телеграмма генерала Алексеева на имя главнокомандующих северного, западного, юго-западного и румынского (генералу Сахарову) фронтов:

«Шесть часов. 3 марта.

Председатель государственной думы, вызвав меня по аппарату, сообщил, что события в Петрограде далеко не улеглись, положение тревожно, неясно, почему настойчиво просит не пускать в обращение манифеста, подписанного 2 марта, сообщенного уже главнокомандующим, и задержать обнародование этого манифеста.

Причина такого настояния более ясно и определенно изложена председателем думы в разговоре по аппарату с главнокомандующим

северного фронта, копия этого разговора только что сообщена мне. С регентством великого князя и воцарением наследника цесаревича, говорит Родзянко, быть может помирились бы, но кандидатура великого князя, как императора, ни для кого не приемлема и возможна гражданская война.

На запрос, почему депутаты, присланные в Псков для решения именно этого вопроса, не были достаточно инструктированы, Родзянко ответил главнокомандующему северным фронтом, что неожиданно, после повидимому, отъезда депутатов, в Петрограде вспыхнул новый солдатский бунт, к солдатам присоединились рабочие, анархия дошла до своего апогея. После долгих переговоров с депутатами от рабочих, удалось к ночи 2 марта придти к некоторому соглашению, суть коего: через некоторое время, не ранее полугода, собрать учредительное собрание для определения формы правления; до того времени власть сосредотачивается в руках временного комитета государственной думы, ответственного министерства уже сформированного, при действии обеих законодательных палат. Родзянко мечтает и старается убедить, что при такой комбинации возможно быстрое успокоение, решительная победа будет обеспечена, произойдет подъем патриотических чувств, все заработает усиленным темпом.

Некоторые, уже полученные, сведения указывают, что манифест уже получил известность и местами распубликован; вообще немыслимо удержать в секрете высокой важности акт, предназначенный для общего сведения, тем более, что между подписанием и обращением Родзянко ко мне, прошла целая ночь.

Из совокупности разговоров председателя думы с главнокомандующим северного фронта и мною позволительно прийти к выводам:

Первое — в государственной думе и ее временном комитете нет единодушия; левые партии, усиленные советом рабочих депутатов, приобрели сильное влияние.

Второе — на председателя думы и временного комитета Родзянко левые партии и рабочие депутаты оказывают мощное давление, и в сообщениях Родзянко нет откровенности и искренности.

Третье — цели господствующих над председателем партий ясно определились из вышеприведенных пожеланий Родзянко.

Четвертое — войска Петроградского гарнизона окончательно распропагандированы рабочими депутатами и являются вредными и опасными для всех, не исключая умеренных элементов временного комитета.

Очерченное положение создает грозную опасность более всего для действующей армии, ибо неизвестность, колебания, отмена уже объявленного манифеста могут повлечь шатание умов в войсковых частях и тем расстроить способность борьбы с внешним врагом, а это ввергнет Россию безнадежно в пучину крайних бедствий, повлечет потерю значительной части территории и полное разложение порядка в тех губерниях, которые останутся за Россией, попавшей в руки крайних левых элементов.

Получив от его императорского высочества великого князя Николая Николаевича повеление в серьезных случаях обращаться к нему срочными телеграммами, доношу ему все то, испрашиваю указаний, присовокупляя: первое — суть настоящего заключения сообщить председателю думы и потребовать осуществления манифеста во имя родины и действующей армии; второе — для установления единства во всех случаях и всякой обстановке созвать совещание главнокомандующих в Могилеве.

Если на это совещание изволит прибыть верховный главнокомандующий, то срок будет указан его высочеством. Если же великий князь не сочтет возможным прибыть лично, то собраться 8 или 9 марта.

Такое совещание тем более необходимо, что только что получил полуофициальный разговор по аппарату между чинами морского главного штаба, суть коего: обстановка в Петрограде 2 марта значительно спокойней, постепенно все налаживается, слухи о резне солдатами офицеров — сплошной вздор, авторитет временного правительства, повидимому, силен; следовательно основные мотивы Родзянко могут оказаться неверными и направленными к тому, чтобы побудить представителей армии неминуемо присоединиться к решению крайних элементов, как к факту совершившемуся и неизбежному. Коллективный голос высших чинов армии и их условия должны, по-моему мнению, стать известными всем и оказать влияние на ход событий.

Прошу высказать ваше мнение; быть может, вы сочтете нужным запросить и командующих армиями, равно сообщить, признаете ли соответственным съезд главнокомандующих. Могилев, 1918. Генерал Алексеев».

35. Телеграмма главнокомандующего северным фронтом ген. Рузского на имя генерала Алексеева:

«1918. Первое — считаю необходимым объявление манифеста, ибо скрыть его нельзя, и в некоторых местах, например, Ревеле, он уже объявлен. Присяга только по выходе акта о вступлении на престол.

Второе — потребовать от нового правительства воззвание к армиям и населению.

Третье — для установления единства действия необходимо, чтобы штаб верховного главнокомандующего был в полном контакте с правительством и чтобы только ставка, а не органы правительства, давала необходимые и своевременные указания главнокомандующим фронтами.

Четвертое — для установления успокоения, главнокомандующие должны оставаться на местах.

Это единственная авторитетная власть на местах, к помощи которой все обращаются. Во всяком случае до фактического вступления в главнокомандование великого князя сбор главнокомандующих не соответствен.

Пятое — командующим армиями обстановка внутри империи мало известна, поэтому запрашивать их мнение считаю лишним. 3 марта, 16 часов. 1254. Рузский».

Библиографическая справка.

Воспоминания.

Николай II. В дни отречения.

Приводимые нами отрывки из дневника Николая II, до сих пор полностью неопубликованного, взяты нами из XX тома «Красного Архива» (ГИЗ, М. 1927 год).

Ген. Д. Н. Дубенский. Как произошел переворот в России.

Воспоминания ген. Дубенского опубликованы самим автором в журнале «Русская Летопись», кн. III, стр. 11—111 (издание «Русского Очага», Париж, 1922 год) под заглавием «Как произошел переворот в России». — Все подзаголовки автора нами сохранены; некоторые сокращения пришлось сделать в частях, касающихся автобиографических высказываний и верноподданнических излияний. — В СССР воспоминания эти появляются впервые.

Полк. А. А. Мордвинов. Последние дни в ставке.

Под заглавием «Отрывки из воспоминаний» мемуары эти напечатаны в пятой книге журнала «Русская Летопись» (Париж, 1923 г., стр. 65 — 178). — Нами отсюда извлечена лишь часть, относящаяся к дням отречения Николая II. — Впервые появляются в СССР.

Ген. Н. В. Рузский. а) Беседа с журналистом В. Самойловым об отречении Николая II.

Впервые переиздаваемая беседа ген. Н. В. Рузского извлечена нами со страниц газеты «Русская Воля» 1917 г. (№ 2, от 7 марта).

Ген. Н. В. Рузский. б) Беседа с ген. С. Н. Вильчковским о пребывании Николая II в Пскове 1 и 2 марта 1917 г.

Воспоминания эти, появившиеся за подписью С. Н. Вильчковского в 1922 г. в журнале «Русская Летопись» (Париж, изд. «Русского Очага», кн. III, стр. 161 — 187), в СССР издаются впервые.

В. В. Шульгин. Подробности отречения.

Впервые переиздаваемая статья В. В. Шульгина извлечена нами со столбцов газеты «Речь» 1917 г. (№ 57, от 3 марта).

В. В. Шульгин. «Дни».

Приводимые отрывки взяты из книги «Дни», впервые печатавшейся в эмигрантской «Русской Мысли», и появившейся в издании «Прибоя» (Л. 1925 г.).

А. И. Гучков. В царском поезде.

Воспоминания эти извлекаются из показаний А. И. Гучкова, данных им в Чрезвычайной Следственной Комиссии 2 августа 1917 г.; см. «Падение царского режима». Стенографические отчеты допросов и показаний, данных в 1917 г. в Чрезвычайной Следственной Комиссии Временного правительства. Редакция П. Е. Щеголева. Л. 1926 г., т. VI, стр. 262 — 267.

Ген. А. С. Лукомский. Отречение Николая II.

Отрывок этот входит в состав мемуаров А. С. Лукомского, напечатанных во втором томе «Архива Русской Революции», (издаваемого И. В. Гессеном, Берлин, 1921 г., стр. 14 — 44) под заглавием «Из воспоминаний».

Ген. С. С. Саввич. Принятие Николаем II решения об отречении от престола.

Воспоминания ген. С. С. Саввича, приводимые нами в отрывках, напечатаны в газете «Отечество» 10, 11 и 12 января 1919 г. (г. Архангельск), под заглавием «Отречение от престола императора Николая»; перепечатаны в журнале «Русская Летопись». Кн. III. Париж. 1922 г., стр. 205 — 208; в советской печати появляются впервые; воспроизводятся нами по тексту «Русской Летописи».

Герцог Н. Н. Лейхтенбергский. Беседа с журналистом Л. Ганом о последних днях Николая II в ставке.

Беседа извлечена из «Биржевых Ведомостей» (№ 16132, от 12 марта 1917 г.).

Ген. Н. М. Тихменев. Последний приезд Николая II в Могилев.

Отрывок этот, появляющийся в СССР впервые, взят из брошюры Н. М. Тихменева «Из воспоминаний о последних днях пребывания императора Николая II в ставке» (изд. кружка ревнителей русского прошлого, Ницца, 1925 г., стр. 15—32).

Проф. Ю. В. Ломоносов. Подлинник манифеста об отречении в Петрограде.

Из книги проф. Ю. В. Ломоносова «Воспоминания о мартовской революции 1917 г.» (Стокгольм — Берлин, 1921 г., стр. 57 — 60).

Документы и материалы.

Манифест отречения Николая II.

Текст отречения печатаем с фотографической копии подлинника отречения, хранящейся в Ленинградском музее Революции.

Неосуществленный проект отречения Николая II.

Проект этот печатаем с фототипической копии, напечатанной в журнале «Огонек» (1923 г., № 1). Проект этот написан рукою Шульгина на бланке с грифом «Таврический Дворец». Справа в углу бланка пометка: «Проект Шульгина и Аджемова».

Протокол отречения Николая II.

Протокол отречения напечатан впервые с подлинника, хранящегося в Центрархиве, проф. В. Н. Сторожевым; см. его статью «Февральская Революция» 1917 г.» в сборнике «Научные Известия». (ГИЗ, М. 1922 г.).

Телеграммы, разговоры по прямому проводу и пр.

Документы эти, целиком впервые переиздаваемые в СССР, напечатаны в третьей книге «Русской Летописи» (Париж, 1922 г., стр. 112 — 160) по копиям, сообщенным вдовой ген. Н. В. Рузского и затем воспроизведены приложением к воспоминаниям ген. А. С. Лукомского (см. «Архив Русской Революции», т. III, стр. 247 — 276),

---

На основании критического анализа воспоминаний и материалов, вошедших в настоящую книгу, П. Е. Щеголевым написана статья «Последний рейс Николая Романова» («Новый Мир», 1927, VI и VII), выходящая вскоре в свет отдельным изданием.

ОГЛАВЛЕНИЕ.

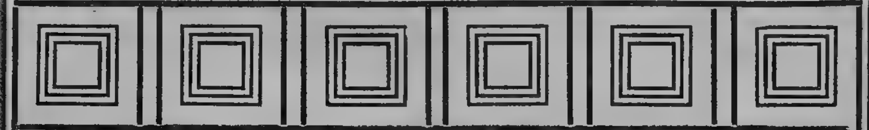
Стр.

Вступительные статьи.

I. Воспоминания.

II. Материалы и документы.

Цена 1 р. 60 к.



ИЗДАТЕЛЬСТВО

„КРАСНАЯ ГАЗЕТА“

ВЫПУСТИЛО 2-м ДОПОЛНЕННЫМ ИЗДАНИЕМ КНИГУ

„ЮДЕНИЧ ПОД ПЕТРОГРАДОМ“

(ИЗ БЕЛЫХ МЕМУАРОВ)

В. ГОРН, М. С. МАРГУЛИЕС,
Г. КИРДЕЦОВ, Н. Н. ИВАНОВ,
ГЕН. А. П. РОДЗЯНКО

Редакция П. Е. ЩЕГОЛЕВА
Предисловие Л. КИТАЕВА

СКЛАД ИЗДАНИЙ

Ленинград, Фонтанка, 57.

